

ALBEDO



КНИГА КНИГ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

5

# КНИГА КНИГ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ



СОВРЕМЕННАЯ КНИГА  
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

КАНАЛ



АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

КНИГА  
КНИГ  
РОМАН

ALBEDO

5

КАЯЛА  
Киев, 2020

УДК 821.161.1(477)'06-31

А 46

**Александров А.**

А 46 Книга книг. Albedo. Т. V — Киев: «Каяла», 2021. 262 с. — (Серия «Современная литература: поэзия, проза, публицистика»).

ISBN 978-617-7697-08-3

Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вмещающее эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

УДК 821.161.1(477)'06-31

© А. Александров, 2021

© В. Ерко, иллюстрация на обложке, 2021

© Издательство «Каяла» (Киев), 2021

ALBEDO

«Например, в тех местах, о которых и поныне говорят, будто там стоит город золотой и простирается берег, усыпанный драгоценными камнями, увидит он обычный каменный город, а то и вовсе никакого, да одинокий скалистый берег».

*Книга о зверях и чудовищах,  
анонимная книга, IX век*

# **КНИГА ГОРОДА**





**СТРАДАНИЯ**  
**МОЛОДОГО ПРОЗАИКА КОШЛЯКА**  
*Написано на голенище кирзового сапога*

...А в это время под большим концертным роялем в некой коммунальной квартире на улице Жилианской имени Жадановского не столько от похмелья, сколько от нестерпимых мук совести, проснулся молодой прозаик Кошляк. Хозяин квартиры, поэт Саша Милый, и его лучший друг, тоже поэт, Гений Вишневский, первый — на диване, второй — на раскладушке, — сопя и похрапывая, продолжали, если можно так выразиться, бодрствовать в царстве Морфея. На полу вперемешку с рукописями валялись пустые бутылки из-под зубровки, кальвадоса и других причудливых напитков, к утру заметно потускневшие, поскольку дух, он же — spiritus, покинул их навсегда. Дальнейшие события происходили в такой последовательности: прозаик Кошляк на цыпочках прокрался к двери, тихонько отодвинул засов, проскользнул на лестничную площадку и растворился в осеннем тумане...

Жил Кошляк не то чтобы далеко (это, если на трезвую голову), но и не близко (если добираться после третьего стакана), — а именно, на Андреевском спуске, в доме, отдаленно напоминающем готический замок. Год назад молодому провинциальному поэту, осчастливившему Город своим внезапным появлением, несказанно повезло, и он сумел недорого снять в этом домезамке скромную, звенящую пустотой, однокомнатную квартиру.

Вернувшись домой, Кошляк уселся за письменный стол и, несмотря на острую боль в печени, приступил к сочинению открытого письма литературному консультанту Швыряеву, которому накануне вечером ни с того, ни с сего, как позже утверждали его друзья-поэты, заехал кулаком в глаз. Письмо не получалось, и вот почему: хоть оно и было открытым, все равно никто и никогда его бы не опубликовал, и от осознания неизбежности столь нерадостной перспективы, а говоря проще, полного отсут-

ствия таковой, Кошляк постепенно утратил первоначальный задор, без которого ну никак не обойтись при написании столь ответственного документа: тексту явно недоставало красоты и глубины раскаяния, а главное — гуманитарного надрыва, необходимого для окончательного разрешения сложившейся коллизии. «Вот-вот, — с горечью думал он, комкая один листок за другим и бросая их на пол, — уже сама возможность публичного резонанса могла бы вдохновить писателя на подвиг самоотречения, а отсутствие такой возможности мгновенно превращает еще не написанное открытое письмо в закрытое». Кошляк готов был возненавидеть себя за вчерашнее умопомрачение. «Что же это я, в самом деле! Ну, хорошо: сказали прийти через пару лет... Что из того? Разве это достаточный повод для того, чтобы бить человека по лицу?!» И как это у него, за всю свою жизнь не обидевшего и мухи, могла подняться рука на сотрудника литературного ежемесячника «Дуга»? Вот уж действительно, бес попутал!.. А этот странный подлог? Да-да, именно подлог! Кошляка бросило в холодный пот. Кто это сделал? Кому понадобилось вместо эпохального романа о Шестой обувной фабрике, который написал действительно он, подсовывать Швыряеву какую-то невразумительную «Книгу Книг», к которой он (Кошляк) не имеет ни малейшего отношения? А главное, зачем?.. «Кстати, где мой портфель?» — спохватился Кошляк. Он вдруг отчетливо вспомнил, что домой пришел без портфеля. А именно в нем лежала рукопись романа, которого он никогда не писал. «Где же это я его посеял?.. Вот уж действительно: не роман, а фантом какой-то. Ничего не помню! Но, может, оно и к лучшему? Сейчас главное — как-то замять конфликт с литконсультантом Швыряевым...»

Кошляк встал из-за стола и сделал несколько торопливых приседаний. Вспухший, налитый кровью глаз литконсультанта Швыряева преследовал его неотступно, усугубляя и без того тяжелейший похмельный синдром. Нет, письмо — не выхлоп! То есть, он хотел сказать: не выход! Не выход и не оправдание. Но как же быть? Он должен оправдаться, испить сию чашу искупления вины до дна!.. При мысли об «испитии сей чаши» прозайка Кошляка криво передернуло: и в самом «испитии», и в «искуплении вины» ему почудилось что-то до боли знакомое, нечто *алкоголистое*, игристое, и оно так шибануло в голову, что его организм перевернулся вверх ногами, к горлу подкапало, и Кошляк побежал в туалет.

Назад он вернулся бледный, утомленный, но окрыленный свежими идеями. Не «искупить вину» и не «испить чашу», как думалось ему еще несколько минут назад, а «исправить ошибку». Вот оно! — обрадовался Кошляк. — Это была ошибка, недо-разумение... Недомыслие, если желаете. И не надо никаких эпо-хальных романов! Малая форма! Вот что необходимо современ-ному читателю. Сейчас он спокойно сядет за стол и напишет ем-кий, в духе Фолкнера, рассказ о Шестой обувной фабрике, о сра-женном язвенной болезнью директоре Сидоре Пантелеймоныче, человеке опытном, но консервативном, и о молодом инженере Лаврентии Мост-Печерском, который, пока директор возлежит на операционном столе, берет инициативу в свои руки и корен-ным образом перестраивает безнадежно устаревшее производ-ство. И больше никаких валенок! Обувь — только модельная! Такая, чтобы не хуже итальянской!

Прозаик Кошляк вставил в печатную машинку, одолжен-ную у корректора Впетлина, чистый лист бумаги. Он был на-строен решительно. Появился кураж! В голове странным обра-зом перемешались накладные листы, разнарядки и бесконечные квартальные отчеты, обильно сдобренные диалогами и про-странными авторскими размышлениями о роли человеческого фактора в эпоху научно-технической революции. А когда за ок-ном сгустились вечерние сумерки, уставший, но довольный со-бой Кошляк поставил на огонь старинный медный чайник, куп-ленный месяц назад на Сенном рынке за три рубля шестьдесят две копейки — приобретение удачное во многих отношениях: во-первых, прежний эмалированный — сгорел, чуть не став при-чиной пожара, а во-вторых, по уверениям продавца, человека бывалого и весьма образованного, цена бутылки водки за са-кральный сосуд, в котором кипятил днепровскую воду вдребезги простуженный Оноре де Бальзак осенью 1847 года, была вполне приемлемой.

— Да, про обувь! — ударил кулаком по столу Кошляк, как бы оппонируя отсутствующему на данный момент Оноре де Бальза-ку. — И вообще, как сказал кто-то из великих, нет плохих тем, есть плохие писатели.

Чайник закипел. Кошляк плеснул кипятку в чашку, на треть наполненную остатками вчерашнего недопитого чая, и, прихватив кусок черствого хлеба, вернулся к письменному сто-

ду. Совсем стемнело. Он зажег торшер — единственный источник света, оставшийся в квартире. «Нужно купить лампочку», — в сотый раз подумал Кошляк, жуя хлеб и отхлебывая из чашки горячий чай. Подкрепившись, он с удвоенной энергией принялся стучать по замусоленным клавишам впетлиновского «Ундервуда».

И все бы ничего, однако ближе к полуночи Кошляк ощутил в груди неприятный холодок, и ему почудилось, будто за окном в промозглом осеннем тумане появляются и тут же исчезают гигантские человеческие фигуры. Сначала он испугался, но потом подумал, что именно таким образом и должны являться писателю в минуты подлинного вдохновения (тут он вспомнил «Нос» Гоголя) литературные персонажи, и что именно так и пишутся великие произведения, которым суждено пережить века. Кошляк тотчас решил для себя, что когда-нибудь в будущем, став знаменитым, он обязательно расскажет об этом происшествии в своих мемуарах, или, на худой конец, черканёт статейку под названием «Как я пишу», принесет ее в редакцию журнала «Дуга», и литературный консультант Швыряев, старый, дряхлый, в инвалидном кресле, пахнувший нафталином и рыбными котлетами, прочитав ее, прослезится и скажет: «Вальдемар Палыч, простите меня! Я жестоко ошибался: не распознал гения! Дайте мне в глаз! Сейчас же! Немедленно! Я заслужил!», а Кошляк снисходительно похлопает его по плечу и скажет: «Крепитесь, старина!» и, уже уходя, чуть слышно добавит: «Недолго мучаться тебе осталось!» Откинувшись на спинку стула, Кошляк мечтательно полуприкрыл глаза, а когда открыл их, вновь заметил за окном какую-то тень, после чего не то пошел дождь, не то какие-то неведомые ночные птицы забарабанили клювами по тамбуринам жестяных карнизов. Так продолжалось минуты полторы-две. Потом снова наступила тишина. Кошляк жил на пятом этаже, и со школьной скамьи твердо усвоил, что, в соответствии с законом всемирного тяготения перед его окнами мелькать никто не мог.

Чтобы лишний раз убедиться в столь очевидных доводах разума (а может быть, и вопреки им, ибо на то она и молодость!), он распахнул окно. Откуда-то сверху доносились странные шорохи. «Летучие мыши?.. Откуда им взяться? Осенью?» Держась одной рукой за подоконник, Кошляк высунулся

из окна и так вывернул голову лицом кверху, что хрустнули шейные позвонки. «Надо бы по утрам зарядку делать и соленого меньше есть». Он уже собирался вернуться к письменному столу, но в эту самую минуту в окне над ним, двумя этажами выше, зажегся свет, и в ярко освещенном проеме, появилась величественная фигура в тулупе, в которой молодой прозаик с изумлением узнал дворничиху бабу Маню. Вытянувшись во весь рост на самом краю карниза и рискуя в любую минуту сорваться вниз, она что было мочи размахивала здоровенной садовой лопатой, будто хотела развеять и эту ночь вместе с ее туманами, и холодную морось, и остатки вдохновения прозаика Кошляка. Движения дворничихи напоминали некий боевой танец, что поражало своей откровенной бессмысленностью, а та ярость, с которой баба Маня воплощала эту бессмысленность в жизнь, поражала еще больше. Вокруг лопаты закручивались зыбкие черные вихри.

— Эй, что там происходит?! — закричал Кошляк, приложив полусогнутую ладонь к губам, чтобы голос звучал громче.

Баба Маня прекратила свои чудовищные экзерсисы и, едва удостоив Кошляка взглядом, довольно грубо ответила: «Спать иди!» — рот ее сверкнул веером золотых зубов.

Засим свет погас, и баба Маня исчезла.

«Совсем чокнулась!» — прозаик Кошляк нервически передернул плечами и, оставив окно открытым, вернулся к письменному столу. Увы, проблемы Шестой обувной фабрики больше не волновали его. А тут еще, черт знает почему, в комнате начал скрипеть паркет — то там, то сям. «Надо взять себя в руки! — Кошляк сделал несколько скрипучих шагов по комнате. — Ничего страшного! Подумаешь, паркет скрипит! Ему лет сто, не меньше, и к тому же окно открыто, разница температур и всякое такое — вот он и скрипит».

В животе жалобно заурчало. Кошляк вспомнил, что на кухне в холодильнике хранилась заветная кастрюлька с остатками позавчерашнего горохового супа. Но не успел он и шагу ступить, как почувствовал чей-то недружелюбный взгляд. Кошляк осторожно начал поворачиваться лицом к окну, втайне надеясь, что нет там никакого взгляда, а есть банальное переутомление, нервы и ветер — промозглый осенний ветер.

— Ой! — от испуга прозаик присел: в оконной раме маячила чья-то физиономия вида невыносимого и даже абсурдного.

Ничего подобного он в жизни своей не видел: физиономия законченного подлеца и негодяя, сплошь поросшая густой рыжеватой шерстью, да еще и с явными признаками чего-то кошачьего и мышиного одновременно. И физиономия эта была отнюдь не призрачная, а самая что ни на есть настоящая — в смысле, живая! Ну просто котомыш какой-то, подумал Кошляк. И Котомыш этот с нескрываемым презрением смотрел на Кошляка, как смотрят на некую досадную нелепость, а потом, смачно сплюнув на итальянский паркет, процедил сквозь зубы: «Чего вылупися, дурошлеп козлийный?» Кошляк аж задохнулся от подобной наглости.

«Дописался!» — со смешанным чувством страха и гордости подумал Кошляк.

В старину, как известно, поэты швыряли в призраков тяжелые бронзовые подсвечники, что выглядело эстетично и вполне соответствовало духу времени. Кошляк родился и жил в эпоху не столь романтическую, и, разумеется, свечами не пользовался, а кроме того, отдавал предпочтение «суровой прозе». Может быть, именно поэтому он, не задумываясь, запустил в нахально-го субъекта не аристократическим бронзовым канделябром, которого у него к тому же отродясь не было, а обыкновенным напольным торшером, мгновенно исчезнувшим в окне. Как жаль, что рядом не было никого из друзей-поэтов! Вот уж кто оценил бы по достоинству ту невероятную легкость, с какой эти тонкие, не привыкшие к физическому труду руки оторвали от пола столь громоздкую и тяжелую вещь! Беда в том, что вместе с торшером исчез и свет. Кошляк стоял теперь в абсолютной темноте и полной растерянности.

Так прошло несколько томительных минут. Призрак больше не появлялся. Набравшись храбрости, Кошляк подошел к окну и, стараясь не заглядывать в ночь, осторожно закрыл его. Затем пробрался в кухню. Однако есть расхотелось. Вернувшись в комнату, он нащупал стул, сел на него и твердо решил думать о чем-нибудь другом. Но как он ни старался, «о другом» думать не получалось. «Легко сказать: думай о чем-нибудь другом! — обиделся Кошляк. — А вы сами-то пробовали?..» Ответа, разумеется, не последовало. Зато настужь распахнулась входная

дверь, и на пороге в потоках света, хлынувших с лестничной площадки, возникли три черных силуэта. В комнате сразу стало по-зимнему холодно.

— Вам кого? — простонал Кошляк. — Что вам нужно?

Троица бодрой поступью проследовала в комнату и, подхватив окоченевшего от страха прозаика под руки, стащила его со стула и, словно деревянную чурку, поставила на пол.

— Это оно? — спросил гражданин в старомодном черном кардигане, поднося к обезображенной шрамом пустой глазнице лорнет с одной единственной зеленой линзой.

— Оно, оно! — закивало поросшее рыжеватой шерстью существо, в котором Кошляк сразу узнал Котомыша. — Еще какое оно!

— И что? Оно еще и книги пишет? — гаденьким фальцетом прокричал третий, неожиданно оказавшийся сухопарой теткой с лицом цвета слегка подгнившей сливы.

— Еще как пишет! — отозвался Котомыш.

— Ну-ка, ну-ка!.. — тетка вплотную приблизила к испуганной физиономии Кошляка горящий газовый фонарь. — Писатель, говоришь? А похож на дурошлепа козлиного!

— Вот и я о том же! — подхватил Котомыш.

Насчет того, какими бывают писатели, у прозаика Кошляка имелось собственное мнение. У него, например, в редакции журнала «Дуга» целых четыре года пролежала рукопись романа. И лежала бы еще столько же, если бы он ее не забрал. А вот у того же Флюидова или у Саши Милого... Или еще лучше — у самого Бормотеева... ни в одной редакции вообще никогда ничего не лежало.

— А у меня заказ! — неожиданно подал голос Кошляк. — На рассказ!..

— Ишь, как рифмует, собака! — не без зависти заметил Котомыш.

— ...о Шестой обувной фабрике... о Сидоре Пантелеймоныче... у него язва открылась... и о Лаврентии Печерском, у которого тоже открылись... перспективы на будущее...

Гражданин в черном кардигане направил свой диковинный лорнет на Кошляка, отчего на лице прозаика внезапно заплясали морозные изумрудные блики.



— Я, конечно, люблю магический соцреализм, — произнес гражданин в кардигане, и в его голосе зазвучал металл. — Но не до такой же степени! Ты зачем меня, сучий потрох, язвой наградил? Да еще и в госпиталь запроторил?

— Ага! — подхватила сухопарая тетка с газовым фонарем. — Да что ж это ты, Сидор Пантелеймоныч, политесь с ним разводишь? Было бы оно хоть настоящим писателем, так мы бы ему яду заморского недешевого стакан-другой налили, чтобы красиво было, да еще и за жизнь, с мерзавцем этаким, перетерли бы... Возьми того же Магнуса! Он с инспектором Пришиваловым долго не канителился: раз-два — и у мента крышу как ветром сдуло! А мы, что же, слабее Магнуса? Давай, откошмарим его по полной программе и дело с концом!..

— Да погоди ты, Матрена! Речь идет о моем здоровье, как-никак, — при этих словах Пантелеймоныч перевел взгляд на прозаика Кошляка, отчего у последнего лицо пошло пятнами. — Так что будем делать с «моей язвой»?

— Позвольте, товарищи! Какая язва? Я вас не знаю, я вас вообще в первый раз вижу!

— Ах, не знаешь, стрекулист кривоногий! Ну-ка, Лаврентий, дай ему под дых.

— Бх!..

«Что-то похожее я уже где-то читал!» — успел подумать Кошляк.

— Это тебе за язву, гаденыш!

— Ух!

— Еще разок!

— Бх!.. Не надо!.. Бх!

— Надо, сучий потрох!

— Я не потрох, я Рюрик! — не своим голосом возопил Кошляк, с перепугу вспомнив о своем благородном происхождении.

— Лаврентий, дай Рюрику еще разок в пах!

— Ах!..

— Ох, хорошо-о-о! — тетка отбросила фонарь и захлопала в ладоши. — Ну ты красавчик, Лаврентий!

— Вот тебе, вот тебе! — приговаривал рыжемордый Лаврентий, нанося увесистые удары по спине несчастного Кошляка бальзаковским чайником. — Это тебе за язву! Это за то, что

она открылась!.. А это за то, что меня, великого Котомыша Лаврентия Печерского...

— БИх!.. Ох!..

— ...в сапожники произвел!..

— Ах!..

— Вот сейчас я тебя и обуя!

— Обуяй его! — взвизгнув от восторга, заголосила тетка. — Обуяй его!..

Кошляку же послышалось: «Ату его!.. Ату его!..»

Очнулся прозаик Кошляк утром, освещенный солнцем нового дня. Он лежал на куче сапог уныло-черного цвета, сваленных прямо посреди комнаты и воняющих резиновым клеем. На ногах у него были точь-в-точь такие же сапоги. Его любимые тапочки исчезли бесследно. Громко стуча по паркету тяжелыми, как кáлигвы римских легионеров, сапогами, он поплелся в кухню. Там его дожидались деревянные ящики с армейским гуталином и груды мохнатых обувных щеток. В туалет и ванную комнату войти вообще не представлялось возможным: они были завалены всё теми же вонючими черными сапогами. Но хуже было другое: исчез бесценный чайник Оноре де Бальзака!

— Какой кошмар, — пробормотал Кошляк.

Он снова направился в комнату и только теперь заметил, что стены и потолок изуродованы многочисленными грязными следами, как если бы по ним промаршировала рота солдат, а в розетке, наполовину вырванной из стены, торчала штепсельная вилка с куском оборванного провода. «Торшер!» — вспомнил Кошляк и с тоской посмотрел в окно: там вместо отсутствующего торшера радостно сияло солнце.

— Какой кошмар! — снова повторил он.

Взгляд его упал на письменный стол.

— Моя машинка!..

Увы! Старенький впетлиновский «Ундервуд» тоже исчез — вслед за тапочками и писательским чайником, место которого занял невесть откуда появившийся семилитровый латунный самовар; на его крышке красовался еще один сапог — на левую ногу: голенище — гармошкой, подошва — кверху, наполовину ото-

рванная, с торчащими из нее, как крокодильи зубы, гвоздями. Сапог как будто смеялся, а может, даже глумился над ошалевшим прозаиком. Рядом лежала записка:

*«Рюрик хренов! Как проснешься, забодяжь чайку. Шишки в холодильнике.*

*И не забудь почистить обувь.*

*Целуем взапас от имени и по поручению профкома Шестой обувной фабрики». [...]*

# **КНИГА КОРОЛЕВЫ**



## **В ХРОНИЛИЩЕ ГЛАВНОГО ЧАСОВЩИКА**

*Написано на циферблате напольных часов без стрелок*

### **I**

... — Вот оно, Хронилище Главного Часовщика! — торжественно возвестил г-н Архивариус.

Фасад Хронилища представлял собой массивную конструкцию, сооруженную из разнообразных колесных механизмов с рычагами, шестеренками, цепями, приводами, колокольцами и колоколами. За этой монументальной конструкцией, в глубине, скрывалась металлическая дверь. Если верить архивным записям г-на Филина, фасад Хронилища был возведен зодчим Филиппо Календарио — который прославился при строительстве Дворца Дожей в Венеции. Поговаривали также, что если бы спроектированный мессером Филиппо фасад венецианского дворца выходил не на набережную Невольников, а на любую другую набережную, то он ни за что не угодил бы в тюрьму. Иными словами, Календарио не повезло: он сам стал невольником, и, в придачу, его казнили.

— После его казни, весьма зрелищной, надо сказать, он был приглашен к нам в Замок, дабы возвести фасад Хронилища. Приглашен, главным образом, благодаря своей фамилии Календарио, которая, как вы понимаете, уже сама по себе свидетельствовала о его причастности к естественному ходу времени. Так что, с другой стороны, мессеру Филиппо очень даже повезло, — заключил г-н Архивариус.

— Ну-ка! — воскликнул он, налегая на один из покрытых ржавчиной рычагов. — Поднажмем!

Друзья последовали его примеру: стали тянуть какие-то цепи, судорожно хвататься за какие-то рычаги, крутить зубчатые колеса. В конце концов дверь со скрежетом отворилась. Проникнув в Хронилище, путники очутились в замысловатом лаби-

ринте, состоящем из множества диковинных часовых механизмов, наполненном гудением, звяканьем, дребезжанием и звоном колоколов.

Что ж, ничего иного не оставалось, как смело отправиться на поиски затерянного в этом лабиринте Главного Часовщика.

— Угу! Угу! — ухал г-н Филин, старательно демонстрируя свое неудовольствие. — Ну зачем ему понадобилось теряться в Хронилице? Сидел бы себе на стульчике у входа, чаи гонял! Так нет же! Надо было затеряться! Теперь ищи-свищи его среди этого хлама! Делать нам больше нечего!.. Угу?

Он вертел головой, как бы ища поддержки, но никто его не поддерживал.

Отряд продолжал свое движение вглубь Хронилица. Впереди уверенным шагом ступал г-н Архивариус, ведя за руку Янку. За ними плелся Вялый Горбун с закинутым на спину Фургоном — колесами кверху. На одном из колес, надев топографические манжеты, восседал г-н Филин. Вернее сказать, пытался воссесть, но восседание давалось ему с большим трудом, поскольку из-за неровной ходьбы Вялого Горбуна колесо под г-ном Филином периодически прокручивалось то вперед, то назад, и ученому секретарю приходилось всхлопывать крыльями и перебирать лапками, чтобы удержать хлипкое равновесие.

О-хо-хо! Путь оказался на редкость затейливым. Подъемы, спуски, петляния, ползание, прыжки и сопутствующие им припрыжки чередовались с пробежками, протискиваниями и извиваниями, и весь этот сложный и утомительный процесс сопровождался не умолкающим ни на секунду трезвоном.

— Говорят, время в Хронилице наполнено пространством, — с глубокомысленным видом сообщил г-н Архивариус. — Похоже, так оно и есть.

Трижды экспедиция возвращалась на одно и то же место — к подножию высоченной Белой Бешни с бешеными часами наверху. Две остроконечные железяки бестолково металась по исцарапанной плоскости циферблата, а в нумерации наблюдалась такая неразбериха, что не представлялось никакой возможности отличить цифры от чисел, — к тому же Местная Относительность привела к полному стиранию малейших различий между натуральными, отрицательными, рациональными и иррациональными величинами. А те цифры, что еще не были обезображены Местной Относительностью, либо торчали вверх ногами, либо клонились то вправо, то влево, либо праздно возлежали в

художественном беспорядке, а некоторые — просто отваливались и летели вниз. Само собой разумеется, подходить близко к такой Бешне было бы верхом легкомыслия. Две остроконечные железяки, исполнявшие роль стрелок, вели себя безобразно: то гонялись друг за дружкой, то разбегались в разные стороны, а встретившись вновь, уподоблялись исполинским садовым ножицам, пугая путников звоном и оглушительным лязгом.

Снизу доверху Белая Бешня была обмотана грубыми веревками и обтыкана многочисленными шприцами, большими и маленькими, пустыми или наполовину наполненными какими-то подозрительными мутными жидкостями. А у подножия Бешни возвышалась гора блистерных упаковок из-под импортных транквилизаторов.

— Угу! Угу! — восклицал г-н Филин, всплескивая крыльями и роняя топографические манжеты. — Кто же это ее, горемычную, так исколол?

— Я так и знал, — тусклым голосом отозвался г-н Архивариус. — Вот они, следы усилий незадачливого доктора Прищепы.

— Какие следы? И каких усилий? — ничего не понимая, спросила Янка.

— Вопиющие следы тщетных усилий, — объяснил г-н Архивариус.

В ту же минуту из-за его спины послышался трусливый шепоток ученого секретаря:

— Ужасно!.. Да разве ж такую мощь можно обуздать?

— Кто знает? На доктора Прищепу здесь возлагают...

Г-н Архивариус не успел договорить, так как из окна Бешни пальнула пушка, да так громко, что у путников заложило уши, но после второго залпа слух, наоборот, обострился. И пока пушка продолжала беспорядочно палить, где-то на вершине Бешни проснулись колокола, причем вызванивали они одновременно несколько мелодий, которые, как показалось Янке, явно недолюбливали друг друга.

В самый разгар этого жутковатого перформанса ворота Белой Бешни широко распахнулись, и из них выбежал маленький пингвинообразный человечек в изодранном в лохмотья белом халате. Волосы на его голове торчали дыбом, а с левого оттопыренного уха свисали разбитые очки. На секунду человечек остановился. Бешеные часы ответили подобием торжественного гимна, на которое Хронилице тут же откликнулось противным дребезжанием. Человечек поджал плечи, заткнул пальцами уши



и мелкой рысью побежал прочь. За ним волочились спутанные бинты, а из полуоторванных карманов халата сыпались разноцветные пилюли. Однако далеко убежать не удалось, ибо в панике человек налетел на Фургон, за которым прятались Вялый Горбун, г-н Архивариус, г-н Филин и Янка.

Невзирая на опасность, путники оставили свое укрытие и подошли к человечку.

— Так вы и есть доктор Прищепа? — участливо спросила Янка, подавая беглецу оброненную им клизму.

— Только не выдавайте меня! — взмолился тот и плаксиво залепетал: — Вы видели? Нет, вы видели? Я так больше не могу!

Дрожащей рукой доктор Прищепа теребил огрызок горошистого галстука, видимо, ставшего жертвой остро заточенных стрелок бешеных часов.

— Это же типичный *casus incurabilis*!<sup>1</sup> — изрек он и разрыдался.

— Доктор, вам надо успокоиться, — начал было г-н Архивариус.

— Не хочу я успокаиваться! И почему именно я? Почему всегда я?

— Потому, что вы — светило.

— Я светило? — Лицо доктора заметно потемнело. — Темнило я! После того, что произошло, я — полное темнило!

— Прекратите истерику! — попытался урезонить бедолагу г-н Архивариус. — Стыдитесь...

— Стыдиться? Мне? — доктор Прищепа нервическим жестом нащупал свисавшие с уха разбитые очки и с хрустом насадил их на переносицу. — После того, что я пережил?... Ну, уж нет! Ха-ха!.. Плевать я хотел на ваш стыд!

— Выбирайте выражения, доктор. Среди нас дама!

Доктор отрешенно, сквозь пустую оправу очков, уставился на Янку и вдруг, крепко вцепившись в ее запястье, принялся нащупывать пульс.

— Но как? Скажите, как мне одному с ней справиться? — возмущался он, доставая из кармана жилетки, просвечивавшей сквозь остатки разодранного халата, золотой секундомер на цепочке, дабы окончательно определиться с Янкиным пульсом. — Гиблое место, это ваше Хранилище! Никаких правил, норм, устоев: самые обыкновенные секундомеры — и те не желают рабо-

---

<sup>1</sup> Неизлечимый случай (*лат.*). — Медицинский термин.

тать. Зато все вокруг хотят, чтобы работал я, и работал хорошо. Но вы же сами видите: это невозможно! Здесь нужны двадцать, сто, триста таких же Прищеп, как я!.. Да, так на что жалуетесь, голубушка?

— Ни на что, — отвечала Янка. — И вообще я не люблю жаловаться.

— Доктор, с ней все в порядке, — нетерпеливо сказал г-н Архивариус.

— Что значит: все в порядке? Вы и представить себе не можете, какая хронотень творится там внутри! — возмутился доктор Прищеп, не выпуская Янкину руку. — Клянусь Галеном, Парацельсом и Склифософиусом, я сделал все, что в моих силах! Йодистые сетки? Пожалуйста! Травяные примочки, припарки и пиявки на каждый камень? Извольте! Теплые серные ванны и настой валерианы литрами в каждый чертов душник? И это получите! Да что там пиявки и ванны! Не помогли даже сильнодействующие препараты в смертельных дозах!..

— Простите, доктор, вы о ком сейчас говорите?

— Как это о ком, господин Архивариус? Вы что, сомневаетесь в моей компетентности?

— Похоже, мы не всё понимаем. Прошу вас, успокойтесь и объясните внятно.

— Легко сказать: успокойтесь! Вот вы бы сами попробовали полечить эти проклятущие бешенные часы! *Atrphia nervorum*<sup>1</sup> вам обеспечена!

— Ах, так вы о часах! — рассмеялся г-н Архивариус.

— Не вижу ничего смешного.

— Простите, доктор, но я думал...

— И ведь говорил я, — отмахнулся доктор Прищеп, — ведь сколько раз говорил я Главному Часовщику, что на Бешне, коль скоро она Бешня, а не Башня, могут существовать только бешеные часы и никакие другие. Теперь понимаете меня?

— Теперь понимаем, — неуверенным хором ответили путники.

— Вот вы понимаете, а Главный Часовщик не понимает! Или не желает понимать! Знай, талдычит себе и талдычит про якобы полную бесполезность всякого понимания в бесконечном потоке времени. А мне что прикажете делать? Нет, я, конечно, предъявил ему свои резоны... ну, в том смысле, что если что и бесполезно в

---

<sup>1</sup> Нервное истощение (*лат.*). — Медицинский термин.

потоке времени, так это лечить часы от бешенства в отрыве от всего организма, каковым, как вы сами понимаете, является Белая Бешня. И не только бесполезно, но и бессмысленно!

— И бесперспективно, — согласился г-н Архивариус.

— Вот и я говорю: если бы то была не Бешня, а Башня — тогда другое дело! Тогда это были бы нормальные башенные часы, а не какие-то безбашенные...

— Безбашенные часы, насколько мне известно, находятся на другом конце Хронилица, — сообщил г-н Архивариус. — И у них нет своей башни. Говорят, это временное явление...

— Как бы ни так! Про Бешню мне тоже говорили, что это временное явление! А я сдуру поверил! В первый день пришел с одним стетоскопом и в результате оглох на правое ухо... Пульс нормальный, голубушка. Эх, не то, что у меня! Покажите язык... Так-с... Прекрасный язычок — не чета моему.

— Угу, ваш, похоже, вообще без костей, — нахохлился г-н Филин.

— Что вы этим хотите сказать, господин Филин? — поинтересовалась Янка. — Получается, мой язык с костями?

От столь неожиданного вывода у г-на ученого секретаря отнялся его собственный язык; он широко разинул клюв и виновато захлопал глазами.

— Экий же вы невежа! — сокрушенно покачал головой г-н Архивариус.

Сославшись на непосильную занятость, доктор Прищепца быстро со всеми попрощался. И относительно занятости он не лукавил. Ему предстояла еще одна, сотая — юбилейная! — попытка очистить от шлаков нутро Белой Бешни с помощью ведерной клизмы, хотя после всех ранее проделанных манипуляций, безуспешных, а зачастую и опасных для жизни окружающих, он уже не очень-то верил в возможность положительного результата. Дело осложнялось и тем, что, как известно, единственную в Замке ведерную клизму подлю похитил Котомыш Лаврентий Печерский, с которым многострадальный доктор Прищепца теперь вынужден был вести унижительные переговоры о ее возвращении. Кроме того, необходимо было сшить необъятных размеров смирительную рубашу (правда, вопрос о том, кто будет надевать ее на Бешню, оставался пока открытым), а затем — внести в историю болезни кое-какие новые подробности: например, сведения о том, что, оказывается, пациент периодически брызжет ядовитой слюной. С тем доктор Прищепца и удалился.

— Как вы думаете, господин Архивариус, удастся ли ему починить бешеные часы? — спросила Янка.

— Ох, княгинюшка, если бы я знал! Но он — наша последняя надежда.

— Угу, а последняя надежда, как известно, умирает первой, — философично заметил г-н Филин.

— Больше оптимизма, дражайший господин Филин! Не будем отчаиваться, тем более что за помощью к доктору Прищепе мы обратились совсем недавно. Поэтому он не успел развернуться в полную силу.

— А почему его не пригласили раньше?

— Раньше приглашали других, княгинюшка! Правда, в основном это были не врачеватели, а часовых дел мастера. Причем, лучшие из лучших. Поначалу из Лондона прибыл несравненный Бартоломео Ньюзэм, позднее к нему присоединился Ганс Лютерер из Фрайбурга, именно в качестве выдающегося специалиста по башенным часам. Но, как это ни прискорбно, ровным счетом ничего у них не получилось. Тогда на подмогу были приглашены мэтр Брегé, — его срочно отозвали прямо с одного из кораблей французского военного флота, на котором он устанавливал недавно изобретенные им автоматические часы с двумя заводными барабанами, — а также мейстер Йост Бюрги, главным образом, как создатель секундной стрелки, и его друг, профессор Дасиподий... Кстати, последних двоих рекомендовал лично император Рудольф! В конце концов, покрытые сиянками и ушибами, отнюдь не славой, горемыки отбыли из Замка, так и не сумев продемонстрировать свое мастерство. Последним, кто попытался отремонтировать бешеные часы, был немец Конрад Рихардт, который в свое время снискал себе лавры тем, что умудрился оживить старинные часы на башне Санкт-Иоханнескирхи в Гере. Сей знаменитый мастер пробыл у нас дольше прочих. Он отличался такой дисциплинированностью, такой педантичностью, такой настойчивостью и даже, простите, таким упрямством, что просто не в силах был вовремя остановиться и в конечном итоге потерялся во времени. Увы, работы пришлось приостановить, и после долгих поисков господина Рихардта, его, а точнее, то, что от него осталось, слава богу, нашли, с горем пополам собрали и отправили на реабилитацию. Кстати, лечили его самыми обыкновенными часами с будильником, попеременно прикладывая их то к затылку, то к грудной клетке, то к коленным чашечкам.

— И тогда был приглашен доктор Прищепа? — высказала предположение Янка.

— Именно так, княгинюшка, он самый. Ибо после провала миссии господина Рихардта стало очевидным, что корень проблемы не в механике, а в материях куда более тонких! Другими словами, следовало бы заниматься не «ремонтom», а «лечением». А это, согласитесь, разные вещи. Вот и выходит, что в данном случае требовался подход исключительно медицинский, ибо: «Summum bonum medicinae sanitas», что означает: «Высшее благо медицины — здоровье». А здоровье, по утверждению доктора Прищепы, есть здоровая болезнь, в то время как болезнь — это больное здоровье. Это открытие принесло доктору Прищепе мировую известность.

— Честно говоря, первый раз слышу это имя, — призналась Янка.

— А я — второй, — сказал г-н Архивариус.

Тут вмешался г-н Филин:

— Угу, а что же тогда представляют собой здоровое здоровье и больная болезнь?

— Ах, господин Филин, к сожалению, я не доктор Прищепа, чтобы ответить достаточно компетентно. Но логика мне подсказывает, что это примерно то же самое, что масло масляное и навоз навозный.

— Пока я вижу, что медицина здесь тоже бессильна, — задумчиво молвила Янка; стрелки на бешеных часах несколько раз устрашающе лязгнули, и где-то наверху пронзительно зазвенел будильник. — А что же ваш Главный Часовщик?

— Эх, княгинюшка! Вы слышали, что про него говорил доктор Прищепа? Он у нас как бы вне времени. Думаю, очень скоро вы и сами в этом убедитесь.

— Хорошо, если скоро, — вздохнула Янка. — Не опоздать бы на Праздник!

— Не опоздаем, Ваше Высочество!

## II

Путники отправились дальше. Но не так-то просто было отделаться от Белой Бешни с ее бешеными часами! Казалось, она, используя силу притяжения Местной Относительности, водит

путников за нос, символическую роль которого так неудачно исполнял выбившийся из сил и окончательно расстроенный г-н Архивариус.

— Угу, угу! — сетовал г-н Филин, с укоризненным видом помахивая топографическими манжетами. — Это потому, что не доверяете моим азимутам, дражайший господин Архивариус!

Возразить было нечем: что да, то да! В надежде исправить ситуацию, решили сменить так называемый «нос», и теперь им стал Вялый Горбун с Фургоном на плечах: то были узкие писательские плечи г-на Филина. Рокировка, как видно, удалась, ибо к Бешне они больше не возвращались. Зато теперь на пути попадались часы не менее диковинные, и они нисколько не походили на те, к каким Янка привыкла с детства: например, на томпионовские напольные часы с маятником и гладкими блестящими цилиндрами на цепях, которые каждое утро заботливо заводила тетушка Клер, не говоря уже о довоенной «Победе», вечно «отстающей» на широком волосатом запястье бабы Мани; невозможно было сравнить все эти странные механизмы, что поддерживали жизнь Хронилица, ни с часами Ильинского над входом в Главпочтамт, ни с енодинскими часами Лаврской колокольни, на которой каждые четверть часа бьют куранты, ни, тем более, с электронным табло на здании Совета профсоюзов, с высоты которого на место, где некогда цвело Козье болото, ежедневно обрушивается кошмарная филиппенкина песнь «Славлю мою Радянську Батьківщину»<sup>1</sup>. О нет! В Хронилице, путников подстерегали часы далеко не безобидные. Чего стоили, например, часы *обстенные* — ужасно развязные и шумные, с явно нарушенной координацией движений, как если бы они перенесли сотрясение мозга! А вот часы *подпольные*, наоборот, вели себя скрытно и предельно осторожно, стараясь вообще не попадаться на глаза, и время показывали исключительно в зашифрованном виде и только на глубоко засекреченных частотах. Впрочем, без знания пароля, вся эта система пребывала в законсервированном состоянии. Тем не менее, приближаясь к подпольным часам, почему-то хотелось передвигаться тайком, опасно озираясь и тщательно маскируясь...

---

<sup>1</sup> Речь идет о часах, установленных в 1981 г. на башне здания Украинского Республиканского Совета профсоюзов (Майдан Незалежности), с электронным информатором. Куранты играли мелодию известной песни композитора А. Д. Филиппенко (1911/12–1983) «Славлю мою Радянську Батьківщину».

Совершив несколько коротких перебежек, отряд неожиданно наткнулся на дорожную карету, возле которой суетились двое незнакомцев. Суть их суеты заключалась в безуспешных попытках приладить к карете огромных размеров зубчатое колесо — ржавое и, судя по натужному кряхтению незнакомцев, очень тяжелое, — вместо расколовшегося надвое деревянного, обломки которого валялись рядом. В стороне паслась четверка распряженных лошадей. Точнее, пыталась пастись. Животные грустно тыкались мордами во все углы: не растет ли где-нибудь немного зеленой травы? Но, на их беду, не было в Хронилице никакой растительности — одни часовые механизмы.

Завидев подозрительную украдку приближающегося отряда, незнакомцы юркнули под карету и стали высовываться оттуда, беспокойно шныряя глазами.

— Эй! — окликнул их г-н Архивариус. — Зачем вы прячетесь? Мы не сделаем вам ничего плохого!

— Тогда почему вы крадетесь? — в свой черед спросили незнакомцы.

— Мы крадемся потому, что прячемся от подпольных часов!

— А мы прячемся потому, что вы крадетесь!

— Угу, это неслыханно! — возмущенно просипел г-н Филин, по-пластунски подползая к карете.

Первой нашла Янка. С приветливой улыбкой она обратилась к незнакомцам:

— Послушайте, давайте перестанем бояться друг друга и познакоимся.

И она представила своих спутников. Узнав, что они имеют честь лицезреть принцессу, да еще и в столь представительном сопровождении, незнакомцы были весьма польщены. Один из них — тот, что помоложе и оттого, возможно, поулыбчивей, — первым вылез из-под кареты и снял с головы потертую треуголку, правда, не слишком удачно: вместе с париком.

— О, какая честь, Ваше Высочество! — молвил он, кланяясь и обметая свои сапоги не столько треуголкой, сколько прилипшим к ней париком. — Господа, примите и вы наши самые искренние уверения, заверения, и все такое прочее, и позвольте представиться в свой черед. Меня зовут Леруа. А это мой друг и коллега почтенный Грахам. Как видите, мы тут некоторым образом застряли. Не катастрофа, конечно, но приятного мало. Проклятое колесо никак не насаживается на ось...

— Вот именно! — воскликнул почтенный Грахам и скорчил кислую мину. — Я же говорил вам, ничего не выйдет. Этому колесу лет пятьсот, не меньше!

— Тем лучше, дружище! — радостно согласился улыбчивый Леруа.

— Ах, вот как! Вы снова со своей идеей фикс! — почтенный Грахам хлопнул себя по бокам и трагично закатил глаза.

— Простите, господа, что вмешиваюсь, — не выдержал г-н Архивариус, — но о какой идее фикс идет речь? — и он с искренним интересом посмотрел на древнее металлическое колесо, зубцы которого потемнели от времени.

Грахам скривился.

— Извольте, господа, — сказал он с нескрываемой иронией. — Могу объяснить, если вам так хочется.

— Угу, не очень хочется, но куда ж деваться, — пробурчал г-н Филин.

— Видите ли, какое дело... Мой непутевый друг и компаньон, — и Грахам похлопал Леруа по плечу, — готов во всякой ружьяди узреть «колесо времени», если она имеет хоть малейшую тенденцию к закруглению.

— Естественно! — в порыве восторга подхватил улыбчивый Леруа. — А как можно думать и поступать иначе в наш век?

— Извините, а какой ваш век? — спросила Янка, с чисто женским любопытством разглядывая покрой одежды обоих компаньонов.

— Известно, какой, Ваше Высочество. Просвещенный век. Сегодня, извините, любой школяр знает, что наш мир подобен некоему колесному механизму в образе самозаводящихся часов. Вы, конечно, читали Готтшеда... Помните то место, где говорится, что «коль скоро мир — это машина, то у него большое сходство с часами»?

— Боже, какой антиквариат! — куда-то в сторону процедил г-н Филин. — Я как будто пыли наглотался...

— Или возьмем, например, — продолжал улыбчивый Леруа, — знаменитое письмо старика Кеплера от 10 февраля 1607 года, в котором он неопровержимо доказывает, что Универсум есть образ созданных Божественным Демиургом часов *ut coelestem machinam dicat non esse instar divini animalis, sed instar horologii (qui horologium credit esse animatum, is gloriam artificus tribuit operi)*... В подтверждение, господа, могу также привести девяносто второй параграф «Воспитания рода чело-



веческого» господина Лессинга, в котором упоминается, как вы помните, медленно вращающееся колесо, которое приближает род человеческий к совершенству, что, разумеется, не может никого из нас оставить равнодушным. А это большое колесо, в свою очередь, приводится в движение колесами поменьше, так что «каждое, — говорит господин Лессинг, — вносит свою лепту в движение целого»... Ах да! Я бы мог также порекомендовать, если вы еще не читали, «Идеи философии истории человечества» господина Гердера, в особенности, книгу шестнадцатую, главу четвертую...

— Хватит! Хватит! — болезненно морщась, простонал почтенный Грахам. — Вы прямо как то самое «колесо»: крутитесь, вертитесь, и никакою силой вас не остановишь! Но я вам все равно скажу честно и откровенно...

— Ах, дорогой мой, сделайте милость!

— Да-да, честно и откровенно. Я по-другому и не умею. Вы ведь меня знаете, коллега. Так вот: и вы сами, и ваши теории, хотя они вовсе и не ваши, давным-давно устарели. *Patina antiqua*, как говорится! — начал почтенный Грахам громить улыбчивого Леруа. — Я, конечно, понимаю ваш ребяческий задор. Но! Отверзнув очи, вы незамедлительно узрите, что вся наша многовекторная жизнь с ее невероятными коллизиями запускается в ход отнюдь не «колесом времени», коему место на свалке истории, и не так называемыми «божественными часами», к моему величайшему прискорбию, а зиждется она, эта жизнь, на убогом механизме, каковой еще мудрый Тик назвал «жалкой заботой о хлебе насущном».

— Ха-ха, ваш Тик был чересчур нервным! — весело парировал Леруа.

— Не смешно, — надулся почтенный Грахам, и его правая щека задергалась. — Да что с вами разговаривать! Это так же бессмысленно, как требовать от часов Кауфмана свежих мелодий: мотивчик всегда один и тот же!

— Но, дорогой мой! Позвольте, я вам докажу, что...

— Нет, нет и нет! Вы упрямы, как маятник!

— Кстати, о маятниках! — вдруг заволновался улыбчивый Леруа. — Господа, раз уж вы так любезны, скажите, не повстречался ли вам где-нибудь наш третий компаньон — господин Гюйгенс с таким большим маятником на плече? Он пошел на разведку и до сих пор не вернулся.

Г-н Архивариус посмотрел направо, налево, потом на улыбочивого Леруа:

— В Хранилище много маятников, но среди них, насколько мне помнится, вашего компаньона не было.

— Угу, не было, — подтвердил г-н Филин.

— Вот, коллега! — воспрянул почтенный Грахам. — А ведь я вам с самого начала говорил, что этот ваш Гюйгенс — настоящий маньяк: увидит колодец при дороге или просто дерево в поле — обязательно приладит к ним свой дурацкий маятник, а потом ходит вокруг и любуется.

— Обычно так ведут себя счастливые люди, — вздохнула Янка.

— С чего это вы взяли, сударыня?

— Не сударыня, а Ваше Высочество, — холодно поправил г-н Филин, чем сильно сконфузил почтенного Грахама. — Может, вы республиканец?

— Ха-ха-ха! — расхохотался Леруа. — Лихо он вас отбрил!

— Ничего подобного! — подбоченившись, возразил Грахам. — Я за конституционную монархию.

— Угу, ну, если вы такой умный, скажите, который теперь час?

— Вот! — и лицо Леруа подернулось нервической улыбочкой. — Нам и самим хотелось бы это знать! Но хоть убейте, — и Леруа перестал улыбаться, — ни один из наших великолепных механизмов не желает работать. Каретные часы, уж до чего надежные и приспособленные к самым ухабистым дорогам, и те вытворяют что-то несусветное! У меня язык не поворачивается...

— Вот видите, — снова заворчал почтенный Грахам. — А я ведь говорил этому «счастливому человеку» Гюйгенсу, что ехать сюда — сущее безумие. И вам тоже говорил. А вы что?

— А я что?

— А вы мне — про пуп земли, про центр мира, про нулевой меридиан, будь он неладен!..

Путники уже начали завидовать Вялому Горбуну, который мирно спал в положении стоя, изредка сладко всхрапывая.

— Понимаете, господа, — чуть не плача запричитал Леруа, что никак не вязалось с его улыбочивостью. — Какое-то странное место! И все эти ваши, с позволения сказать, часы... — он обвел недоуменным взглядом Хранилище. Их и часами-то назвать...

— Что-то не так, мсье? — забеспокоился г-н Архивариус.

— Ах, мсье! У нас полная карета первоклассной часовой механики... Знаете ли, пружины, анкеры, цилиндры, циферблаты — все, что душе угодно. Но их тут не к чему приладить! Понимаете?! Абсолютно не к чему...

— Ну, если не к чему, тогда, может быть, и не надо? — предположила Янка.

— А и в самом деле! — согласился г-н Архивариус. — Как говаривал маэстро Скарлатини: «Если к чему-нибудь прилаживать то, что не прилаживается, результатом будет большая лажа».

— Какой еще Скарлатини? — вытаращился Леруа на г-на Архивариуса.

— Угу, современный компоститор, — пояснил г-н Филин.

— И капельмонстр, — добавил г-н Архивариус.

— Вот видите! — скривился почтенный Грахам. — А я вам говорил: итальянцы просто не любят работать.

— Ну хорошо! Что же нам теперь делать? — еще больше загрустил улыбчивый Леруа.

— Я же вам говорю: пока не поздно, бросим здесь эту дрянную карету и отправимся на поиски счастливого Гюйгенса.

— Пожалуй, вы правы, дружище: может, он где-нибудь к чему-нибудь уже приладил свой маятник, и мы, наконец, узнаем точное время. Только вот куда девать лошадей?

Почтенный Грахам обреченно посмотрел на своего товарища и безразличным тоном сказал:

— Лошадям точное время ни к чему.

Придя, таким образом, к согласию, компаньоны поспешно распрощались с Янкой и ее друзьями и, бросив карету и изумленных лошадей, побежали трусцой туда, где виднелись гигантские часы с ликероводочным заводом. На их воротах красовалась криво приколоченная вывеска:

### «ВЕЧНАЯ ХРОНЬ»

— Угу, интересно, что лучше их заводит? Клубничный ликер или винтажный бренди? — с видом знатока размышлял г-н Филин.

— Ученые не пьют, коллега, — строгим тоном осадил его г-н Архивариус.

— Какие ученые? Я о часах с ликероводочным заводом!

— Думаю, они самозаводящиеся, — высказал предположение г-н Архивариус.

— Угу, надо бы проверить. У меня плохие предчувствия. Вон и этих двух сумасшедших что-то не видно... Небось, часы изучают. А закуску не взяли — налегке пошли.

— Прошу вас, не заводитесь, коллега!

### III

Изрядно надыхавшись спиртными испарениями, которые, по утверждению г-на Архивариуса, очевидно, символизировали плотность времени, слегка захмелевшие путники не заметили, как оказались посреди поля, излучаемого электрочасами. Неуловимые минуты с положительным и отрицательным зарядами хаотично сновали вокруг да около, а когда внезапно сталкивались между собой, высекали в наэлектризованном пространстве раскатистые громы и развесистые молнии.

Покинув область пониженного давления, друзья продолжили углубляться в лабиринты Хронилица, успешно минуя маяющиеся маятники и временные частоколы, охраняемые грозными часовыми с красными от хронического недосыпания глазами. Особенно будоражили, навеяв мечты, кои принято называть неосуществимыми, часы с мажорной и минорной стрелками. По мере приближения к ним путников охватывала то радостная печаль, то печальная радость, и такая частая смена настроений, конечно, сильно утомляла. Зато разных видов накальсонные часы, часы-блудильники, часы застольные и прочие им подобные оставили их равнодушными. И это несмотря на то, что от застольных часов веяло соблазнительными запахами борща и жареной домашней колбасы с чесноком!

В общем, похоже, путникам удалось достаточно неплохо освоиться в столь необычных условиях, и, казалось, уже ничто здесь не могло их смутить или поставить в тупик. Соответственно, и вели они себя так, будто прожили в Хронилице целую вечность...

Вскоре они ступили на обширные золотистые пески. И поскольку путь по эти пескам обещал быть неблизким, друзья, дабы как-то скоротать время, принялись наперебой вспоминать ранее увиденные в лабиринте чудеса.

— Угу! — пламенно провозгласил г-н Филин. — Вот выберемся отсюда, и я напишу о нашем славном путешествии самый большой в мире «Хронограф». Не будь я ученый секретарь!

— Мне кажется, вы не готовы, — остановил его г-н Архивариус.

— Угу, это почему же?

— Да потому, дражайший, что вы повторяете одну и ту же старую ошибку. Начитались Михаила Пселла, Проспера Аквитанского, Исидора Севильского и других им подобных авторов, но не учли при этом, что их так называемые «Хронографы» — это типичные мемуары. А как, по-вашему, можно назвать описания различных событий и страстей?

— Вы хотите сказать, что настоящий «Хронограф» — это что-то другое? — спросила Янка.

— Вот именно, княгинюшка! Настоящий «Хронограф» должен фиксировать не ряд событий во времени, а само время как таковое, точнее — представления или ощущения, возникающие при столкновении с ним, при проживании оногo. Вот скажите мне: что такое «долгие часы»? Или — «битый час»? Кто, как и за что его бьет? И почему иногда «время летит», а иногда «стоит на месте»?

— Ну, это, наверное, как-то связано с движением Глобуса Киева?

— И это тоже, княгинюшка. Но главная причина — в другом... Вы когда-нибудь задавались вопросом: что такое «тяжелые времена»?

— Это времена, в которые «час от часу не легче».

— Угу, лично меня уже просто *минутит*!

— Простите, не понял. Что вас?

— *Минутит* меня!

— А вы не суетитесь, и тогда вас будет *мгновентить* и *бесконечить*, — успокоил г-н Архивариус ученого секретаря и вновь обратился к Янке: — Итак, княгинюшка, ваш ответ хорош, но неполон. Послушайте, что я вам скажу. Где-то очень далеко на самой-пресамой окраине Хронилица, в старой-престарой часовне обитает некто по имени Полихроний Агапиевич. Лично я ни разу его в глаза не видел, но общеизвестно, что он действительный статский секундонт при ведомстве Главного Часовщика и занят тем, что непосредственно обживает время, стараясь при этом не пропустить мимо себя ни одной мельчайшей секунды. Представляете, какая нужна самоотверженность! Я бы сказал, полное самоотречение! Не случайно же историк Корнелий Пертурбат в своей великолепной «Этимологии» сообщает о том, что Полихроний Агапиевич полностью отрешился от своего эго, и с

тех пор — как бы это выразиться точнее — больше не воспринимается невооруженным глазом. Раз в год отряды добровольцев, вооружившись биноклями, подзорными трубами, микроскопами и прочими приборами, обшаривают Хронилище вдоль и поперек в надежде проявить, то есть сделать зримым действительного статского секунданта, но — как правило, безуспешно! А если иногда Полихроний Агапиевич и обнаруживает себя, то — в образе размытом и бессловесном, едва распознаваемом в свете фонарика, или в отблеске стекла, или в глазном зрачке собеседника, или в узоре крылышка ночного мотылька, но чаще — во снах. Можно сказать, он невидим как ветер, о существовании которого мы судим по трепету листвы, плеску флагов и полету облаков, — когда наблюдаем за ними сквозь плотно затворенное окно... Так через Полихрония Агапиевича приоткрывается тайный замысел Божественного Часовщика, о существовании которого многие поспешили забыть. Кстати, прошу не путать с Главным Часовщиком.

— Угу, а в чем, собственно, разница?

— Разница такая же, господин Филин, как между Солнцем и солнечным зайчиком.

— Угу! Чем же это вам так не угодили зайчики? — саркастично поинтересовался ученый секретарь.

— Я очень люблю зайчиков, — холодно ответил г-н Архивариус. — И солнечных, и лунных, и белых, и серых, и мартовских, и августовских, если таковые существуют в природе. А если вам не нравится мое сравнение, придумайте какое-нибудь свое. — И, бросив на г-на Филина взгляд полный презрения, он повернулся к Янке: — Теперь, княгинюшка, что касается «тяжелых времен», с которых мы с вами начали нашу дискуссию. Так вот, многие ученые мужи пытались определить удельный вес тех или иных времен. Но, как говорится, много званых, да мало избранных. И пока эти педанты возились со своими весами, линейками и прочими мудреными приспособлениями, однажды, — а случилось это по окончании так называемого *тихого часа* — нашего Полихрония Агапиевича посетила *минута озарения*. В *мгновение ока* он прозрел всю систему целиком, как некогда Гениальный Кондратий свою поэму «Любогония».

— Так что же он увидел?

— Ах, княгинюшка вы моя! Истина оказалась простой, как песочные часы! И теперь мы точно знаем: удельный вес времен зависит от того, что принято называть «нравственным импера-

тивом», а еще точнее — от произведения его плотности на ускорение его свободного падения в ту или иную единицу времени. А поскольку тяжелее всего на свете — злоба, нечистая совесть и уныние, — то отсюда и «времена тяжелые».

— А легче всего — радость! — воскликнула Янка.

— Угу! — обрадовался г-н Филин. — А кстати, господин Архивариус, когда вы в последний раз взвешивались?

— И что особенно интересно, княгинюшка, — продолжал г-н Архивариус, не обращая внимания на каверзный вопрос ученого секретаря, — от веса времени непосредственно зависит и его скорость.

— Да, — задумчиво протянула Янка. — Хорошо было бы — все время радоваться.

— Хорошо бы... Но невозможно.

#### IV

Шаг за шагом пройдя приблизительно до половины *терпения*, о котором почему-то ни действительный статский секундانت Полихроний Агапиевич, ни историк Корнелий Пертурбат в своих учениях не обмолвились ни полусловом, то есть, приблизившись вплотную к той незримой черте, за которой всякое движение — как вперед, так и назад, — часто оканчивается заурадной истерикой, в особенности у людей, по природе своей целеустремленных и увлеченных, каковыми и были наши путники, движение перестало быть поступательным, и Фургон остановился.

В ту же минуту друзья заметили, что пространство вокруг них и над их головами остекленело — теперь оно сверкало и переливалось в лучах множества Лун. Откуда-то докатывался глухой рокот часов с морским прибоем; воздух отяжелел от запаха водорослей и соленых брызг. Сквозь эту сияющую прозрачную пелену были видны чудовищных размеров чайки и бакланы — то с удлиняющимися прямо на глазах крыльями, то с разрастающимися вширь клювами. Будто отлитые из воды, птицы растекались в разные стороны.

Золотистые пески мало-помалу оседали в разверзшейся под ногами огромной воронке, увлекая за собой беспомощную компанию. Ничего не оставалось, как взобраться на крышу Фургона и уповать на чудо.

— Ах, что это? Что это? — спрашивала Янка, стараясь не смотреть вниз. — Нас куда-то затягивает?

— *Песучие зыбки!* — дрожащим голосом отвечал г-н Филин; он попытался взлететь, но крылья его не слушались.

— Нет, на зыбучие пески это не похоже, — задумчиво молвил г-н Архивариус. — Как говорили древние...

Услышав о «древних», г-н Филин понял, что дело плохо. Он протянул г-ну Архивариусу десяток своих самых любимых топографических манжет, испещренных рельефами, пунктирами и топонимами:

— Вот, примите плоды моих географических страданий...

— Вы хотели сказать, стараний, — машинально поправил его г-н Архивариус, сиюсь вспомнить, что же говорили «древние».

— Угу, и ежели со мной стряется непоправимое, передайте их куда следует, угу?

— Угу, — ответил г-н Архивариус. — Графологическое Общество при Академии наук вас устроит?

— Мне уже все равно, — угасающим голосом произнес ученый секретарь. — И еще... Передайте моей бесценной супруге... скажите ей... что я... что она...

Скупая птичья слеза повисла на кончике его клюва.

— Вы не должны так отчаиваться, дорогой господин Филин, — попробовала утешить ученого секретаря Янка, сама чуть не плача. — Вот увидите, все это скоро кончится...

— Угу, все кончится, — обреченно согласился г-н Филин, надевая чистые белые манжеты, как бы готовясь встретить свои последние минуты.

Тем временем золотистые пески окончательно превратились в крохотный островок с застрявшим на его поверхности Фургоном. Зато разрослось и раскинулось от края и до края подобие стеклянного неба; оно было бездонным и каким-то отчужденным. Исчезли птичьи крики, и морем больше не пахло. Полное безветрие и в пугающей своей неестественностью тишине монотонный шорох песков вокруг Фургона.

Впрочем, затишье длилось недолго. Грянул пушечный залп, за ним — второй, третий, и следом — бестолковая мушкетная трескотня, сопровождаемая воинственными призывами.

— На бордаж! На бордаж! — хрипло орали луженые глотки.

— Потроши! Режь! — отвечали им героические тенора.

Сомнений не оставалось: где-то там, за полупрозрачной пленой из стекла и лунного света, исправно работали часы с морским боем, что, конечно, вносило некоторую ясность в положение



ние путников, но не приносило в эту ясность желаемого оптимизма. В стекле неба, или в небе стекла, угадывались водянистые разводы движений, колыхания, всплески зыбких огней и, словно в проявочной машине, возникали асимметричные пиратские хари с распахнутыми настезь однозубыми пастями, из которых неслись громогласные проклятья:

— Багром! Багром держи, медуза! — орали луженые глотки.

— Погром! Погром! Кар-рузы! — отвечали им героические тенора.

— Верните Черного Кузьму! — угрожающе орали луженые глотки.

— По-моему, — нерешительно предположил г-н Архивариус, — в данном случае речь идет о каком-то заложнике — некоем Черном Кузьме.

И он принялся суетливо примеривать изрядно поношенную бермудскую треуголку вместо своего неизменного ученого колпака. Больше всего на свете г-ну Архивариусу хотелось куда-нибудь исчезнуть. То тут, то там, будто в кривых зеркалах, появлялись и в миг растворялись искривленные фрагменты форштевней с деревянными скульптурами горгулий, русалок и осьминогов, огрызки вант, шляпы размером со шлюпку, зияющие в черных полотнищах штандартов дыры, размазанные жерла орудий, смутлые в татуировках ручищи, прикованные к веслам наручными часами.

— Сбей фор-бом-брамсель! — орали луженые глотки.

— Сами бром пейте! — огрызались в ответ героические тенора.

И снова свистели ядра, взрывались бомбы, звенели палаши, хлопали паруса, подобно крыльям драконов, и трещали и рушились дощатые палубы под напором множества бегущих ног. «Земля! Земля! — кричали вахтенные матросы. — Вижу землю!», а на реях качались пьяные нептуны в обнимку с развеселыми рожерами. Шум и ярость были такими, что Янка заткнула уши и крепко зажмурилась.

Протянув г-ну Архивариусу расчерченную на квадраты манжету, а другую оставив у себя, г-н Филин выкрикнул:

— «Бэ»-семь!

— Мимо! — не растерявшись, парировал г-н Архивариус и тут же атаковал сам: — «А»-девять!

— Угу! — обиделся ученый секретарь. — Ранен...

— На всю голову! — орали луженые глотки.

— На всю палубу! — отвечали героические тенора.

— Что вы делаете, господа? — воскликнула Янка. — Что с вами? Прошу вас, остановитесь!

— Угу, кажется, мы сходим с ума! Ваш ход, господин Архивариус!

— Конечно, мой! И он будет последним...

Но г-н Архивариус не успел воспользоваться любезностью своего ученого секретаря, ибо в эту самую минуту Фургон начало затягивать в какую-то стеклянную воронку, и уже через мгновение вся компания вместе с остатками золотистых песков и квадратиками «флота» на манжетах с дружным воплем рухнула на... новые золотистые пески. Г-н Архивариус первым вскочил на ноги, отряхнул помятую бермудскую треуголку и закричал:

— Друзья мои, кажется, я понял! Мы в песочных часах!

— Угу, сейчас нас будут переворачивать, — справедливо рассудил г-н Филин.

Янке хотелось заплакать от отчаяния, но вместо нее, как настоящий джентльмен, заплакал Вялый Горбун. К тому же ему не впервой было брать это бремя на себя и нести его вдохновенно и с большой самоотдачей. Вот и сейчас он уткнулся лбом в дверцу Фургона и зарыдал на манер оперных итальянцев. Фургон сочувственно поглаживал его по большой голове своей кремовой занавеской и ею же утирал ему мокрые от слез глаза, нос, щеки, крутой подбородок, грудь, трясущиеся коленки и заодно скорбно опустившиеся книзу длинные носки башмаков. Друзья совсем приуныли. Стало ясно, что им никогда отсюда не выбраться, ибо не существует выхода из песочных часов.

И вдруг над головами путников огненной стрелой промелькнула молния, стеклянное небо дало трещину, и в следующее мгновение обрушилось — да с таким звоном, как если бы на асфальт рухнул небоскреб! У самых ног путников, дымясь, волчком крутилось шальное пиратское ядро. И точно: чуть поодаль, возле остановившихся часов с морским боем толпились непутевые пираты. Побросав свои корабли с механическими абордажами, они в утрюмой растерянности почесывали затылки, не зная, как им теперь быть с нечаянно разбитыми песочными часами. Поначалу они пробовали препираться и сваливать вину друг на друга, потом — на отдельно взятые личности, каковыми становились попеременно пушкари, шкипера, вахтенные матро-

сы, боцманы и лоцманы, баталеры и квартирмейстеры<sup>1</sup>. Не миновала сия чаша и главарей, невзирая на их косматость и свирепость. Препирательства, однако, ни к чему не привели. Оставалось одно: развязать связанного по рукам и ногам Черного Кузьму и дать ему слово. Избавившись от пут, а также от повязки на глазах, винных пробок в ушах и тряпичного кляпа во рту, Черный Кузьма тут же обозвал всех участников диспута идиотами, кретинами, каторжниками и висельниками, за что получил вышеперечисленные путы, повязки, пробки и кляп в повторное пользование и сразу утомился.

— Ладно, братва, пошли писать объяснительную записку! — постановили луженые глотки.

— Эх, писать так писать! — согласились героические тенора.

И пираты, тихо переругиваясь, вразвалочку удалились в свои часы с морским боем...

## V

Вот так неожиданно-негаданно путники оказались на воле. Некоторое время они топтались на одном месте, не зная, куда теперь идти. «Ах, сколько же еще нам колесить по этому Хронилищу? Конца и края ему нет! — с горечью подумала Янка. — Так и Праздник пройдет без нас. И Фарфоровый Лев меня не дождется... И Сказочника Адуляра я больше никогда не увижу».

Мутная Луна бросала серебро на корявые очертания Хронилища. Впереди, на возвышении, широким кругом выстроились какие-то мегалитические сооружения. Их было двенадцать. Место представлялось достаточно защищенным, так что путники решили расположиться здесь на привал. Долгожданный сон не замедлил вступить в свои права. Во сне Янка увидела Сказочника Адуляра. Крепко обнявшись, они раскачивались на огромном маятнике, будто на качелях. Солнце, небо, маятник — все вокруг сияло и излучало радость. Это было счастье!

Отряхнув остатки сна, путники увидели, что находятся в центре площадки сферической формы, окруженной по краям, словно колоннами, циклопическими напольными часами, за запертыми стеклянными дверцами которых бесшумно колыхались гигантские маятники.

---

<sup>1</sup> Баталер на флоте — человек, который отвечает за снабжение экипажа продовольственными и непродовольственными товарами, ведет учет и составляет отчетную документацию. Квартирмейстер — старшина рулевых.

— Угу, ничего себе перформанс! — съязвил г-н Филин.

— Похоже, это и есть Частилище Главного Часовщика, — сказал г-н Архивариус, окидывая взором окрестности.

Во все стороны простирались кольцеобразные владения Главного Часовщика — вечно гремящий лабиринт. Вдали виднелась коварная Белая Бешня с бешеными часами, и по какой-то явно нездоровой суете, творящейся у ее стен, можно было понять, что там ох как не сладко приходится доктору Прищепе! А здесь, наверху, царили тишина и покой, и только едва слышно тикали порхающие вокруг часики да нежно перезванивались скрытые от глаз колокольчики: хрупкими, призрачными и таинственными были их мелодии. Казалось, на каменный пол Частилища, на крышу Фургона, на головы путников падали легчайшие капли-звуки, капли-секунды, и вскоре весь лабиринт ожил, задышал глубоко и привольно, вдыхая время и выдыхая вечность, или наоборот, вдыхая вечность и выдыхая время.

— Смотрите! — воскликнула Янка, простирая руки вниз. — Там все живое!

— Динь-дилинь, — прозвенели колокольчики. — Живее не бывает, дилинь-динь!..

От неожиданности путники вздрогнули. Они обернулись и увидели того, кого искали так долго, что, можно сказать, уже и не искали. Так вот, значит, он какой — Главный Часовщик! Нет-нет, он не имел длинной бороды и длинного плаща. Не было на нем и шляпы. А был он одет в нечто столь мудреное — набекрень, с легким щегольским поворотом и заковыристо подвязанное, — что, казалось, одеяние это вот-вот обрушится или вспорхнет и улетит прочь. Столь сложный наряд, однако, не мешал Главному Часовщику держать под мышкой толстую книгу, а именно — «Туринский Часослов», в котором ему нравилось рассматривать цветные картинки, ибо читать он не умел. Да и зачем Главному Часовщику уметь читать? Зачастую люди умеют делать много такого, что им совершенно не нужно. А иногда и вредно.

— Бам-бам-м-м, здесь все живое, — продолжал колоколоть Главный Часовщик, вырывая из «Туринского Часослова» какую-то особенно понравившуюся ему страницу и любовно складывая из нее бумажного голубя; от такого обращения с раритетом у г-на Архивариуса перехватило дыхание. — Живое, потому что меняется. А меняется, потому что живое, дзынь-дзынь...

Бумажный голубь плавно полетел вниз.

— Меняется же, блюм-блюм, абсолютно все, потому что абсолютно все — живое. А все — есть время. И время постоянно меняется, меняется абсолютно, оно непрерывно уходит-уходит и непрерывно приходит-приходит, покидая нас и к нам же возвращаясь. Оно живое, день-дон!..

— Угу! — выступил вперед практичный г-н Филин. — А нельзя ли все-таки узнать точное время? — и он приготовил чистую манжету для записи, а для большей солидности подпоясался новеньким часовым пояском.

Главный Часовщик как-то сразу весь осунулся и побледнел.

— Бим-бом! — с печалью вселенской в голосе прогудел он и вырвал из «Часослова» еще страницу.

— Ах, может быть, вы плохо себя чувствуете? — заволновалась Янка. — Надо позвать доктора... Доктора Прищепу, который лечит Бешню с ее бешеными часами...

— Не поможет, — остановил Янку Главный Часовщик, внутри у него что-то забряцало — бряц-бряц — и жажужжало — ж-ж-ж-ж-ж. — Нет, не помож-ж-ж-жет.

— Обязательно поможет! Главное, не терять надежду и бороться.

— У меня *часотка*. Я болен насквозь. Время сейчас больное, а я и есть время, тик-так!.. — Главный Часовщик грустно улыбнулся Янке и уже совсем печально прозвонил: — Вот вы, звяк-звяк, время здоровое. Таковым и оставайтесь. Не надо обращать внимание на мой хронический недуг. Хроник я.

— Угу, и как давно? — не удержался г-н Филин.

— А что такое «давно», бамс-бамс?..

И очередной бумажный голубь полетел над лабиринтом, а Главный Часовщик принялся прозванивать затронутую тему в том смысле, что, дескать, время являет себя в звуках, красках и запахах; в предметах, чувствах и мыслях. Всё и вся в этом мире есть не что иное, как время в разнообразных его формах, плотностях и массах — с тем лишь отличием, что у каждой формы своя скорость. Но несмотря на это, они движутся в одном едином потоке и попросту составляют его, хотя нам и кажется, что они пребывают в состоянии покоя. А сам мир, образно говоря, представляет собой математическую универсальную формулу времени, его компендиум. И эта простая и великая истина открылась ему в то самое мгновение, когда он увидел и полюбил прекрасную Клепсидру, потому что любовь есть двигатель времени.

— Так что все эти часовые механизмы, дз-з-з... кляк-кляк-кляк, составляющие лабиринт и, одновременно, населяющие его, — это либо наши с ней дети, либо дети наших детей, и так далее, бим-бом! — отзвонил Главный Часовщик и надолго умолк, будто в нем закончился завод.

— Кхе-кхе! — как можно более академично начал г-н Архивариус. — Я впечатлен, коллега. Но! Если уж нельзя выяснить точное время, то хотелось бы узнать кратчайший путь из Хронилица. Понимаете, мы опаздываем...

— Угу-угу! — подхватил г-н Филин. — Именно кратчайший! Я мечтаю о нем с самого дня моего рождения!

— Тр-р-р-р... бим-бом-бам! — снова «завелся» и загудел Главный Часовщик. — Всякий из нас, от мельчайшей пылинки, динь-дилинь, и до величайшей планеты, бум-бурум, есть воплощенное время, а это значит — бесконечное множество совершенно индивидуальных скоростей. Посему теряют всякий смысл такие понятия, как, «опоздание» или «успевание», «опережение» или «отставание», ибо каждый из нас — плоть от плоти единого потока, и никто не может быть, дум-дум, ни быстрее, ни медленнее его. Говорить же о «дне рождения», господин Филин, по меньшей мере, неуместно, поскольку ничто в потоке не рождается и ничто в нем не умирает. Что же касается «кратчайшего пути» из Хронилица, господин Архивариус, то его вообще не существует, как не существует и «длиннейшего пути», а есть один общий путь без начала и без конца, и имя ему — Время, тик-так, тик-так!

Г-н Архивариус нетерпеливо комкал свой ученый колпак, он давно уже заприметил чуть приотворенную дверцу в ближайших напольных часах. Да и маятник в них, видимо, по причине неисправности, не раскачивался, а висел неподвижно, так что через эту дверцу можно было легко ускользнуть, не получив увечий. Интуиция подсказывала г-ну Архивариусу, что это и есть выход из Хронилица.

— Что ж, спасибо за столь поучительный рассказ, — сказал он, подталкивая Вялого Горбуна с Фургоном поближе к этой дверце. — Мы превесьма благодарны... Я бы сказал, благодарны поминутно и посекундно... Но, к сожалению, время наше истекло...

Главный Часовщик скептически покачивал головой, будто маятником.

— ...А посему мы вынуждены, как это нам не жаль...

— Угу, совершенно не жаль!

— ...с вами попрощаться, — продолжал г-н Архивариус, сердито тараща глаза на ученого секретаря. — Прощаться... дабы поскорее ступить на этот чудесный «общий путь», о котором вы сейчас так интересно рассказывали.

— Звяк-звяк! — уныло прозвякал Главный Часовщик.

— Угук-угук! — передразнил его г-н Филин и, перейдя на шепот, затараторил г-ну Архивариусу прямо в ухо: — Что мы слушаем этого старого зануду! Только время теряем!

— Бздынь-бздынь! Я все слышал. Время невозможно потерять, ежели сначала его не найти, а найти его невозможно...

— А можно, мы навестим вас как-нибудь в другой раз? — предложила Янка.

— Тирлим-бом-бом! «Другого раза», сударыня, не бывает по определению, ибо есть один, но «вечный раз». Более того, вы не можете со мной «прощаться», хотя по молодости лет и допускаете такую возможность в природе. Никто ни с кем не может ни поздороваться, ни попрощаться, поскольку мы — рядом всегда и повсюду. И ежели не видим друг друга при этом, то исключительно из-за неспособности или по нежеланию видеть.

Друзья уже готовы были окончательно пасть духом, но в эту минуту в груди Главного Часовщика что-то звонко щелкнуло.

— Однако же, судари мои, — заколоколил он, приободряясь, — могу предложить вам *почасоваться*. Ибо, ежели кто продолжит дальнейшее движение, не *почасовавшись*, тот, чин-чин, навеки останется нес-час-т-ным!

— Угу, не знаю, как там насчет его гениальной болезни, — пробурчал г-н Филин, — но то, что он сумасшедший, так это угу.

— Э, нет, — возразил г-н Архивариус. — Скорее, он и есть тот «самозаводящийся часовой механизм», о котором писал мсье Ламетри в своем знаменитом сочинении «Человек-машина».

Как бы там ни было на самом деле, но друзьям пришлось несколько раз *почасоваться* между собой, потом — с Главным Часовщиком персонально. После этой священной процедуры, они бросились к спасительной дверце в ближайших напольных часах...

# **КНИГА ГОРОДА**





## НОЧНЫЕ БДЕНИЯ В СЕРОМ ТЕРЕМЕ

*Отрывок из конфиденциального разговора,  
тайно подслушанного и записанного на диктофон  
слухарями волшебника Магора*

Вначале слышен шум пленки. Много шума пленки. Ничего, кроме шума... Вскоре сквозь шум начинают изредка пробиваться отдельные слова и группы слов:

«[...] *Ш-ш-ш-ш-ш...* инспектор Пришивалов... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* кто такой?.. *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* идиот... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* из Подольского РУВД... *ш-ш-ш-ш-ш...* инспектор... *ш-ш-ш-ш-ш...* участко... *ш-ш-ш-ш-ш...* утром обнаружил рукопись на Андреевском спуске... *ш-ш-ш-ш...* собирал ее по всей улице... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* и как, по-вашему, кто... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* нет, автор... *ш-ш-ш-ш...* нам пока неизве... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* поручить одному из осведомителей... *ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш...* пора взяться за них всерьез, а то, что же это такое, в самом деле? Что они себе позволяют?

- Истинную правду говорите, товарищ полковник.
- А где собираются эти отщепенцы?
- Да есть тут неподалеку одно кафе.
- Возьмите в разработку.
- У нас всё под контролем. Там наш человек.
- Очень хорошо. Мне нужен автор этой рукописи.
- Слушаюсь, товарищ полковник!
- Не хватало, чтобы она стала протографом.
- Чем стала, товарищ полковник?
- И с этого вашего идиота Пришивалова, на всякий случай, глаз не спускайте. А вообще, должен вам заметить, на таких идиотах мир держится.
- Истинную правду говорите, товарищ полковник!
- Да что вы заладили...
- Извините, товарищ...

- А что — экспертиза?
- Предварительная экспертиза пока не дала результатов. Почему-то не выявлено ни одного отпечатка пальцев, кроме пальцев вышеуказанного Пришивалова.
- Да, действительно, идиот.
- А что, если?..
- Продолжайте.
- Может, повесим это дело на Пришивалова, и концы в воду?
- Не будем торопиться. Так что там еще по экспертизе?
- Почти ничего. Следы крови имеют томатное происхождение. Ну, и чернила...
- Тоже томатного происхождения?
- Никак нет! Чернила «Радуга», синие, произведены лет пять назад...
- Это всё?
- Всё, товарищ полковник.
- Да, похоже, мы имеем дело с опытным конспиратором. Или с группой конспираторов.
- Вы думаете?
- Я всегда думаю, в отличие от некоторых. Вы рукопись читали?
- Так точно. И даже вам вслух читал.
- Ну, ладно, ладно. Вы обратили внимание: он везде говорит о себе в первом лице? «Я» о себе может сказать кто угодно. Вот, к примеру, когда вы читали мне эту рукопись вслух, я вполне мог бы подумать, что это вы ее и написали.
- Вы шутите, товарищ...
- Шучу. Пока шучу.
- Но там его всё время называют «Классиком»!
- Так что вы предлагаете? Кого мне подозревать? Вы знаете, сколько у нас в городе одних только официальных лауреатов, не говоря уж о соискателях? Случайных людей среди них нет. А если есть, то нас с вами надо уволить. А лучше — расстрелять...
- Расстрелять?!
- Теперь вы понимаете, насколько дело это деликатное? Ну хорошо, а что нам сообщает картотека?
- В картотеке под литерой «Я» около двух десятков фамилий, но никто из них не значится как «Классик».

— Оно и понятно: классики давно вымерли. Одни современники остались и воздух отравляют.

— Вы хотите сказать, автор специально хочет убедить нас, будто бы он труп, чтобы нас запутать и следы замести?

— Да, советую вам проработать и эту версию. С трупом — это хорошо... Кстати, почерк. Графологов подключали?

— Так точно. Графологический анализ показал, что весь текст умышленно написан левой рукой...

— Хм, говорите, умышленно?

— Так точно. Доказано, что писавший — правша в пятом поколении, как минимум... И еще: все буквы — печатные. При чем отмечены некоторые странности.

— Какие же?

— Вот, посмотрите, товарищ полковник: здесь... здесь... и здесь... Ну, и не только здесь. Короче, в тексте все буквы «Я» и буквы «И» написаны наоборот, то есть как бы в зеркальном отражении...

— Продолжайте.

— То есть, они имеют вид латинских букв, соответственно, «R» и «N».

— А вот это уже интересно! Кажется, тут есть за что зацепиться.

— За что именно, товарищ полковник?

— Вот вы и найдите. И зацепитесь. Еще можете что-нибудь добавить?

— Так точно, Укром Укромыч...

— Я же просил: никаких имен!

— Виноват, товарищ полковник. Так вот, один из фигурантов акции, описанной в тексте рукописи, некто...

— Продолжайте.

— Некто гражданин Перетятько...

— Перетятько?

— Так точно. Перетятько этот обладает сильным деструктивным запахом, чем очень напоминает одного нашего глубоко законспирированного осведомителя. От того тоже, извините, воняет как от скунса. Да и методы работы уж очень схожи.

— Он что, не моется?

— Нет, это у него от природы. Так сказать, врожденное.

— Кто такой?



Леса из валунов и сосен,  
где брызги лунные цветут  
на темных выступах и тропях,  
и в земляничных чашах  
шевеленье сильф,  
вздыхающих о путнике случайном.  
Быть может, этот путник ты,  
сопровождаемый своей  
крылатой тенью,  
она на шаг не отстает  
и шепчет, что верна...  
И ты идешь...

Ты идешь, а на площади посреди бескрайнего бабьего лета — баба в золотом от солнца переднике, у ног — плетеная корзина с пирогами. И кричит баба во все свое горло: «Король умер! Да здравствует король!» И на зов ее сбегается ликующий народ поглазеть на запеченного короля... Но что такое?.. Да нет же, баба кричит: «Пироги с горохом! Горячие пироги!»

Ты идешь... И люди вокруг тебя тоже идут. Или делают вид, что идут. Или им кажется, что они идут.

Не ходьба и не скольжение по бульварам и проспектам, по затаившимся улицам — в поисках волшебного изумруда или в надежде на счастливый финал, в котором самым чудесным образом свяжутся тысячи перепутанных нитей. И песня льется сама собою, хотя никто ее не поет и никто не слушает. Не оттого ль она так легка, что никому не принадлежит, а потому и не имеет ни начала, ни конца?

Прямо из-под ног взматывается к полуденному студеному небу старый парк и медленно оседает тишайшей завесой из лиственного тлена, в которой растворяется силуэт одинокого путника, уносящего с собой эту неслышную песню.

Где-то далеко в прошлом бубнят барабаны — где-то в прошлом... А настоящее приняло образ собаки: мягко ступает она по сырым кирпичам аллеи, шуршит опавшими письменами и жадно втягивает носом холодный пряный воздух октября.

И старушки, словно осенние вздохи, коснувшись редких скамеек, так и замерли в дремоте, обласканные воркованием голубей, что из семейства вечноживущих.

Зачарованные парусники проплывают над взорами, запрокинутыми ввысь; они никогда не остановятся, не бросят якорь,

сколько не вглядывайся. В этот сумеречный час из зеленовато-серой дымки навстречу тебе выступают черные стволы деревьев — грациозные берберские царицы, длинными тонкими пальцами поддерживая свои золотые короны...

И снова дорога.

Верхний Город — в пастельных тонах летнего марева. А в зимнюю пору — бело-черный с изумрудным отливом, как оперение сороки, с редкими вкраплениями золота и бирюзы висящих в тумане старинных дворцов. Сейчас, омытый дождями, овейанный ветрами, он замер, будто в ожидании Указания Свыше... Гигантская арка, покрытая титановыми пластинами, сверкает над древним холмом — ворота, через которые в город входит восточный ветер. Иногда на этих вратах появляются струны, и ветер ударяет в них, и арка превращается в арфу. Может, ты хотел бы стать ее настройщиком, ее хранителем?..

Потом — Нижний Город. Ты едешь туда в двуглавом трамвае, у которого, подобно мифической Амфисбене, одна голова устремлена вперед, а другая — назад, в предвидении неминуемого возвращения. И ты в ее железной утробе — случайный пленник вместе с другими, подобными тебе. Толкотня, болтанка, скрежет колес по рельсам. Разговоры, из которых твой слух выхватывает отдельные реплики:

— Говорят, трамвай этот отменяют!..

— Вы правы, я тоже могу ночами не спать, но сплю им на зло...

— А она мне: «Папа! Папа! Смотри, какие фонарики!» Ну, я и смотрю, а сам думаю: «Фонарики-монарики! Вот лет через десять как возьмешь отца за хобот: дай денег на то, дай на это!..»

— Передайте на билетик!..

— Нет, не отменяют...

— Ха-ха! А я за две с полтиной на базаре...

— Какой, к черту, Иосиф Флавий?..

— А я говорю: отменяют. Обязательно отменяют. Один уже сорвался в прошлом году с рельс — в Днепре ловили.

— Во загнул! Где мы, а где Днепр!

— Вы, пожалуйста, нас не путайте. Это фуникулер сорвался и упал в Днепр.

— А вас никто не спрашивает!..

— Ты что, болеешь?..

— Да, сапоги жмут...

- Чего? Ностальгия?..
- Тут она как повернется ко мне, как зарычит! У меня всю ночь волосы на голове шевелились...
- Вот здорово, и я так хочу!..
- Наша песня хороша...
- Даме плохо! Водитель, остановите трамвай!..
- Да, пока его не отменили...
- Водитель!
- Это не водитель, это вагоновожатый!..
- Сам женись, козел!..
- Что за люди! Никому нет дела!..
- А я ей тоже: «Фонарики-монарики!..», а сам думаю: «Где бы это прилечь?..»
- Ой, гляди, чего-то ищут!..
- Никак золото?..
- Нет, метро...
- Метро ищут?..
- Даму тошнит!.. Немедленно остановите трамвай!
- Да что же это такое! Вагоновожатый!..
- Эй, шеф, тормози!..

И трамвай останавливается где-то между небом и землей, а точнее, на середине крутого спуска, не доехав до Речного вокзала четверти мили.

- Граждане пассажиры! Трамвай дальше не идет!
- Что значит не идет?!
- Просьба покинуть салон!..

Кляня вагоновожатого, неожиданно оказавшегося женщиной, «граждане-пассажиры» выводят даму, которую тошнит, на свежий воздух и выходят сами. И ты тоже выходишь. Нижний Город у твоих ног... Воздух, пахнувший рекой, гудки барж, скрежет кранов в доках, звуки музыки, доносящиеся с прогулочных катеров, выгнутые спины мостов, крики чаек, вьющихся над кормой белого теплохода, уходящего вниз по течению, куда-то к далекому морю. Нижний Город... Твое странствие продолжается. Здесь всё так ветхо и так мило сердцу: домики, улочки, дворики и церквушки. Будто игрушечный мир, затерявшийся во времени. И ты не идешь, не бежишь и не скачешь вприпрыжку, а *перемещаешься* — осторожно, словно боишься что-нибудь задеть и сломать. Или где-нибудь на краю суматохи дня, в оцепеневшем сквере, ты подремываешь на скамейке под сенью ветви-



стого каштана, и тебе открываются сокровенные мысли людей и их подлинные прообразы — прекрасные и ужасные; или грёзы бродячих собак, пробегающих мимо в своей ангельски искренней сосредоточенности на текущей минуте, в которой умещается вся жизнь; или тайны зеленых луж в аллеях — ведь в каждой лужице Офелия живет. И всё, что видишь и слышишь ты, приводит тебя в умиление: россыпи солнечного света на стволах деревьев, на парапетах, на детских лицах и на лицах стариков, говор воды в фонтане, воробьиная возня в пыльной траве и пахнущий водорослями и дождями ветер с Днепра. И ты продолжаешь сочинять поэму на Вечную Тему. Как и положено настоящему Классику... «Впрочем, какой же ты Классик? — говоришь ты себе. — Разве ты забыл? Классик — это тот, кто имеет не менее ста двадцати тысяч ассов полновесной монетой...»

У тебя их точно нет, но ты все равно сочиняешь поэму на Вечную Тему:

...Предутренний туман,  
как подозренье,  
рассеиваться не спешит  
и оседает желчью фонарей  
на стенах ратуши,  
на позолоте циферблата.  
Чревоугодник городской  
вкушает сны — что булки!  
Над ним, в тумане,  
Град плывет —  
кладбищенский прообраз, —  
и струйки тишины ночной,  
подобно рыбьим стайкам,  
в оконные проемы  
башен и мансард  
прозрачную несут прохладу.

Вот достоянье этой ночи;  
она не вздрогнет,  
не родится, не умрет,  
ей время — вечность...

Вот! Ну, не странно ли: днем ты сочиняешь про ночь, а ночью — про день? И так у тебя всегда: пишешь о том, чего не видно, о том, чего нет, но могло бы быть, о том, что не здесь и не сейчас, ибо это именно то, что ты имеешь...

Далее твой путь лежит вверх по Андреевскому спуску. Долго ли, коротко, но ты опять в центре Великого Круглого Города, словно на самом темечке вещающей головы Брана, властелина подземного царства мертвых. Вроде бы самое время с ней поговорить... Готов ли ты услышать прорицание, предназначенное именно тебе и именно сейчас? Может, не стоит искушать судьбу — будить спящего Брана? Ты устал, ноги твои гудят, в горле пересохло, в носу пряный аромат кофе — незримые облачка его долетают из так хорошо знакомой тебе кофейни, в которой ты когда-то погубил столько времени. Ты мог бы остановиться, надеть плащ неузнаваемости<sup>1</sup> и с мечтательным видом погрузиться в этот старенький полуподвал, это увешанное сумеречными зеркалами хранилище твоего головокружительного имперфекта — видимо, все еще незаконченного прошлого. Ты заказал бы чашечку крепчайшего черного кофе, какого здесь отродясь не подавали, густого и смолянистого, как воды Леты. И никакого сахара, и никакого молока! А пока где-то там за стеной, в скрытых от постороннего взора недрах кухни, неведомые и безымянные алхимики варили бы для тебя твой эликсир, ты, как в былые времена, подошел бы к таинственно светящемуся в дальнем углу электрическому ящику-меломану и опустил бы в его чрево, набитое «запыленными» до зубной боли пластинками, потертый антиохийский медный пятак эпохи Крестовых походов. И вновь — сквозь скрип и шипение то ли винила, то ли далекого прошлого, — услышал бы старенький раздолбанный диксиленд, хотя с полным основанием рассчитывал на «*Ja nus hons pris*», канцону на окситанском языке, в которой тебе особенно нравились слова из второго куплета: «*Or sapchon ben miei hom e miei baron, / Angles, norman, peitavin e gascon, / Qu'ieu non ay ja si paure companhon / Qu'ieu laissasse, per aver, en preison*»<sup>2</sup>. А некто Флюидов говорил бы тебе о каких-то голубях и о каких-то королях на кораблях... и о вреде женщин почему-то... Говорил бы и

---

<sup>1</sup> Плащ неузнаваемости. — Здесь, очевидно, по аналогии с «плащом невидимости» (так называлось особое магическое действие в магии друидов). — *Примечание Издателя.*

<sup>2</sup> Знаменитая «тюремная песня» короля Ричада Львиное сердце, написанная им в заточении в замке Дюрнштайн, предположительно в 1192 или 1193 году. Дословный перевод со старо-окситанского языка первых четырех строк второго куплета: «Хорошо знают меня мои вассалы и бароны — / Из Англии, Нормандии, Пуату и Гаскони — / Что у меня не было такого бедного товарища, / Которого я бросил бы ради богатства в тюрьме...».

говорил без умолку, не узнавая тебя. И вовсе не потому, что на тебе плащ неузнаваемости, а потому что ты из прошлого, как и подобает Классику, но, главным образом, еще и потому, что лицо твое сегодня не такое, как было вчера, и этого лица твоего никто никогда не видел. Возможно, Флюидов сообщил бы тебе, что он поэт Божьей милостью, и начал бы декламировать свои напевные стихи, без начала и конца, без знаков препинания, — постепенно входя в раж и отбивая рукой каждый такт:

...И когда на рассвете  
Разольется покой  
Полусонным соцветьем  
Золотою волной

Умиравший гений  
Пробудится во мне  
И неслышную тенью  
Полетит по земле

Я король светлоликий  
Неземных кораблей  
Я вскормлю голубикой  
Голубых голубей...

И последние строки затонули бы в грохотании диксиленда вместе с «королями, кораблями и голубями», и только их «неслышные тени» проплывали бы в зеркалах над кофейными столами. И твои натруженные за день ноги притоптывали бы под столом в такт музыке, а лицо поэта Флюидова от поэтического перевозбуждения наливалось бы кровью, и уши его, пунцовая, разрастались бы до потолка...

«Стало быть, вы король?» — спросил бы ты с надеждой. «Ну, это же поэтический образ!» — принялся бы оправдываться поэт Флюидов, обретая прежний, бледновато-смуглый цвет лица. И, прощаясь, ты бы сказал: «А жаль. Но тогда, может быть, вы один из великих паладинов?» — «Я же говорил вам, что я поэт!..» — «Ну, раз вы поэт, то должны знать, что Королевство грядет! И очень скоро ему понадобятся паладины». Так сказал бы ты... И поэт Флюидов сильно бы подивился и уже вдогонку попросил бы прощения за недостаточно четкую артикуляцию, но ты бы не услышал его извинений, поспешно удаляясь в лиловый вечер Дня Странствий.

И ты продолжал бы сочинять поэму на Вечную Тему, потому что на Вечную Тему можно сочинять вечно:

Твоих глаз сизокрылая легкость  
мне чертила чудесный полет.

А сорвусь — это птичья неловкость, —  
буду падать с небесных высот.

Ты меня подберешь на дороге,  
на промозглом осеннем ветру.

Мы уснем, до костей продрогнув,  
нас разбудят опять поутру.

Ты и Киев — чем еще причащаться,  
замерев на далекой звезде?

Мы, как боги, не будем прощаться  
и пребудем всегда и везде...

Да, наверное, все так и было бы, если бы ты вошел в эту кофейню, но ты не останавливаешься у ее порога, ты проходишь мимо, не замеченный, не признанный. Ты уже далеко отсюда, и ни одной душе в этом мире не ведомо, где ты теперь и куда ведет тебя твоя судьба, Классик...

## **ФЛЮИДЫ ФЛЮИДОВА**

### **I**

А в это время друзья-поэты собираются в «Чайнике», дабы обсудить события последних дней. Тучи сгущаются над Парнасом, и только слепой может этого не замечать. Надо что-то делать. Но что? Настроение препаскудное. Не успели разлить втихаря под столом по второй, как на их понурые головы обрушивается очередная тревожная новость: исчез поэт Лазарь Флюидов!.. Новость сию принес поэт Колоколека, заскочивший в кофейню на минутку. С ним всегда так: прибежит, нагадит и убежит! А вы теперь живите с этим! Ну, не сволочь?

Еле ворочая языком, Гений Вишнуевский пытается объяснить друзьям, что поэты *не исчезают*, они *уходят* — в иные пространства. Столь сильный довод никого не успокаивает. Скорее, наоборот. При этом глаза Гения Вишнуевского, сумеречные от вина и бессонных ночей, заставляют содрогнуться даже такого сибарита и насмешника как Старик Придумкин. А тут еще, как назло, поэт-боксер Гектор Джеб отправляет и без того деморализованное сообщество в некое подобие интеллектуального нокдауна:

— Говоришь, поэты не исчезают? — сначала проверяет он вялую защиту обмякшего от портвейна Гения Вишнуевского; тот медленно поворачивает свою косматую голову вместе с запаздывающим взглядом, и когда, наконец, взгляд его обретает относительную стабильность, поэт-боксер Гектор Джеб наносит неотразимый удар:

— Именно такие поэты, как Флюидов, и исчезают. Они исчезают из литературы без следа, потому что на самом деле их там никогда и не было.

— Речь идет не о литературе, — пытается поставить блок Бормотеев. — Речь идет о жизни и смерти.

— Да брось ты! — Гектор Джеб как бы отскакивает от канатов, которые ограничивают пространство ринга, и снова бросается в атаку: — Флюидов — это фантом! Нет никакого поэта Флюидова, и никогда не было. Вы сами себе его придумали. Как придумали и смертолюба Впетлина, заместителем которого, как я погляжу, становится Бормотеев, и двоеженца Иванова, и даже Классика. Всё играетесь! Ох, смотрите, ребята, доиграетесь. Лично меня эти ваши игры — во как достали!

— Жестоко, — всхрапывает Бормотеев и откидывается на спинку стула, как человек, получивший неожиданный апперкот.

— Зато честно, — летит вдогонку длинный прямой.

Слышатся всхлипы. Это плачет Саша Милый. Никто на его плач не обращает внимания, ибо ситуация вполне стандартная: по Саше Милому можно четко определять, достаточно ли принято на грудь. Если заплакал, то — достаточно. Значит, можно пропустить еще по одной — «на коня», — а то и по две. Но сейчас Саша Милый плачет не от количества выпитого алкоголя, нет! Он плачет от обиды. Он уверен: случилось что-то непоправимое. Уж кому-кому, а ему-то хорошо известно, что представляют собой эти «иные пространства». Не далее как на прошлой неделе

он сам низвергся в одно из них. Какое оно на ощупь, на вкус, на вид, он не помнит, — осталось впечатление сродни наэлектризованной тени, густо легшей на дорогу в беспросветное будущее. Туман, размытые очертания, боль душевная и светлые слезы радости от внезапного прозрения... и снова туман... Потом сильно болела голова и мучила жажда.

А дело было так. В тот вечер полтора десятка самых отвязанных в городе поэтов-отщепенцев и художников-нонконформистов собрались у Лямура Двердомского, чтобы отпраздновать какую-то знаменательную дату — то ли день его рождения, то ли его «седьмую свадьбу», а может быть, и оба события вместе. В самый разгар торжества Саша Мильный, не сходя с места, в чем был, канул в какое-то «иное пространство»; канул скоропостижно, так и не успев нормально поплакать, хотя условия к тому сложились идеальные. На следующий день друзья рассказали ему о том, как вело себя его приземистое коренастое тело, которое, словно одежда утонувшего купальщика на берегу океана, по-прежнему оставалось пребывать в мире вещей, явлений и социальных потрясений. Поскольку оно, тело, пока еще могло кое-как передвигать ногами, было решено отправить его домой, на улицу Жилянскую имени Жадановского, к жене. На сей раз, согласно жребию, на котором настоял Лямур Двердомский, миссия эта выпала Лазарю Флюидову и Гектору Джебу. Даже не подозревая, что сопровождают всего-навсего брэнное проспиртованное тело Саши Милого, вольная душа которого в это самое время витала где-то в «иных пространствах», друзья-поэты вели его, аккуратно поддерживая под руки, сначала в тревожном свете ночных фонарей мимо Владимирского собора, потом, — благополучно переправив через сияющий неонм широкий Бибиковский бульвар имени Тараса Шевченко, — сквозь темную чащу Старого Ботанического сада. «Дальше я сам!» Это прозвучало, на удивление, внятно и убедительно. Вздохнув с облегчением, Лазарь Флюидов и Гектор Джеб позволили себе немного расслабиться и удалились в кусты по нужде, предоставив, таким образом, тело Саши Милого на несколько минут самому себе. Учув свободу, тело хмельного поэта тут же понеслось зигзагами по убегающей во тьму садовой аллее. По пути оно цеплялось за сетчатые ограды, за которыми мирно дремали эвкалипты, секвойи, баобабы и душистые тамариски (после портвейна «Таврического» в сочетании с водкой «Экстра» и галлюциногенным «Солн-

цедаром» за этой оградой могло произрастать уже все что угодно), нежно приносивалось к влажной листве, к ночным испарениям их таинственных фитонцидов, и разговаривало на каком-то неведомом языке с молодым месяцем, холодно горевшим в вышине. Разговор с месяцем, видимо, сложился непросто, вследствие чего тело Саши Милого потеряло равновесие и шлепнулось плашмя на асфальтовую аллею. Друзья, подобные двум ангелам-хранителям, были тут как тут! На ходу застегивая ширинки и выкрикивая неприличные слова, они подхватили тело Саши Милого под мышки, поставили на гуттаперчевые ноги, удостоверились, что ничего не сломано, и, уже не выпуская из рук, повели его дальше. Но не успела троица сделать и пяти шагов, как вдруг на еще не остывшее место падения с громовым треском всей своей древесной тяжестью рухнула огромная ветвь реликтового бенгальского баньяна. А может, и не бенгальского баньяна, а какой-нибудь липы медоносной... Важно другое. Смерть шла за поэтом Сашей Милым по пятам! А может, и не Смерть, а только Увечье... Как бы там ни было, но друзья вмиг покрылись холодной испариной и, дабы не испытывать судьбу дважды, быстро поволокли чудом уцелевшее тело подальше от разверзшейся перед ним вечности. А через полчаса в городе случилось землетрясение, но к тому времени, слава богу, тело Саши Милого уже пребывало в полной безопасности — в родном доме на улице Жилианской имени Жадановского под опекой жены. Зато немногочисленные эксклюзивные, то есть просеянные через сито эстетического отбора, гости Лямура Двердомского вышесказанное землетрясение восприняли как подарок Плутона, грозного повелителя недр, хозяину дома. Ну, как это иногда бывает в ресторанах «Столичный» или «Кукушка», например, с ящиком «Советского» шампанского: «От нашего стола — вашему!» Короче, землетрясение придало вечеру и новый смысл, и новую силу, так что почти потухший к этому часу костер праздника разгорелся пуще прежнего, озарив божественным пламенем свою ночь отщепенцев и нонконформистов. Последние искры его погасли только с появлением колесницы Гелиоса на безоблачном небосводе, первых троллейбусов и одиноких дворников с метлами на пустынных утрених улицах...

И вот сейчас Саша Милый, обливаясь слезами, сидит между Гектором Джебом и Гением Вишнуевским. Крепко обняв их за плечи, он взрывает как раненый и рано облысевший лев:

- Друзья мои... любите друг друга!
- Что за хрень! — не выдерживает мелодраматического накала Гектор Джеб; он вырывается из цепких объятий Саши Милого и выскакивает из кафе на улицу покурить.
- Шура! — пытается успокоить Сашу Милого Гений Вишнуевский. — Шура! Послушай меня! Мы все любим друг друга!
- Неправда! — рычит Саша Милый.
- Правда! — и Гений Вишнуевский звонко целует его в лысину. — Правда! Но — художественная!
- Нет!
- Да, Шура! Да!.. Ты и сам знаешь! Истинных поэтов... таких, как мы с тобой... можно любить только после смерти! Потому что мы...
- Идиоты!.. — доносится с улицы голос Гектора Джеба.
- Любовь любовью, а Лазаря не вернешь, — тихо, но настойчиво гнусавит в салфетку Бормотеев.

Настроения в заметно поредевших рядах сообщества поэтов преобладали упаднические, чтобы не сказать — панические. Они, конечно, возникли не на пустом месте: прошло еще три дня, и уж четвертый клонился к закату, а поэт Лазарь Флюидов так ни разу в «Чайнике» и не появился. На звонки — ни в дверь, ни по телефону — не отвечал, в больницах, в моргах и в розыске не числился. Сомнений не оставалось: происходит что-то очень и очень скверное. «Подумать только! — подливал масла в огонь Старик Придумкин. — Гении без всякой видимой причины исчезают с поверхности города один за другим, а город, это вместилище беспечности и легкомыслия, — увы, каковым он и был всегда! — продолжает жить себе — не тужить, как будто исчезновение гениев — дело для него обычное и даже рутинное. Нет-нет, друзья мои, в мире явно назревает какой-то кризис. Да что там — кризис? Катаклизм! Удельный вес и гравитационное поле гения столь велики, что его внезапное и ничем не обусловленное исчезновение с лица земли просто не может не повлечь за собой катастрофических последствий. Народы содрогнутся!.. Кстати, круг сужается, друзья мои. Чувствуете?..» Пророческие речи Старика Придумкина глубоко запали в сердца поэтов и художников. Первым из эсхатологического ступора вышел Лямур Двердомский. «Не бздеть!» — заявил он и, решив ни в коем случае не допустить своего собственного неконтрольного исчезно-



вения, что было бы «непростительным нефикусом», в тот же вечер вместе с некой таинственной барышней по имени Лялёк укатил последней электричкой на дачу в Хитропоповку. Этот «ход конем» только усугубил воцарившийся в «Чайнике» всеобщий декаданс. Один Гектор Джеб напрочь отметал всякую метафизику, резонно полагая, что «пурга с пропаданиями», как он выразился, связана исключительно с бурной деятельностью одиозного Дрюли Мануильского и его «литературных террористов». То-то с недавних пор вся эта банда почти каждый вечер околачивается в «Чайнике», где, очевидно, и плетет свои идиотские заговоры против так называемой «издательской мафии». Гектор утвердился бы в своем предположении куда больше, если бы узнал, что молодой прозаик Кошляк, который сначала дал в глаз литконсультанту Швыряеву, а потом и сам получил по морде от каких-то смурных типов, да еще и в собственной квартире, утром того же дня обнаружил в своем почтовом ящике письмо от главного литтеррориста следующего содержания:

*«Приветствую тебя, брат по духу и цеху!*

*Дело таково, что неделки через две мы заканчиваем перепечатку сборника прозы для одного небезызвестного тебе вонючего издательства. Но в нем, в сборнике, зияет пара дыр... Одну из них хотелось бы мне заткнуть главою из твоего опуса («Книга Книг», кажется?), лучше — первой. Надеюсь, выражение «заткнуть дыру» тебя не обломит. Буду признателен за пересылку первой главы. И поскорее!.. Можно передать и через Коханова.*

*No pasaran! Мануильский».*

Но Гектор Джеб ничего об этом письме не знал, а Кошляк, когда прочитал его, так испугался, что тотчас сжег его, запер квартиру вместе с самоваром и горой сапог непонятного происхождения и сбежал из города в неизвестном направлении. Пропажа молодого прозаика друзьями осталась незамеченной, как бы обидно для него это не звучало. Но и без Кошляка Гектор чувствовал, откуда ветер дует. Чтоб им пусто было, этим литтеррористам! Раздражение его можно было понять: уже несколько раз он замечал за собой слежку, и наверняка, то были шпионы Ареста Арестыча из Серого Терема. Он также ни минуты не сомневался, что в «Чайнике» завелся сексот, и со свойственной ему прямоотой публично огласил имя главного подозреваемого... Кто?!.. Седо-

власов?! Великий и маститый Седовласов «стучит» в Серый Терем? Да ты с ума сошел! Быть такого не может! Нет, нет! — махали руками ошеломленные поэты, но Гектор настаивал на своем до тех пор, пока их не накрыло, как следует — с головой. И теперь напрашивался один вполне закономерный вопрос: кто следующий? И вопрос этот наводил ужас намного больший, чем величественное, но все же достаточно отстраненное в своей абстрактности и лишенное личностных переживаний «содрогание народов».

Тогда же Гений Вишнуевский вспомнил, как дней десять назад Лазарь Флюидов покинул «Чайник» в состоянии крайней ярости. Был он в тот вечер сам не свой: обижался на всех по любому поводу, много сквернословил, чего раньше за ним никогда не наблюдалось, при этом, подразумеваемые в речи восклицательные знаки заменяя ударами стаканом по столу, и пил сверх всякой меры, словно вином хотел залить бушевавший в нем пожар, пока, в конце концов, совсем не слетел с катушек. И действительно: друзьям сразу вспомнился легендарный диспут Лазаря Флюидова со Стариком Придумкиным на тему «Женщины и их жертвы», быстро превратившийся в настоящую гигантомахию, которой позавидовали бы и Тартар с Олимпом. Старик Придумкин, как и всегда, в тот вечер был блистательно ироничен, экстравагантно циничен и, одновременно, изысканно изящен в словах и выражениях — так, словно танцевал менуэт над свежесрытой могилой или, что ничем не лучше, производил безжалостно-кровавые опыты над крысами во имя торжества науки в своем Институте онкологии, — во всяком случае, так это виделось поэту Лазарю Флюидову, которого подобная манера изъясняться совершенно выводила из себя. Хорошо, что в диспуте не участвовал поэт-переводчик Игнатий Иванов, исчезнувший еще раньше, но уже после Классика с Перетятко и вскоре после корректора Впетлина, иначе интеллектуальная битва гигантов имела бы все шансы перерасти, а точнее, деградировать в заурядную драку пьяных апокалиптических карликов. Конечно, Старик Придумкин несколько погорячился, обвинив Лазаря Флюидова в том, что будто бы тот возомнил себя чуть ли не доктором Фаустом из народных сказаний и теперь в каждой женщине готов был заподозрить специально подосланную к нему блудницу Гифиальту, которая на самом деле была суккубой Эфиальтой, демоном-душителем.

Далее Старик Придумкин припомнил, что перед тем как взорваться и уйти на все четыре стороны, Лазарь в тысячный раз заклеил вековую «женскую лживость», чем, на популистский манер, сузил саму суть понятия «лживость», низведя его с философского уровня до примитивной проблемы гендерных различий, ибо, по его мнению, ни в одном европейском языке не существует понятия «мужская лживость». В пылу азарта он также заявил, что если самого Флюидова с кем-либо из известных персонажей и сравнивать, то уж никак не с доктором Фаустом, а скорее, с Дон Кихотом — серийным романтиком из Ламанчи. И дело не в пресловутых мельницах и прочих иллюзиях, о которых, конечно, присутствующие сразу подумали в силу своего лишнего оригинальности мышления, а в том, что его, как и всякого истинного рыцаря и поэта, норовят заманить в клетку и в ней доставить обратно домой, в унылую жизнь среднестатистического мещанина, тем самым отрешив от мира и свободы. Именно на женщинах держится политико-экономическая формация, в которой мы вынуждены сегодня жить, ибо женщины готовы полюбить что угодно и кого угодно, лишь бы гарантировать своему существованию стабильность. Это был неожиданный поворот. «А потом выясняется, — с угрюмым видом заключил Флюидов, — что все наши так называемые принцессы Микомиконы на самом деле никакие не принцессы. Обыкновенные плебейские девки! Да и какие, черт подери, могут быть принцессы? Откуда им взяться? Это мы, мы сами их и придумываем, а они нам за это мстят. Они губят нас, даже во вред самим себе! Так уж они устроены». Затем Старик Придумкин и Лазарь Флюидов поочередно обозвали друг друга «дураками», после чего Флюидов, чувствуя, что не сумел доказать свою правоту этому «пошлому лабораторному крысорезу», демонстративно покинул «Чайник», забыв расплатиться за пять чашек кофе, не говоря уж о портвейне. Во всяком случае, так утверждал Старик Придумкин. Впрочем, едва ли было бы разумным полностью полагаться на память Старика Придумкина, поскольку, как известно, память его функционировала по законам магического реализма, и поэтому не удивительно, что впоследствии он рассказывал эту историю каждый раз по-новому. Например, вот так: «Вдруг наш Лазарь вскакивает из-за стола, весь съезженный какой-то, пунцовый, будто его ошпарили свекольным, и давай руками размахивать. И как-то так неуклюже ими размахивает, словно они к

его тельцу тощему приклеены. Я сразу о стихках его вспомнил: такие же тощие, и большинство рифм в них тоже приклеены, как эти руки, на каждой из которых, будто по шесть пальцев было вместо пяти. Такое вот впечатление, господа... А потом наш Лазарь как возопит кукольным голоском: “О, как же я был наивен, как непосредственен я был! — и хватает себя за свое узенькое чело. — Я как тот Арлекин, и как Арлекина меня вечно обманывали неверные Коломбины и лукавые Смеральдины!” Прокричал и ушел. На веки вечные, как говорится. Можете спросить у Бормотеева. Он подтвердит».

В другой раз Старик Придумкин излагал сию легенду уже в гофманианском духе: «Помню-помню, друзья мои, как же не помнить! Шел проливной дождь, полыхали молнии, и разъяренные силфы стучались в окна забытого Богом где-то на краю центра города кафе «Чайник», и заглядывали в них, высматривая себе жертву, так что стол в теплом углу и стакан горячего глинтвейна показался бы истинным спасением! Так вот, братья мои по перу и винной чаше, именно в тот ненастный вечер наш бедный Лазарь набрался по самое горлышко. И выпил он так много, что стал круглым, как шмель. А потом крылышками взмахнул, и лапками своими прямо на стол — прыг! Мы и ахнуть не успели, как он зажужжал на весь “Чайник”: “З-з-з-загляните в Ад, и вы увидите, что большинство его обитателей — ж-ж-женщины!” Жужжание сие вызвало такую бурю оваций, что салфетки на столах заколыхались, как лилии на болоте, а юного Кошляка сдуло со стула. Не успели мы опомниться, как шмелеподобный Лазарь, икая и чертыхаясь, но при этом, не переставая жужжать, выпорхнул из кафе. И где он теперь? — спросите вы. Да кто ж его знает? Может, в Аду счеты с женщинами сводит... А может, силфы его умыкнули...»

Но все эти предания дней минувших появятся потом, а сейчас Старик Придумкин грустно улыбается и говорит:

— Кто знает? Я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что на самом деле наш женофоб-правдоруб втайне мечтает о своем собственном Оленьем парке или о Хемптон-Корте, где дни и ночи напролет он мог бы нежиться в объятиях дивных красавиц... А? Что скажете, господа? Иначе к чему бы это ему так убиваться?

— А может, он просто заболел? — с надеждой в голосе предполагает литератор Бормотеев и, как бы между прочим, спрашивает: — Выпить хотите?

— Заболел и умер? — пробует уточнить Старик Придумкин, искоса поглядывая на пустой стул, на том самом месте, где обычно в позе вестника смерти, хранящего скорбное молчание, восседал корректор Впетлин, который исчез незадолго до Иванова. Старик Придумкин представил себе иссеченное шрамами лицо его и даже услышал, как тот укоризненно сморкается в свой нескончаемый носовой платок.

— Почему бы Флюидову не заболеть? — продолжает литератор Бормотеев. — Говорят, в городе грипп свирепствует.

— Испанский?

— Гонконгский. Говорят, эпидемия. Выпить хотите?

Старик Придумкин качает головой:

— Ты когда-нибудь слышал, чтобы поэты болели гриппом? Сифилис, подагра, дистрофия или утонченно-возвышенный туберкулез!.. Вот это я понимаю!

Дабы не показаться голословным, Старик Придумкин прямо сейчас мог бы призвать в консультанты поэта-авангардиста Перетятко, литературное наследие которого представляло собой своеобразную хорошо рифмованную медицинскую энциклопедию, если бы не одно странное обстоятельство: Перетятко тоже исчез — вскоре после Классика, но еще задолго до Иванова и того же корректора Впетлина. Кстати, корректор Впетлин, если бы не исчез, конечно, и прямо сейчас появился в «Чайнике», непременно возразил бы этому самонадеянному Старичку Придумкину и сообщил бы ему прямо в его наглые глаза, что именно от испанского гриппа, а не от дистрофии или туберкулеза, скончались в 1918 году поэт Гийом Аполлинер, поэт и драматург Эдмон Ростан и писатель Генри Адамс, а еще раньше, в 1914 — автор «Фантомаса» Пьер Сувестр. И это далеко не полный список...

Но вместо корректора Впетлина в эту самую минуту в «Чайник» врывается Летучий Шмерник, бродячий философ и бард, весь измазанный нечистотами. На шее у него болтается фанерная табличка с амбициозной надписью: «Богоборец. Работаю без выходных», а за спиной — гитара без струн. На гитаре тоже надпись, коряво вырезанная, очевидно, гвоздем: «Оружие возмездия». От Летучего Шмерника дурно пахнет, и глаза его смотрят одновременно в разные стороны.

— Эй вы, придурки! — кричит он не то поэтам, которые усиленно делают вид, что не видят его, не то испуганным случайным посетителям. — У Седовласова сбежала собака! Скоро вас всех арестуют!

Довольный произведенным эффектом, он перемещает гитару на бок и расхлябанной походкой направляется к свободному столу в центре зала, а усевшись, начинает что-то записывать тупым карандашом на салфетках, раздирая их в клочья. «Рядом со мной, — диктует он вслух сам себе, — Перетягучко пахнет как молочный младенец». Следующая сентенция звучит так: «Бродячий философ не должен мыть ноги, иначе пройденные дороги исчезнут навсегда», и потом к ней добавляется: «А непройденные — ему не поверят». Официантки, прикрывая платочком нос, обходят не в меру пахучего философа стороной, да и посетители со слезящимися глазами и потекшими носами беспорядочно устремляются к выходу. Так проходит минут пять. Первой не выдерживает официантка Ася: «Молодой человек, вы не могли бы...» — «Я тебе в отцы гожусь, так что стой, где стоишь!» — жестко пресекает ее поползновения Летучий Шмерник. «Вы не могли бы покинуть помещение?» — не сдается официантка Ася. — «Еще чего! Я пришел написать поэму!» — следует исчерпывающий ответ. «От вас дурно пахнет!..» — «Ах, какие мы чувствительные! А как, по-твоему, должно пахнуть от поэта? Розами и зефиром?» — «Покиньте помещение!» — «А кто за меня поэму напишет? Ты что ли, ссыкуха? Ха-ха-ха!» — «Я вот сейчас милицию вызову!» — «Не надо милицию, я заканчиваю». — «У вас одна минута», — и Ася демонстративно удаляется «за кулисы». «Коза драная!» — бросает ей вдогонку Летучий Шмерник. Исписав, а точнее изодрав оставшиеся салфетки, но таки вложившись в отведенную ему минуту, он поспешно распахивает их по карманам своей загаженной куртки. Затем встает и, с победоносным видом попукивая, выходит из кафе. На спине у него тоже висит табличка, гласящая: «Сам ты в дерьме!» Через открытую дверь с улицы доносятся грозный баритон Гектора Джеба: «Пошел вон, вонючка!» Комментарии, как говорится, излишни, но Старик Придумкин, разумеется, не в силах удержаться от комментария:

— Вот оно — столкновение двух перпендикулярных миров...

— Постойте! — с непонятной радостью в голосе восклицает Гений Вишнуевский. — А ремонт?

— Какой к черту ремонт? Ты о чем?

— Так ведь у Флюидова дома ремонт! Уже два месяца как... Да вы что, забыли? Он же из-за этого ремонта никого к себе в гости не приглашает. Даже на кухню!

Глаза друзей мгновенно теплеют, все молча ждут продолжения...

## II

Миф о ремонте, который поэт Лазарь Флюидов якобы затеял в своей квартире, был прост по содержанию и, как всякий настоящий миф, представлял собой совершенную и абсолютно замкнутую на себе структуру, краткую по форме и многозначную по смыслу. И, конечно же, он был глубоко символичен, а суть символа, как известно, заключается в том, что именем одного предмета и явления называются совсем другие предметы и явления, дабы вскрыть или, наоборот, скрыть в этих других предметах и явлениях больший объем и неисчерпаемость смыслов. А также их причудливую игру.

Но если придерживаться исторической правды, то надо признать, что при создании «мифа о ремонте» Флюидов руководствовался отнюдь не культурологическими мотивами.

Знаменитая кухня в квартире поэта Флюидова славилась своей изысканной пустотой: как в смысле еды — баночка консервированной печени трески в масле и пара помидоров, к примеру, — так и в смысле кухонной утвари: газовая плита на две конфорки, настенный шкафчик с посудой и шаткий столик у окна — почему-то треугольной формы. Но месяца два назад ситуация изменилась коренным образом. Было туманное утро. Лазарь проснулся, сделал десять приседаний и собирался уже лечь досыпать, но внезапное острое чувство голода погнало его в кухню, дабы на скорую руку приготовить давно ненавистную яичницу с томатной пастой, а пасту эту третьего дня подарил ему художник Корбюзьевич, который, как утверждали злые языки, иногда подмешивал ее в масляные краски — особенно, в кадмий красный светлый или в красную английскую. Войдя в кухню, поэт Флюидов остолбенел: на полу, покрытом линолеумом, подпирая потолок, громоздился, черт его знает откуда взявшийся, монумент из самого настоящего красного гранита, отполированного чуть ли не до зеркального блеска. В монументе легко угадывались антропоморфные признаки. «Ё-моё!» — вырвалось у Лазаря Флюидова. Справедливости ради надо заметить, что сей «каменный гость» не имел и не мог иметь никакого отношения к известному сюжету о Дон Хуане: во-первых, поэт Лазарь Флюидов никогда не обольщал ни вдов, ни, тем более, чужих жен, а во-вторых, в округлостях статуи, изваянной в некоем неопределенно-модернистском стиле, тем не менее, явно просматрива-

лись признаки скорее не мужского, а женского пола. Обнаружив такое непотребство в своей квартире, Лазарь сначала осторожно предположил, что утро, вместе с приседаниями и изваянием, ему приснилось. Но он и сам понимал, что подобное предположение — не более чем слабая и трусливая попытка убежать от реальной действительности. И тогда поэт по-звериному дико зарычал, после чего стал совершать одну глупость за другой: сначала выскочил в парадный подъезд, но отнюдь не в парадном виде, и, то ли от страха, то ли по привычке, захлопнул за собой дверь, забыв ключи в брюках, а брюки — в передней, а передняя осталась за той самой дверью, которую он сам же и захлопнул, и которую пришлось теперь сокрушать правой ногой дворника Ипритыча, поднятого по тревоге со своего похмельного ложа.

Благо, Ипритыч жил в соседней с Лазарем квартире, что, кстати, подтверждалось никогда не выветривающимся специфическим запахом на лестничной площадке. В своем роде дворник Ипритыч был эстетом, и даже чуточку снобом, ибо «Тройной одеколон» считал напитком богов в сравнении, например, с коктейлем из настойки боярышника и газированной крем-сода, после принятия которого сердце выпрыгивает через горло, или в сравнении с так называемым «ленивым ликером», а попросту — зубным эликсиром, после которого ветер гуляет туда-сюда по всему организму, или с тем же муравьиным спиртом, после которого в утробе полыхает неугасимый пожар и хочется глотать холодные камни. Зато паршивое рабоче-крестьянское «Жигулевское» пиво, оказавшись в желудке Ипритыча, когда предоставлялась возможность сладко «полирнуться», по утверждению самого дворника, тотчас превращалось в эльфийский вересковый эль. Однако, как всякий истинный эстет, Ипритыч знал меру, и поэтому в его алкореальности не было места огуречному лосьону («бабский напиток!»), антифризу («бессмысленное самосожжение, да еще и с отрыжкой!») и, особенно, ваксе, толстым слоем намазываемой на черный хлеб людьми без чести и совести. Тем не менее, выхлоп от его утреннего перегара представлял собой серьезную угрозу для психического равновесия всякого, кто осмеливался подойти к нему на расстояние вытянутой руки. «Ты зачем на свете живешь, мужик?» — бывало, спрашивал его Гений Вишнуевский, любивший задавать этот вопрос, когда напивался до лирико-эпического состояния (хотя на самом деле этот вопрос должен был задавать не он, а корректор Впетлин, который почему-то никогда этого не делал). «За такой



вопрос можно и по морде схлопотать», — нарочито зевая, отвечал дворник Ипритыч. «Молодец, мужик! — по-барски радовался Гений Вишнуевский тому, что прикоснулся к исконной народной ментальности, и добавлял: — Идем, выпьем! Я угощаю». — «А чего ж не выпить с хорошим человеком, коли он не шутит!» — с равнодушным видом отвечал Ипритыч, стараясь не выказать своего восторга по поводу предстоящего возлияния на халяву. Каждый раз, когда он уходил в запой, двор с утра подметался сначала метлой, затем «самим дворником», а к вечеру оба — и метла, и дворник — оказывались в одной общей куче. В такие дни у Ипритыча случались жестокие приступы идиосинкразии по отношению к согласным звукам, и тогда он изъяснялся исключительно гласными, видимо, в глубине души догадываясь, что такова речь ангельская — и она подобна музыке. Вслушиваясь в это «абсолютное полногласие» дворника Ипритыча, поэт Лазарь Флюидов сделал удивительное открытие: в действительности в согласных звуках — переизбыток телесного, земного; они корчатся, шипят, скрипят на зубах, неприятно щекочут губы, хоть мы и привыкли с молочного возраста к столь ужасающему дискомфорту и, как следствие, просто не замечаем его. Счастливый человек этот Ипритыч: что-то себе завывает, а все его понимают, будто ангела!

Итак, в это туманное утро дворник Ипритыч, к которому поэт Лазарь Флюидов обратился за помощью, был, на удивление, в неплохой форме и первое, что он сделал — надел на свою свою правую ногу тяжелый кирзовый ботинок на кованой подошве, справленный из старого армейского сапога. При других обстоятельствах сермяжный ботинок этот, вероятно, навел бы обладающего недюжинной фантазией поэта на мысль о лесоповалах и пересылках с тифозными бараками, колючей проволокой и цингой, о которых он часто слышал от главаря литературных террористов Дрюли Мануильского, но сейчас ему было не до политики, не до трагических судеб Родины. Лазарь сполна оценил смекалку и физическую мощь дворника Ипритыча, ибо изящные ноги поэта, привыкшие ступать по земле, словно по зыбким облакам, в эту роковую минуту в качестве тарана едва лигодились. Да и комнатные тапочки на них вызывали еще большие сомнения... Когда дверь распахнулась, с первого же удара сокрушенная кирзовым ботинком дворника, поэт проворно юркнул в квартиру и тут же снова появился на пороге с полным стаканом водки. И скорость эта и внезапность, а главное, сам вид

водки столь глубоко впечатлили Ипритыча и привели его в такое восхищение, что он не заметил, как осушил стакан. И ушел он, гораздо более похожий на поэта, нежели сам Флюидов.

Страшась войти в кухню, Лазарь подхватил в передней брюки и, запершись в комнате, оделся. Что делать?.. Заявить в милицию?.. Жаловаться в ЖЭК?.. Посоветоваться с друзьями?.. Нет! Все это никуда не годится! Но что-то же надо сделать!..

Немного успокоившись, Лазарь решил для начала просто уйти из дому до вечера: а вдруг каменная баба исчезнет сама по себе, как и появилась?

В «Чайнике» он никому ничего рассказывать не стал, вообще был угрюм и много пил, а вернувшись домой около полуночи, набрался мужества и первым делом зашел в кухню. Проклятый истукан торчал на прежнем месте, подпирая потолок, и, похоже, никуда не собирался исчезать. Хуже того, за день он подрос и прибавил в теле!.. Тогда поэт Флюидов схватил молоток — второй или третий раз в жизни (в первый раз, еще в детстве, он расплющил этим же молотком себе большой палец на левой руке) — и принялся что мочи лупить им по истукану, в надежде «разнести эту хренову каменюку нахрен вдребезги!», чтобы затем под прикрытием ночи за несколько ходок вынести в ведрах по кускам на мусорник. Но не тут-то было! Как ни старался он, сколько ни обливался потом, — усилия его оказались тщетными: ни единой царапины, ни единой щербинки не осталось на гладкой поверхности камня «Ах ты ж сволочь такая!» Он отбросил молоток, и в ту же минуту по водопроводным трубам наперебой застучали молотками (а может, и разводными ключами) возмущенные соседи. Черти! Жлобы!.. До крайности воспаленная фантазия поэта тотчас дала о себе знать, прямо-таки с кинематографической точностью живописав Лазарю некий безымянный дремучий лес где-то на самом краю света и во мраке его — мерзейших злобных карликов-фирболгов, полных ненависти ко всему утонченному и возвышенному, которые, хохоча и подзадоривая друг друга, колотят своими увесистыми дубинами по стволам высохших деревьев... В раму окна медленно вкатилась кровавая луна, да так и застыла на месте. И эта сочащаяся кровью луна, и мерзко хохочущие карлики, и безмолвствующий гранитный истукан в травмированном воображении поэта Лазаря Флюидова сдвинулись в единое жуткое целое. Видимо, в бессознательном стремлении хоть как-то снизить, умалить чрезмерный драматизм пригрезившейся картины и, тем самым, не дать страху овладеть собой,

он принялся метать в истукана яйца, которыми так и не успел сегодня позавтракать. «Боже, что я делаю!» — кричал внутри себя Флюидов, продолжая молча метать яйца. Бледно-могильного цвета яичные желтки, лоснящиеся в мертвенном, бездушном свете электрической лампочки, неспешно стекали по женственным округлостям истукана на пол. Любой презренный обыватель, явись его неискушенному взору столь безобразное зрелище, принял бы поэта Флюидова за сумасшедшего или потерявшего человеческий облик зажавшегося «мажора». И конечно, презренному обывателю можно простить упрощенное понимание жизни, ибо в массе своей он никогда не читал Бахтина и, следовательно, не способен был увидеть все происходящее с точки зрения раблезианской «карнавальности» и соответствующим образом это оценить. Такое было по плечу разве что Старику Придумкину, обладавшему чудесным даром соединять в себе оголтелый идеализм, строгую науку и бесстрашное постмодернистское оплевывание святынь, умудряясь избегать при этом конфликтов со своей совестью, — Старику Придумкину, которого Лазарь за это ненавидел и, одновременно, любил, а оттого, что любил, ненавидел еще больше. Флюидов и сам когда-то «заглядывал в Бахтина», но писания его считал мертвыми по отношению к современной жизни, а элитарность признавал исключительно за поэзией, и то не всякой, разделяя человечество на «тонких», или поэтов, то есть абсолютное меньшинство, и «толстых» — непоэтов, то есть абсолютное большинство, и, разумеется, принадлежность к той или иной категории никак не обуславливалась физиологическими признаками. Так вот, бахтинская книга о Рабле и раблезианстве, считал Лазарь Флюидов, была написана, скорее, для «толстых», а элитарность ее заключалась в том, что именно «толстые» и не способны были ее воспринять, в то время как для «тонких», являвших собой истинную элиту, книга эта не представляла большой ценности, поскольку выражала чуждый им дух и совершенно противоположное мироощущение. Истинная поэзия — это волшебство, магия, могучее волеизъявление и деяние свободного духа, а не карнавал зашуганных рабов, раз или два в год на несколько часов вырвавшихся из своих клетей, черт побери! Так что Флюидов мог почесать языком на эту тему похлеще Старика Придумкина, но сейчас, сам оказавшись в роли участника какого-то непостижимого карнавала, он был настолько далек от каких бы то ни было философских аналогий, что ему бы и в голову не пришло метать яйца в каменного истукана, руководствуясь

исключительно концептуальными или культурологическими соображениями. Он метал их по наитию. Чутье, страх, возбуждение и инстинкт самосохранения — всё это вместе понуждало его ответить насилием на насилие.

Израсходовав за пять минут недельный запас яиц, поэт Лазарь Флюидов выбежал из кухни в коридор, плотно закрыл дверь, подперев ее шваброй, что, учитывая мощь каменного изваяния, было поступком абсолютно инфантильным, и прямо в одежде рухнул на постель. Всю ночь на кухне не прекращалась какая-то возня, так что он долго не мог уснуть, ворочаясь с боку на бок. Не давала покоя подлая мыслишка: а что если это просто розыгрыш? Может быть, кто-нибудь из друзей жестоко подшутил над ним — от этих красавцев можно ожидать чего угодно! Но кто?.. Перед внутренним взором Флюидова потянулась длинная вереница поэтов: Старик Придумкин, Гений Вишнуевский, Саша Милый, Впетлин и многие другие, менее великие... Они хитро подмигивали ему, показывали языки и всякие непристойные знаки, но кажется, на нечто большее были не способны. Нет-нет, у его друзей кишка тонка, чтобы провернуть такую технически сложную операцию... Это совершенно невозможно! Но именно это и ужаснее всего, думал он. Уж лучше идиотский розыгрыш, чем вот это самое — невозможное, необъяснимое, непоправимое, запредельное и, не дай Боже, на веки вечное!

Уже под утро вконец измученный Лазарь уснул. Но это не принесло облегчения. Ему приснился гнуснейший сон: будто бы каменное изваяние, шаркая комнатными тапочками, вошло к нему в комнату, присело на край его постели и долго с любовью заглядывало ему в глаза. Лазарь тотчас узнал в нем Надежду Крупскую и хотел ей сказать об этом, но никак не мог выдать из себя ни слова — а только мычал как паралитик. Товарищ Крупская погладила его по руке, давая понять, чтобы он лежал смирно, ибо ему строго-настрого противопоказано волноваться. Затем раскрыла у него перед носом старенький школьный букварь с картинками и стала показывать пальцем то на зайчика, то на белочку, то на елочку. «Зай-чи-к... Бе-лоч-ка... — беззвучно двигались ее губы, — Ну-ка, Володенька, повтори!» И он послушно повторял за ней: «Зай-си-к... Бе-лось-ка...»

Проснулся Лазарь от собственного крика: «Оппортунист! Уклонист!» Он долго лежал на спине, липкий от пота, с выпученными глазами, страшась закрыть их, и никак не мог понять, что это такое он кричал: звал ли кого, или что-то иное?..

Совершенно разбитый, с опухшим лицом, он вышел в кухню. Измазанный засохшими яйцами монумент стоял на прежнем месте. Внизу, на постаменте, была выбита какая-то надпись. Флюидов нагнулся и прочитал: «Надежда Крупская».

— Господи! — тихо простонал он.

Так у поэта Лазаря Флюидова началась новая жизнь, которая, если можно было бы так выразиться, состояла из хорошо забытых старых. Но — чужих. А вскоре родился и «миф о ремонте», потом долго не дававший покоя завсегдатаям «Чайника». Рождению мифа косвенно способствовали городская и республиканская пресса, которая и сама непосредственно занималась мифотворчеством. Старых мифотворящих газет в кухне за год скопилось великое множество, что и натолкнуло Флюидова на мысль обклеить ими распроклятую каменюку. Похоже, более или менее трезвая рассудительность возвращалась к поэту, а идея, так сказать, «актуализировать» запредельного истукана, то есть привести его хоть в мало-мальски удобоваримое соответствие с действительностью, была именно трезвой и, главное, в своем воплощении не требовала больших затрат.

Лазарь бодро взялся за дело: сварил в кастрюле, до сегодняшнего дня не подозревавшей о существовании чего-либо кроме борщей, супов и рассольников, десять литров тягучего крахмального клея и, не теряя понапрасну времени, принялся обклеивать старыми газетами непрощенного каменного гостя. Покончив с «актуализацией» и оценив плоды своего труда, он пришел к выводу, что надо бы заодно обклеить и стены в кухне.

Прошло пару дней, и поэт Лазарь Флюидов начал малопомалу привыкать к новой обстановке. Правда, он перестал приглашать друзей к себе домой, ссылаясь на мифический ремонт, и специально для них придумал историю об изнурительных поисках моющих обоим: они, как известно, представляли собой большой дефицит, и значит, можно было, не вызывая подозрений, потянуть время. А если бы такие обоим вдруг и появились бы в продаже, то Флюидов мог бы сказать, что у него, как назло, закончились деньги. Но на третий день обстановка изменилась к худшему: истуканы стали прибывать один за другим с нарастающей скоростью. Сначала они загромождали кухню, так что Флюидову едва удавалось между ними протискиваться к газовой плите, чтобы сварить очередную порцию клея, а потом — и значительную часть комнаты. Это были так называемые «круглые

скульптуры» — *ronde bosse*, — и обклеивать их приходилось со всех сторон. А газет уже не хватало. По ночам он спал, словно в каменном лесу, или в центре Стоунхенджа, или посреди острова Пасхи. И пока он спал, истуканы что-то без конца нашептывали ему в уши, домогались чего-то. Одни требовали сочинять для них куртуазные романы в духе Генриха фон Фельдеке или поэмы в манере Кретьена де Труа, отнюдь не считаясь с тем, что времена Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце давно канули в прошлое. «Не канули, не канули!» — шептали они упрямо. Другие просто смотрели с укоризной и ни о чем не просили, и оттого на душе становилось еще гнусней.

Итак, истуканы прибывали, а газеты иссякали. И ох, как же крепко пожалел Флюидов, что обклеил Крупскую двойным слоем, из-за чего Елену Рерих, например, не удалось прикрыть полностью прошлогодними «Известиями» и «Трудом», и щиколотки ее ног остались на виду. Эти ноги, некогда так смело шагавшие навстречу лучистым снегам Шамбалы, пришлось укрывать старыми, побитыми молью, свитерами. И что интересно, Лазарь Флюидов больше не испытывал того прежнего ужаса. Скорее ему было стыдно за дырявые свитера: что о нем подумал бы Николай Рерих как муж, или Валентин Сидоров как апологет? Мнение Сидорова как поэта его нисколько не интересовало.

Истуканы продолжали прибывать. Они тяжело толпились в тесной квартире, круша и корежа дубовый паркет и скудную мебель, так что Флюидов часто просыпался ночью от треска и скрежета: то трюмо разлетелось на куски, то платяной шкаф лопнул по швам, — так погибало скромное наследство, доставшееся Лазарю от покойной бабушки. Но куда тягостнее был моральный ущерб, нанесенный за эти два месяца поэту Лазарю Флюидову. О, если бы его друг художник Корбюзьевич знал, насколько то его знаменитое видение, явившееся ему однажды в «Чайнике», видение о каменной глыбе с лазающим по ней голым Флюидовым, оказалось пророческим! О, как теперь, должно быть, испугался бы художник Корбюзьевич, увидь он собственными глазами правду, как она есть — отягощенную множеством бытовых деталей во всей их простоте и обыденности, что делало ее еще более тупой и жестокой. Жизнь Флюидова превратилась в бег по кругу однообразных дней, словно он был прикован к ним невидимой цепью за ногу. А ночи Флюидова и были той самой цепью — цепью непрерывных кошмаров. Хоть одним глазком заглянул бы художник Корбюзьевич в сны, терзающие

Лазаря, — тогда он непременно написал бы лучшую и самую трагичную из своих картин и, быть может, назвал бы ее «Ночным кошмаром». Но, в отличие от одноименного шедевра Генриха Фюсли, изобразил бы на ней не какую-то выдуманную молодую красавицу, которая грезит в окружении отвратительных чудовищ, порожденных бессознательной работой не окрепшей девичьей психики, а реально существующего красавца Лазаря Флюидова в толпе монументальных дам, протягивающих к нему многотонные руки.

А дамы и впрямь были монументальными и — как писали некогда во французских романах, — с «интересным прошлым». Среди прочих самое активное участие в ночных хороводах принимали и верная супружескому долгу Бавкида, единственная из присутствующих здесь дам, воплощенная не в камне, а в дереве (вероятно, согласно воле самого Зевса), и славная острым умом Никаула, царица сабеев из Счастливой Аравии, и императрица Жозефина... Из царственных особ больше других Флюидову досаждала Алиенора Аквитанская — насколько блистательно образованная и красивая, настолько же и порочная, и в порочности своей достигшая совершенства, как, впрочем, достигала она его во всем, за что бы ни бралась. И вот теперь она взялась за поэта Лазаря Флюидова! Самовозникновение этого чудовищного мегалита в его, Лазаря, однокомнатной квартире немедленно ознаменовалось проявлением у злополучного поэта сильно выраженных признаков эротомании и ничем не оправданных всплесков буйной жестокости, которую, к счастью, не на кого было обрушить. Увы, историю европейского Средневековья Лазарь знал плохо, иначе не попался бы так легко на удочку этого хитроумного монстра. Другьям он не доверял, и напрасно. Тот же Старик Придумкин рассказал бы Флюидову, что сводит его с ума та самая венценосная супруга двух королей-рогоносцев, мать поэта и воина Ричарда Львиное Сердце, прославившаяся своей красотой, любовью к трубадурскому искусству и неутомимым распутством. А корректор Впетлин мог бы компетентно добавить: «Не ведающая жалости королева Англии, которая из ревности собственноручно умертвила прелестнейшую *Rose du monde*<sup>1</sup>». И точно, добавил бы, если бы не исчез задолго до всех этих событий, унеся с собой столь важную информацию.

---

<sup>1</sup> Роза мира — Розамунда (франц.).

Далее эротическую эстафету подхватила Джулия Фарнезе, действительно очень похожая на свой знаменитый скульптурный портрет в соборе Святого Петра в Риме, за ней — прекрасная Изотта, которую в церкви Святого Франческо в Римини увековечил Сиджизмондо Малатеста — тоже «нехилая барышня», как сказал бы Лямур Двердомский, подразумевая ее фотогеничность, — и, наконец, сама Dame de Beauté<sup>1</sup> Агнесса Сорель в образе мадонны с обнаженной грудью, каковое пикантное обстоятельство все же остается на совести не Лазаря Флюидова, а живописца Жана Фуке. Крутились в этом хороводе оживших окаменелостей, попеременно беря на себя инициативу, и другие «дамы былых времен», как то: воспетая в стихах Аполлинария Костровицкого прекрасная Мари Лорансен, и гламурная госпожа Даймлер, которой столь обязано мировое автомобилестроение, и экзальтированная Шарлотта фон Кальб, урожденная фон Остгейм, это дитя «бури и натиска». «Да, я не Шиллер, я другой!» — выкрикивал поэт Лазарь Флюидов, словно в бреду и, стараясь не смотреть на Шарлотту, отворачивал взор, но она почему-то была повсюду, куда не глянь! А может, это и был самый настоящий бред? Ведь не просто так, после празднования ее дня ангела Лазарь чувствовал себя особенно плохо, и все утро его преследовали разнообразные галлюцинации мистического толка! А когда его сознанием овладел истукан по имени Луиза Брахманн, у него началась настоящая паника, так что, потеряв всякое трезвомыслие, он хотел выпрыгнуть в окно. Остановил его неожиданный звонок в дверь, которую Лазарь не открыл, но зато и в окно прыгать не стал. Обостренный слух его различил за дверью пьяное топтание Ипритьча. Флюидов уж и не знал, благодарить назойливого дворника за то, что тот по своему неведенью отворотил его от смерти, или проклинать за то, что, отворотив от смерти, тем самым продлил его нечеловеческие страдания. А ведь, и правда, продлил! Потому что, как только топтание Ипритьча под дверью затихло, Лазарь бросился в ванную комнату с твердым намерением утопиться. Он отвернул кран, чтобы набрать воды в ванну, но вместо воды из крана вырвалось пустопорожнее хриплое шипение. Как позднее выяснилось, именно в тот день воду в доме отключили в связи с плановым ремонтом водопровода...

Определенно, Луиза Брахман была самой зловещей фигурой в этом кошмарном хороводе, поскольку методично подгал-

---

<sup>1</sup> Дама Красоты (франц.).



кивала Флюидова к суициду. Зато самой занудной оказалась некая леди Уолстонкрафт. Сия каменная дева преследовала измученного поэта неотступно на протяжении семи ночей подряд. И то были отнюдь не те притязания, которые мужчины, лишенные воображения, *считают* женскими. О нет! Почтенная леди Уолстонкрафт ночи напролет каким-то рассыпчатым песочным голосом читала прямо в голове Лазаря свою книгу «Защита прав женщин», а некоторые главы, с ее точки зрения, наиважнейшие, перечитывала по два-три раза, так что просыпался Флюидов с первыми лучами солнца еще большим женоненавистником.

Днем Лазарь старался выскользнуть из квартиры незамеченным, а оказавшись на улице, на ватных ногах и с воспаленными глазами уныло брел к «Чайнику», поскольку идти было больше некуда. Там он, как мог, отводил душу: пил, ругался и скандалил со Стариком Придумкиным, клял женщин, на чем свет стоит, но тему каких-либо памятников, изваяний, статуй и скульптур всячески обходил молчанием, чего друзья, по его мнению, «подозрительно не замечали». Может, что-то пронюхали, хитрые бестии, и теперь выжидают, когда он проколется?.. К ночи, вдребезги пьяный, он возвращался домой, в свою, ставшую ненавистной, квартиру, в этот «пантеон» явившихся из небытия чудовищных окаменелостей прошлого, не вполне живых, но и не вполне мертвых, и снова превращался в персонажа многосерийного хоррора. «Signor! Signor!..» — страстно шепчет ему в правое ухо некто Гаспара Стампа из Падуи. — «Io son da l'aspettar omai s'ì stanca!..»<sup>1</sup> — «Baise m'encore, rebaise moy et baise!..»<sup>2</sup> — в левое шепчет какая-то Луиза Лабэ из Лиона. И так, в непрерывном любовном экстазе поочередно сменяют друг друга — вспышка справа! вспышка слева! — два беломраморных истукана, вероятно, признав в помятом облике замученного алкоголем, бессонницей и неврозом хозяина берлоги некое двойное отражение графа Коллальтино ди Коллальто, с одной стороны, и поэта Оливье де Маньи — с другой, о которых Лазарь совершенно ничего не знал, а дамы тактично не упоминали имен своих возлюбленных, дабы не задеть его мужского самолюбия... Иногда, совсем не в тему, кто-то беззвучно

---

<sup>1</sup> «Я так устала его ждать!..» (*староитал.*). Первая строка Сонета XLVII итальянской поэтессы эпохи Возрождения Гаспары Стампы.

<sup>2</sup> «Целуй меня, целуй опять и снова!..» (*старофранц.*). Перевод И. Ю. Подгаецкой. Первая строка Сонета XVIII французской поэтессы эпохи Возрождения Луизы Лабэ. В языке XVI века глагол «baiser» имел также значение «faire l'amour», то есть «заниматься любовью», которое этот глагол до сих пор сохранил в просторечии.

кричал у него в голове: «А подать мне сюда Инститориса-молотобойца!» или «А подать сюда Гриландуса!» И Лазарь механически в полный голос повторял эти призывы, словно заклятия, смысла которых не понимал. Они врывались в его мозг неизвестно откуда, а извергались уже через рот: «Инститорис, ко мне!.. Гриландус, на помощь! На помощь!»

А однажды приключилось нечто и вовсе постыдно вопиющее, или вопиюще постыдное! В ночь с четверга на пятницу в толпу вождедеющих красавиц обманным путем затесался (также воплощенный в камне) некто виконт де Гийераг, переодетый в монахиню Марианну Алькофорадо, что, во-первых, усугубило преступность намерений вышеназванного виконта, а во-вторых, придало и без того трудному положению Лазаря Флюидова весьма щекотливый характер. К счастью, виконт задержался ненадолго и ограничился тем, что передал смущенному поэту персональный привет от Белой Богини. Но появление вслед за ним знаменитой Венеры из Золотого Дворца императора Нерона едва не доконало бедного Лазаря. Еще немного, и он просто умер бы от вожделения, либо, как легендарный Мом, лопнул бы от злости, будучи не в силах найти в этой идеальной красоте хоть какой-нибудь изъян. Это было невыносимо!

А тут еще перед помутненным взором Флюидова возникла Библида во всем своем неотесанном величии с ручьями слез, льющихся из окаменелых глазниц, отчего в квартире запахло сыростью и плесенью. Кстати, тема воды и раньше давала о себе знать неоднократно. Например, после общения с Мэри Шелли, в которой Флюидов, к удивлению своему, узнал старую знакомую, феминистку леди Уолстонкрафт, ему приснился длинный, тягучий сон, в котором он сначала долго и мучительно тонул на яхте в открытом море (раз двадцать яхту опрокидывал лютый шторм, но не успевал он еще как следует утонуть — все начиналось сначала), а потом бурлящее море отступило, обнажив развалины какого-то города, и весь остаток ночи по черной и скользкой улице за ним гонялось кровожадное детище Франкенштейна, в облики «железной бабы» с Печерских холмов...

Но самые неприятные минуты пришлось пережить Лазарю Флюидову в обществе одной очень пылкой римской матроны. С ловкостью необыкновенной она вонзала себе в грудь острый кинжал, а потом вкладывала его в одеревеневшую от ужаса руку поэта и предлагала ему сделать то же самое, дабы избежать

смертной казни за участие в каком-то антиправительственном заговоре. «Лазарь, мне не больно! — шептала она, и, похоже, что так оно и было. — И тебе тоже не будет больно!..» Но Лазарь не мог осмелиться. Стараясь затянуть время, он скрупулезно расспрашивал о мельчайших подробностях заговора и особенно придирчиво — о своей роли в нем; и то, что он слышал, приводило его в полное замешательство. Наутро, первое, что он увидел, была его затекшая рука, которая сжимала кухонный нож, пахнущий почему-то чесноком.

И вот три дня назад, в воскресенье, поэт Лазарь Флюидов проснулся с привычно тяжелой головой, с заплывшими глазами и совершенно обессиленный. Свесив ноги со своего растерзанного ложа он осмотрелся вокруг, и обнаружил у изголовья новую каменную гостью, а точнее — ее обнаженный зад, ибо гостя эта не нашла ничего лучше, как заявиться к несчастному поэту прямо в чем мать родила. На постаменте статуи скромная английская надпись гласила: «Lady Godiva»<sup>1</sup>. Историю этой дамы Лазарь помнил по комментариям к изданию все того же «Франкенштейна» все той же Мэри Шелли, которую знал теперь лично. И это стало последней каплей. Делая вид, что не замечает прелестей столь откровенной дамы, дабы не разделить печальную участь глупого портного из Ковентри, который, как известно, в наказание за свое легкомысленное любопытство лишился зрения, поэт Лазарь Флюидов быстро — откуда только силы взялись! — оделся и, протиснувшись сквозь плотный строй молчаливых истуканов, опрометью выскочил из своей квартиры, чтобы больше никогда в нее не возвращаться...

---

<sup>1</sup> «Леди Годива» (англ.).

# **КНИГА КОРОЛЕВЫ**



## ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЗАМОК

...Судя по аппетитным запахам, Фургон с путешественниками приближался к Замковой Кухне.

— Вы не утомились, княгинюшка? — спросил г-н Архивариус.

— Нет, благодарю вас.

— Столько времени на колесах — не всякий мужчина выдержит.

— Я чувствую себя прекрасно. И потом: вокруг так много необыкновенных и добрых людей, у них такая замечательная жизнь! Мне здесь очень нравится.

— Угу, — горделиво приосанился г-н Филин. — Благоденствие!

Но г-н Архивариус почему-то невесело улыбнулся.

— Так бывает не всегда, — сказал он. — Да и будущее мне видится не столь уж безоблачным. Жизнь постоянно подбрасывает нам какие-нибудь неприятные сюрпризы, как бы поучая и понуждая нас держать ухо востро и в любую минуту быть готовыми к борьбе.

— О чем это вы? — с тревогой в голосе спросила Янка. — Нам что-то угрожает?

Не дожидаясь ответа, г-н Филин на всякий случай спрятался за гроздьями манжет, свисавших с потолка Фургона.

— Одно могу сказать, княгинюшка, — молвил г-н Архивариус после некоторого раздумья. — Неприятностей наш Замок на своем веку испытал предостаточно. И мы не настолько легкомысленны, чтобы полагать, будто они остались позади. Впрочем, правильнее было бы назвать их испытаниями. Великими испытаниями! Это, говоря без преувеличения, война миров, и она никогда не закончится.

— Вы сказали: война?

— Именно так! Поверьте, княгинюшка, мы ведь тоже далеко не безобидны. Иначе зачем бы врагам понадобилось наш возвышенный и серьезный облик низводить до глупой карикатуры

и затем этому суррогату приписывать достоинства, которые в таком, фигурально выражаясь, контексте скорее похожи на недостатки, а то и на безобразные пороки, которых у нас отродясь не было?

— Зачем? — спросила Янка.

— Чтобы взять нас измором и, в конце концов, изгнать, выдвить, вытравить из нашего Замка! Уничтожить-то нас невозможно, а вот опозорить, скомпрометировать на какое-то время — вполне. Видите ли, княгинюшка, наш Замок — это, в своем роде, проекция Человеческого Сердца, в котором неисчислимое множество пространств и времен! Вот почему кое-кому... — г-н Архивариус понизил голос. — Кое-кому очень, очень не нравится, что мы владеем им. Кое-кто страстно желает, чтобы мы поскорее убрались отсюда и больше никогда не возвращались, полагая, что свято место пусто не бывает и тогда, стало быть, этот кое-кто без малейших усилий его займет.

— Но кто этот «кое-кто»?

— О!.. Ну, например, коварство, скудоумие, стяжательство, жестокосердие... Я бы назвал все это прогрессистскими инстинктами низших сущностей. Понимаете, о чем я?

— Не очень. Вот если бы вы назвали какое-нибудь имя...

— Что ж, пожалуйста! — воскликнул г-н Архивариус. — Вот вам имя: Альгакобилла.

— Альгакобилла? Кто это?

— На первый взгляд, всего лишь символ. Но этот символ объединил в себе многие темные силы. Он их обобщенное воплощение, или воплощенное обобщение. И имен у него на самом деле не меньше, чем пороков. И природа его столь же живуча, как и сами эти пороки. У него сотни личин, и нигде от него не спрячешься — ни в лесу, ни в городе, ни даже в сумасшедшем доме, — всюду он на первых ролях, во всякое время охвачен он страстью повелевать и распоряжаться. Иногда мне кажется: он, если можно так выразиться, «напяливает» на себя образы людей, словно карнавальные костюмы. И единственное средство борьбы с этим чудовищем: не прятаться от него, а идти к нему навстречу и сражаться с ним в открытом бою.

— Угу, зачем же в открытом? — голос г-на Филина прозвучал, как из глубокого погребца.

— Вы правы, господин Филин: это самое сложное, потому что главное оружие Альгакобиллы — ложь и предательство.

— Что же нам делать? — спросила Янка.

— Быть настороже и сражаться, если того потребует необходимость.

— И всё?

— Всё. Ведь его, как и нас, нельзя уничтожить. Можно только изгнать... Да и то лишь на время. Кстати, однажды он уже был изгнан, но вскоре, набравшись сил, снова вернулся и объявил нам жестокую войну. Так что не настолько у нас безоблачно, как могло вам показаться.

Янка нахмурилась. Мрачная тень Альгакобиллы, казалось, упала ей на чело.

— Теперь вы понимаете, — в задумчивости произнес г-н Архивариус. — Надо быть постоянно начеку. — Он заговорил еще тише: — Коварство врага неистошимо и, я бы сказал, по-своему талантливо. Нападения его сейчас пусть и не так часты, но их редко когда можно предвидеть, а средства ведения войны поражают своей изощренностью. Так называемых реалистов это, как правило, вводит в заблуждение, ибо мыслят они одной половиной своей головы. Ну а мы, конечно, на сей счет не заблуждаемся, княгинюшка.

— Угу, мы мыслим целой головой...

— Вот именно! Потому и готовы к любым каверзам.

— Угу! — г-н Филин выглянул из своего укрытия, в глазах его полыхнуло нечто героическое.

— Да вот вам сравнительно недавняя история, — продолжал г-н Архивариус. — Несколько лет назад задумал Альгакобилла известить нас с помощью ос-убийц. Он нанял их к себе на службу где-то в Бразилии. К тому времени осы эти успели натворить немало бед не только в Бразилии, но и в Аргентине, и в Парагвае. Сначала они нападали на коров, потом на лошадей, потом на обезьян и собак, а, войдя во вкус, обратили свои смертоносные жала против людей! Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Из тайных источников, несущих свет добра и истинного просвещения, нам стало известно, что у этих, казалось бы, совершенно неуязвимых тварей есть-таки одно слабое место... Ни за что не догадаетесь!.. Оказалось, что эти агрессивные, не знающие жалости летающие убийцы становятся совершенно шелковыми, когда слышат прекрасную музыку или чувствуют аромат духов. Вот чего Альгакобилла не учел! Думаю, ошибка его заключалась в том, что он подошел к делу слишком формально. Ему не хватило поэтического чутья. Да и, как известно, Альгакобилла на дух не переносит ни прекрасную музыку, ни чудные



ароматы, предпочитая им белый шум и смрад болотный. Ну, так вот: помнится, в те дни весь наш Замок и мы вместе с ним буквально насквозь пропитались запахами шикарной французской парфюмерии. Правда, вредный и серебролюбивый Котомыш Лаврентий Печерский в пику всем нам организовал в одном из подвалов незаконную торговлю высокотоксичными одеколонами «Шипр» и «Гвоздика», выдавая их, соответственно, за редкостную «Воду королевы Венгрии» с добавлением магического розмарина<sup>1</sup> и *Aqua Mirabilis* Феминиса и Фарины<sup>2</sup>. Что до других, якобы не менее дорогостоящих раритетов, таких как парфумы производства французских «Мастеров по изготовлению перчаток»<sup>3</sup>, то, прикрываясь сфальсифицированным разрешением Его Величества Людовика Четырнадцатого, Котомыш намеревался втюхать честным обитателям Замка дешевые одеколоны «Тройной» и «Лесной», а также их смеси в разнообразных пропорциях. Разумеется, наш пройдоха был вовремя изобличен и доставлен к своему отцу, сэру Мурмилоту Узорному. Охваченный праведным гневом, благородный старик готов был незамедлительно отречься от беспутного сына, но по личной просьбе герцогини Эсклермонды смиростивился и ограничился тем, что вылил на голову кающегося Котомыша все его поганые одеколоны и повелел ему обсыхать и выветриваться где-нибудь подальше от Замка и поближе к Теремам Городской Администрации. Ну, а мы наслаждались тончайшим благоуханием духов, лосьонов и бальзамов и, надо сказать, были очарованы не меньше злополучных ос. Вот, господин Филин может подтвердить: мы с ним бродили как во сне.

— Угу, угу! Как вспомню, сразу засыпаю, — подтвердил ученый секретарь, сладко позевывая. — И сны снятся такие пахучие! Благодать! Угу?..

---

<sup>1</sup> «Вода королевы Венгрии» — знаменитая омолаживающая спиртовая настойка. По легенде, в 1370 г. некий монах подарил ее 72-х летней королеве Венгрии, страдавшей от недугов старости. Она употребляла чудодейственную воду в течение года и вернула себе здоровье и красоту молодости.

<sup>2</sup> *Aqua Mirabilis* (Чудесная вода) — первый одеколон, созданный итальянским странствующим аптекарем и парфюмером Джованни Паоло Феминисом и его племянником Джованни Марией Фариной в Кельне в 1709 г. Современное название «Кельнская вода» появилось в конце 1750-х.

<sup>3</sup> «Мастера по изготовлению перчаток» («*Les Maitres gantiers*») — знаменитая фабрика по изготовлению кожаных аксессуаров, которой французский король Людовик XIV разрешил производство и торговлю духами. Позднее, в конце XVII века они переименовались в «Мастера парфюмерии».

— Ну, это вам — благодать, — согласился г-н Архивариус. — Зато осам крепко досталось! Окончательно их добила музыка.

— Она была так ужасна? — спросила Янка.

— Совсем наоборот, княгинюшка! Музыка была превосходна и, уж поверьте, могуществом своим нисколько не уступала могуществу коллекционных духов! Скажите честно, вам когда-нибудь доводилось слышать «Буги-фуги Бабаха», сочинение маэстро Скарлатини?

— Нет, не доводилось, если честно.

— И слава Богу, княгинюшка! Нечеловеческая музыка! Вообразите себе картину: как гром с ясного неба, на поле брани обрушивается Блуждающий Оркестр под управлением самого маэстро Скарлатини собственной персоной и двумя-тремя оглушительными аккордами — трррах-бах-бабах! — поражает уже бессиленных, лишенных воли и задыхающихся в парфюмерных испарениях насекомых чудовищ! После такой блистательной каденции оставалась сушая безделица: хорошо поработать метлами. Таким вот образом, княгинюшка, в течение десяти героических дней мы избавились от смертельной угрозы, и при этом никто не пострадал. Кроме ос, конечно.

Сказав это, г-н Архивариус поднял указательный палец и стал принюхиваться — совсем как собака. Похоже, Замоквая Кухня находилась где-то неподалеку, и, судя по интенсивности и густоте запахов, там готовилось что-то необыкновенное. Вялый Горбун сглотнул слюну, весело зачавкал, чем немало удивил путников, и дальше Фургон покатился гораздо, гораздо быстрее.

— И как только не изощрялся подлый Альгакобилла! — возобновил свой рассказ г-н Архивариус. — Сколько пакостей, заговоров и изуверств измыслил в желании насолить нам! Это же он запустил в Замок термитов!

— Да что вы говорите! — воскликнула Янка.

— Угу, было дело! — подтвердил г-н Филин. — Звери страшные и беспощадные!

— Ох, княгинюшка! — подхватил г-н Архивариус. — Видели бы вы их железные челюсти! Если бы не военный гений нашего Генералиссимуса Полковника Генералмайоровича Фералонтова, эти челюсти перемололи бы в порошок весь Замок — от крыши и до фундамента! Вот когда нам стало не до шуток! Кстати, как раз в те времена первые полосы La Repubblica и Corriere della

Sera<sup>1</sup> пестрели сообщениями о варварских набегах этих же термитов на Италию, и о том, как они едва не сгрызли до основания один старинный собор в Сиене, построенный лет пятьсот назад мастером Никколо Пизано и его сыном Джованни. У меня даже несколько газетных вырезок сохранилось... Хотите, покажу?

— Угу, уж лучше мои манжеты! — взревновал ученый секретарь.

— Это необязательно, — остановила обоих Янка. — Я вам и так верю.

— Ваша воля, княгинюшка.

— Так что же термиты?

— Термиты?.. Ах, да! К сожалению, ни музыка, ни ароматы на эту новую пошеть не действовали. Даже конфискованный фальсификат Котомыша Лаврентия, вызывавший у меня лично приступы удушья, оказался совершенно бесполезным! Положение осложнилось до крайности. По этой причине безотлагательно был созван военный совет, и Высочайшим распоряжением Ее Светлой Летучести герцогини Эсклермонды комендантом Замка был назначен Полковник Фералонтов — выдающийся теоретик и стратег, непревзойденный практик, способный самостоятельно все начинать и самостоятельно все заканчивать, а любое поражение доводить до победного конца. Он и теперь не отрицает, что именно его решающему влиянию обязаны своим рождением цезарева «*Commentarii de bello Gallico*»<sup>2</sup>.

— Угу! — напрягся г-н Филин. — А я сам пишу свои записки на манжетах!

— Положим, вы не единственный, кто пишет записки на манжетах...

— Зато никто на меня не влияет!

— Дражайший, никто не умаляет ваших заслуг! Зря вы так волну... А чем это так пахнет? Вы чувствуете, княгинюшка?

— Чувствую. Немного странный запах.

— Да, — согласился г-Архивариус. — Запах странный. Но вкусный.

— Скорее, вкусный, но странный, — предположила Янка. — Вы, кажется, говорили, что где-то неподалеку Замковая Кухня?

— Ах, да! Ну, конечно! Замковая Кухня! Скоро будем на месте, друзья мои, и славно отобедаем!

---

<sup>1</sup> Популярные итальянские газеты.

<sup>2</sup> «Записки о Галльской войне» (*лат.*) — книга Юлия Цезаря.

— Угу, не плохо бы... — жалостливо простонал г-н Филин.

— Ничего, дражайший мой! Выше клюв! — подбодрил его г-н Архивариус. — А пока мы в пути, продолжайте записывать.

— Угу, куда ж я денусь!

— Ну так вот, — продолжил г-н Архивариус свой рассказ о Полковнике Ферапонтове и войне с термитами. — Когда к нашему герою прискакал гонец, весь в мыле и шампуне (наш герой не переносит запаха пота) и вручил ему новое назначение от герцогини Эсклермонды, тот уже давно вел мирную жизнь пчеловода, — по крайней мере, у многих обитателей Замка сложилось такое впечатление. Дело в том, что после катастрофы при Ватерлоо Полковник Ферапонтов, назло старой Европе, погрязшей в мелочной мстительности, построил в одной из каминных зал нашего Замка небольшую пасеку, на которой довольно успешно культивировал редкостных пчел-долгожителей. И пчелы эти, здоровенные и выносливые, как гренадеры, без труда долетали до острова Святой Елены, где своим грозным жужжанием ублажали то правое, то левое ухо опального Императора. Пафнутий Нехилый в своем знаменитом историческом сочинении «Тщета Никчемности, или Хроника великих завоеваний» рассказывает, что одна из полковничьих пчел, по прозвищу Маренго, ужалила в нос губернатора острова сэра Хадсона Лоу, которого доблестный герцог Веллингтон называл полным кретином, и далее замечает, что, по справедливости, этого укуса больше заслуживал маркиз де Моншеню, в прошлом презренный обозный генерал, ни разу не нюхавший пороха, человек недалекий, болтливый и завистливый, и, к тому же, искренне ненавидевший плененного Императора.

В общем, как вы понимаете, пасеку пришлось оставить на попечение двух инвалидов. Заступив на должность Коменданта Замка, Полковник Ферапонтов первым делом ввел на всей его территории военное положение и вместо обеденного часа — комендантский час, а вместо холодных и горячих блюд каждому выдавалось холодное и горячее оружие. Затем он издал особый приказ «О всеобщем и обязательном ношении париков с короткой стрижкой». О, то были дни патриотизма и душевного подъема в шесть утра! В Арсенал — получать оружие — стояла нескончаемая очередь.

— Угу! — ностальгически вздохнул г-н Филин. — У меня был офицерский мундир и сабля острая...

— Ха-ха-ха! — рассмеялся г-н Архивариус. — Представьте-ка себе, княгинюшка: хищный клюв, косая сажень в узеньких плечах, два ряда огромных медных пуговиц и ржавая сабля, которая со скрежетом волочится по каменному полу. Орел! Настоящий бог войны!

— Угу, вы забыли про орден!

— Да, и орден «За умение прятаться».

— Неужели вам угрожала такая большая опасность? — спросила Янка.

— Ах, Ваше Высочество! Смертельная опасность! И она угрожала не только нам...

— А кому еще?

— Глобусу Киева!

— Угу, и нашему Фургону тоже, — напомнил г-н Филин.

— И Фургону, — согласился г-н Архивариус. — Хотя для термитов он вряд ли представлял собой деликатес.

— И что же было дальше? — поинтересовалась Янка.

— Дальше — из боеспособных жителей Замка были сформированы подразделения с опытными командирами во главе. Таким образом, мне выпала честь возглавить отдельный истребительный отряд в составе Вялого Горбуна и ученого секретаря господина Филина, поставленных на казенное довольствие, а также Фургона в качестве технического обеспечения. Как видите, мы представляли собой весьма грозную силу. Вот так для нас началась новая жизнь. Военные специалисты утверждают: «Солдат спит — служба идет». Руководствуясь этой доктриной, мы поместили Вялого Горбуна в салон хорошо укрепленного и замаскированного Фургона, где он и должен был неукоснительно спать, дабы наша служба шла, как положено. Ну а мы с господином Филином караулили, проявляя, так сказать, чудеса бдительности: пятали глаза, наостряли уши, отжимались от пола, чтобы, не дай бог, не уснуть и не прозевать врага. Но, увы, вопреки всем нашим стараниям, обстановка в Замке продолжала накаляться с каждым днем. Многочисленные информаторы сообщали, что несметные полчища термитов не поддаются счету, а их прозорливость — человеческому осмыслению. И ненависть их к Замку не знает границ! Сказать, что мы были обеспокоены — все равно, что ничего не сказать! Мрак стужался над нашими древними чертогами, над шпалерами и картинами великих мастеров, над колоннами и каминами, над дверями, паркетом и плитусами, над мебелью — прекрасной мебелью Буля,

Чиппендейла, Тонета и скульптурными композициями Джона Мейкписа, за год до этих событий приобретенными у него нашими агентами в Дорсете! Тьма готова была поглотить бесценные рукописи и книги знаменитейших писателей и ученых, дивные экспромтовары пожизненного поэтапуса Мульдадули, упоительные поэтические плетения наших несметных стихоплетов в роскошных переплетах и даже вековечную Поэму Гениального Кондратия, которая, к тому же, вся состояла не только из самых любоносных и любвеобильных слов, но и из самых лучших сортов бумаги и самых дорогих чернил. Страшная гроза неумолимо надвигалась и должна была в любую минуту обрушиться на Сад Придуманых Птиц и Цветов, на Ковровый Тракт и, главное — на Большую Тронную Залу со всеми ее причудливыми анфиладами, террасами, скульптурными ансамблями, мозаиками и инкрустациями...

— Угу, и на замковую кухню! — добавил г-н Филин, жадно принохиваясь.

— И на Библиотеку, и на Архив со Скрипторием... — продолжил список г-н Архивариус.

— Угу, и на наши бедные головы! — подытожил г-н Филин.

— Жизнь в Замке стала суровой, — сказал г-н Архивариус и раздраженно посмотрел на ученого секретаря.

— Угу, и аскетичной...

— Прекратились балы и праздники. Да-да! В это трудно поверить, но никто больше не танцевал и не пел веселых песен, — в бальных залах теперь гремели устрашающие военные марши, а устремленные ввысь своды оглашались боевыми девизами марширующих дружин и когорт. Лица вокруг серьезные, сосредоточенные. Луна, которая светит здесь всегда и повсюду, и та, казалось вот-вот погаснет... К сожалению, и это надо честно признать, в первые же дни вражеского вторжения командованием были допущены досадные промахи. Так, Котомышу Лаврентию Печерскому простили авантюру с одеколонами, после чего он, вернувшись из изгнания в весьма потрепанном виде, очень скоро, непонятно за какие подвиги, — возможно, авансом, за будущие, — получил сразу чин майора от инфантерии, хотя до этого был простым ефрейтором, и должность начальника пешей разведки. Однако вместо того, чтобы кропотливо собирать важную информацию о передвижениях противника и попутно вести подрывную деятельность у него в тылу, майор Котомыш разгромил одну из аптек господина Магора и, извините, наклюкался

валерьянки. В результате так называемый «внутренний кот» Лаврентия пришел в сильнейшее возбуждение и совершенно подавил в себе и без того слабое сопротивление «внутренней мышцы». Естественно, тем самым природный баланс был существенно нарушен, и Котомыша Лаврентия Печерского понесло.

— О Господи! — воскликнула Янка. — Куда же его понесло?

— Как последний дезертир, он бросил свой штабной вагон, который двигался на воссоединение с бронепоездом Полковника Ферাপонтова, и отправился куда-то во Флегрейские поля мародерствовать, заодно прихватив с собой маршальский жезл полковника Ферапонтова — якобы по ошибке!

— Угу! Какая безответственность!

— М-да, хуже некуда! — г-н Архивариус сокрушенно покачал головой. — В полях этих Котомышу намяли бока, прищемили хвост и поотрывали уши. Мало того, что назад он вернулся полудохлой тушкой, так в Замке его еще и под трибунал отдали...

— Боже мой!

— Да, княгинюшка! По суровым законам военного времени, так сказать. В ходе расследования выяснилось, что Лаврентий успел-таки выменять маршальский жезл на жевательную резинку, и незадачливого мародера сослали на исправительные работы в ЖЭК № 30/3, где он должен был оставаться до тех пор, пока не вырастут новые уши, а сэр Мурмилот Узорный на прощанье по-отцовски отгаскал его за хвост. Визгу было, надо вам сказать! И это ему еще очень повезло: если бы в тот памятный день наш Генералиссимус не отправился на передовую с инспекцией, Котомыша подвергли бы децимации, стерилизации и тотальной эпиляции.

— Подвергли чему?

— Если говорить коротко — полному обнулению... Но, должен заметить, Генералиссимус не сразу обнаружил пропажу своего маршальского атрибута, а не то...

— А мне его жаль, — сказала Янка.

— О, не стоит волноваться, княгинюшка! У Полковника Ферапонтова в обозе не меньше дюжины подобных жезлов. Сами понимаете: столько раз быть маршалом!

— Мне Котомыша жаль, — уточнила Янка. — Знаете, почему он у вас такой вредный? Потому, что никто его не любит. Я так поняла, что в детстве никто не занимался его воспитанием. Сказок ему не читали, колыбельных песен не пели. Рос он как бурь-

ян при дороге — вот и вырос диким. А наказывать, конечно, проще простого. Это каждый может. Честно говоря, от нашего Мурмилота я такой черствости не ожидала. Его, между прочим, ни я, ни тетушка Клер, ни баба Маня, — за хвост никогда не таскали. А надо было бы разок-другой потаскать, чтобы знал, каково это...

— Кого? Сэра Мурмилота? За хвост?! — так и обомлел г-н Архивариус и, испугавшись своих же слов, зажал себе рот ладошкой.

— Да-да, именно сэра Мурмилота! За хвост!

— Угу-у, а в этом что-то есть, — заметил г-н Филин. — Послушайте, коллега, — обратился он к г-ну Архивариусу. — А ведь Ее Высочество говорит дельные вещи. Тут вся закавыка в правильном воспитании. Угу? Кстати, а что по этому поводу написано у Коменского и Песталоцци? Или у того же Дистервега?

— В нашем случае их писания безнадежно устарели, — раздраженно махнул рукой г-н Архивариус.

— А Ушинский? А Фребель?

— Да поймите же, коллега, все они имели дело с обыкновенными детьми, а не с хвостатыми гибридами, каковым является хаотический Котомыш Лаврентий Печерский.

— Ах, дело не в книгах великих педагогов, — сказала Янка. — Разве можно по книгам научиться любить, жалеть и заботиться?

Возразить на это было нечем...

...Путешествие шло своим чередом. О приближении Праздника свидетельствовали не только запахи, долетавшие из Замковой Кухни, — коридоры, лестницы и комнаты были украшены иллюминацией, и всеобщее оживление царило вокруг. Из распахнутых дверей выбегали улыбающиеся люди; подбрасывая высоко вверх свои шляпы, парики, трости, зонтики, корзинки с фруктами, букетики цветов и прочие, видимо, не очень нужные им вещи, они радостными криками приветствовали проезжающий мимо Фургон с путниками.

— Какая прекрасная суматоха! — воскликнул г-н Архивариус. — Но, как я уже говорил, так было не всегда. Видели бы вы здешние места во времена Термитной войны! Представьте: у каждого портала, у каждой двери — катапульты и фальконеты, бомбарды и короткоствольные картауны, готовые в любую минуту выплюнуть в неприятельские полки огонь и раскаленные



ядра. Под грохот барабанов и рёв фанфар войска разворачиваются в боевые порядки, посыльные с секретными донесениями и связисты с полевыми телефонами за спиной носят туда и сюда, как угорелые; из зала в зал тянутся вереницы обозов с оружием и продовольствием; предбанники и каморы забиты до отказа дозорными... И отовсюду доносятся четкие команды Полковника Ферাপонтова. Короче говоря, в один день мирные и беззаботные, обитатели Замка превратились в воинственных копьеносцев и меченосцев, лучников и арбалетчиков, мушкетеров и артиллеристов. Воистину, все мы были охвачены единым порывом — отстоять свою независимость, свободу и архитектурную целостность. И вот, видя такую нашу решимость, враг был немало сконфужен. Он не знал, что делать и как быть. Он выжидал, оценивал, постоянно маневрировал. Он без устали точил зубы, хорохорился, бранился и посылал нам страшные проклятия, но в наши подзорные трубы и бинокли было хорошо видно, что нападать открыто он побаивается. Тем более что он плохо знал географию Замка. Зато Полковник Ферапонтов для осуществления своих замечательных стратагем, с моей помощью, был снабжен лучшими картами — теми самыми, знаменитыми картами Микробиуса. Особым достоинством этих карт являлось то, что при их составлении Микробиус пользовался, как правило, смешанными проекциями. Например, ортографическо-сквозной или стереографическо-сквозной, то есть слоеной; иногда эти карты так и называют «слоеными микробиями». Так что в вопросах рекогносцировки, стратегии и тактики наши патриоты имели значительное преимущество. Но главное: мы были активны и неуправляемы! Мы старались удерживать инициативу в своих руках... Кроме всего прочего, специальные лазутчики под предводительством сербского воеводы Передряга Браговича разбрасывали там и сям — по углам, под кроватями и креслами, в шкафах, комодах и цветниках, — древнюю коломун-траву, которая, как уверял нас великий Магор, способна отпугнуть любого врага. Красавец-рыцарь Драгонет де Мондрагон собирал диверсионные отряды из самых отчаянных ребят и ходил с ними в конные рейды по самым отдаленным закоулкам Замка. В свою очередь, благородный грузинский князь Камикадзе объявил кровную месть каждому термиту, достигшему совершеннолетия, а Магнус Брюзга наглухо заколотил прогнивший вход в Чулан, куда противник рвался в первую очередь, чтобы воспользоваться подпольными каналами, которые когда-то давно были кана-

лизированы люмпенизированными канальями, а также в надежде на сепаратистские настроения Безумной Кастелянши. Забегая вперед, скажу, что коварные планы эти полностью провалились. Нейтрализовав, таким образом, Чулан со старой ведьмой, Магнус Брюзга принялся усердно тренироваться в фехтовальной зале, готовясь в личном поединке свести счеты с назойливым Альгакобиллой. В самый разгар кампании к нам присоединился гетьман Забудько со своими козаками, кобзарями и чумаками, а может, и не со своими, потому что он и сам не помнил точно, чьи это люди, как и то, гетьманом какой части Киева он был — правобережной или левобережной. Иногда пан Забудько забывал, на чьей стороне воюет, но общего впечатления от его деятельности это не портило. Зато как он пел! Как танцевал!.. Да и в бою равных ему не было!..

— Ох, княгинюшка! — продолжал г-н Архивариус, утирая платочком ностальгическую слезу. — В те незабываемые, полные драматизма дни, молодежь и старики часто собирались вместе и за чашкой кофе обсуждали свежие фронтовые новости и слухи, которые сыпались как из рога изобилия; вспоминали славные события прошлого, изрядно подзабытые пророчества и много спорили. Мнения высказывались самые противоречивые и, насколько я сейчас помню, никому так и не удалось проникнуть в тайны великих предсказаний, видимо, нарочно изложенных столь путано и многосложно, чтобы никто не смог опередить события и потом возгордиться. А в узких кругах нумизматов и экспертов по геральдике даже вспыхнула дискуссия, каким именно орденом наградят Полковника Ферапонтова в случае победоносного завершения военной кампании. Голоса разделились между большим крестом Саксонского Святого Генриха, прусским орденом «Pour le merite»<sup>1</sup> и кавалерийским крестом ордена Марии-Терезии. В отличие от молодежи, которая была без ума от Марии-Терезии и скачек, а потому настаивала на кавалерийском кресте, старики отдавали предпочтение первым двум, некавалерийским, орденам. Ибо, поясняли они, наш Генералиссимус перемещается по театру военных действий не только на лошадях, мулах или пони, но также и на бронепоезде, на дрезине, на воздушном шаре, на велосипеде... И даже на лыжах! Ну это, чтобы ввести противника в заблуждение... В конце концов, когда мы одержали победу, Полковника Ферапонтова наградили

---

<sup>1</sup> «За заслуги» (франц.).

сразу тремя орденами одновременно. Это был триумф справедливости! И, главное, не пролилось ни одной капли крови. Зато пролились реки мальвазии, верначчи и других сладчайших вин. В Замке воцарились веселье и восторг, расцвели фейерверки. О, блаженные времена!

— Но как это произошло? Не томите же, господин Архивариус!

— А я разве не рассказал?

— Угу, это склероз, — съехидничал г-н Филин. — Первый звонок.

— Да как вам не ай-ай-ай! — обиделся г-н Архивариус.

— Мне? А как вам не у-гу-гу? самого главного-то и не рассказали!

— Да что вы понимаете, сухарь в перьях! — г-н Архивариус повернулся к Янке: — Простите старика, княгинюшка. Я так увлекся переживаниями тех героических дней... Уж не взыщите.

— Ну что вы, в самом деле. Я и не думала обижаться. Лучше расскажите, как вы добились победы.

— С удовольствием, княгинюшка вы моя! — и г-н Архивариус от умиления прослезился, чем тут же вогнал Вялого Горбуна в мелодраматическое настроение, а ученый секретарь, презрительно скривившись, процедил себе под клюв: «Угу, наш старик совсем сдал».

А «старик» уже с новым вдохновением продолжал:

— Так вот, где-то по истечении девятого или десятого дня...

— Девятого, — холодно уточнил г-н Филин. — Я же говорил: склероз.

— Пошел вон...

— Господа! — не выдержала Янка. — Это уже переходит всякие границы!

— Угу, кстати, сегодня День пограничника! — вспомнил г-н Филин.

— Эх, что-то сладенького захотелось... — сказал г-н Архивариус и сглотнул слюну.

# **КНИГА ГОРОДА**



## ДЫРА СВЯТОГО КУТИЩЕВА

«Ундина! Ундина!.. С дождем явилась ты и с дождем исчезла, — философствовал Игнатий Иванов, шагая по ночному городу. — Нет, ты не моя судьба, хотя так была на нее похожа!..» Да и о чем сожалеть? Так, мимолетная влюбленность в бесплотную тень волшебства. Это же ясно, как божий день! Просто рядом с этой тенью он вдруг увидел себя таким, каким родился на свет, и впервые почувствовал себя круглым дураком, бездарно растрачивающим свою жизнь, и ему захотелось доказать и ей, и себе... Главным образом, себе... Но что доказать? Как же все это нелепо! Вот и Царлинда тоже не была его судьбой. Тем более, в сравнении с Ундиной. Воистину, тоска, помноженная на алкоголь и зелье — вот колыбель иллюзий и ошибок! Нельзя мешать все это в одну кучу. «Короче, не о чем жалеть! — приказал сам себе Иванов и тут же сам себе задиристо ответил: — А я и не жалею!» Правда, терпковатый привкус какой-то незавершенности еще некоторое время давал о себе знать... Дождь снова усилился, наполняя монотонным шумом гулкие улицы. Иванов ускорил шаг. Он шел, не замечая ни широко разлившихся луж, ни бурных потоков, с клеточком хлещущих из водосточных труб. Он торопился домой — к Мирабелле и Агате. Он не видел их несколько дней. Как мог он так долго отсутствовать? Мирабелла! Агата!.. Есть имена сладкие, как мед. И когда произносишь их, особенно вслух, кажется, что вкушаешь этот мед. И очищаются дыхание твое и кровь, и на душе снова становится легко и привольно, как после отступившего тяжелого похмелья вместе с сопутствующим ему чувством вины. «Агата... Мирабелла... Агата... Мирабелла...» О, какое наслаждение! Будто вдыхаешь аромат роз, зарывшись лицом в бутоны, в прохладно-нежные лепестки. И пьянеешь. И не можешь насытиться... «Мирабелла... Агата...» Он представил себе, как две прекраснейшие в мире женщины на пороге встречают его, снимают с него промокшую одежду, натирают его продрогшее тело ароматным бальзамом, укладывают его на мягкие

подушки, заворачивают в теплый плед, обволакивают, обвивают, погружают в мир и покой. Господи, как это хорошо, как славно: мир и покой!..

Где-то за спиной послышались шаги. «Ундина!..» — тотчас пронеслось в голове, и сердце учащенно забилося. Он резко обернулся. Никого... Только грохот дождя по жестяным крышам и карнизам. С минуту он стоял, переводя дух и напряженно вглядываясь в плохо освещенную улицу... Нет никого. Значит, все-таки показалось. Но почему Ундина? Такая глупость! Встреча с этим дивным юным существом показалась теперь Игнатию событием далеким, словно сон двадцатилетней давности. Или древний миф. Нет никакой Ундины, никогда не было и не будет... А жаль! Какая чудная история могла бы получиться!.. Стоп! Ему стало известно. В сердце кольнуло. И дыхание сдавило... Да что же он за человек такой, в самом деле!.. Не найдя подходящего определения, он зашагал дальше, решив больше не прислушиваться и не оборачиваться. Он будет идти, не останавливаясь. Он будет идти домой и повторять, словно мантру: «Агата... Мирабелла... Агата... Мирабелла...» — это как идти на свет...

Вскоре Игнатий Иванов вышел на Большую Житомирскую. Ни машин, ни людей, ни одной собаки бездомной под дождем, лишь перемигивание светофоров... Дойдя до перекрестка с Владимирской, он свернул у Пьяного Угла налево, к Андреевскому спуску. «Агата... Мирабелла... Чудесно! А ведь бывают и другие имена, — подумал он. — Такие, что и произносить как-то неловко. Или вообще противно. Произнес — и будто воздух испортил в общественном месте». Но зачем ему явилась эта мысль? Может, как антитеза? А может, как предчувствие войны? Он знал: все они его если и не ненавидят, то недолюбливают, все эти торговцы глаголами, эти бормашины от поэзии, строчкогоны, сгущатели бессмыслицы. Нет, он не станет произносить их имен! В сущности, и воевать тут не с кем: не соперники они ему... Так зачем же он думает о них, зачем отравляет свой мозг? Может, он просто не может, не умеет расслабляться?.. Иванов с силой выдохнул воздух и понесся вниз по Андреевскому спуску. Фонари не горели, и ниже, на изгибе улицы, сквозь косые струи дождя проявились эфирный очерк Замка справа и темная вздыбленная спина Флоровской горы слева. «Да, сейчас бы чаю с водкой — по-шотландски. “Горячий Тодди”, кажется, называется, — подумал он мечтательно. — И папиросу крепкую, дымом обильную...»

Но он тут же осекся. К черту зелье! И водку тоже к черту! Пора начинать новую жизнь, красивую. Ухаживать за садом, писать стихи, заново переводить Шекспира... Или по призрачным следам Классика, подмечая едва приметные подсказки мира, отправиться на поиски Города Мастеров. Что больше может увлечь его?.. За спиной снова послышались шаги. Несколько пар ног торопливо шлепали по воде. Шквальный холодный ветер настиг его, но он не остановился и не обернулся, верный данному себе обещанию. Он почувствовал на своем затылке чье-то ледяное дыхание. В следующее мгновение громовой удар обрушился на его голову — и Игнатия Иванова поглотил крошечный мрак...

...Первое, что он увидел, придя в сознание, было низко склонившееся над ним чье-то лицо. Какой-то человек зачем-то стоял над Ивановым на коленях, держа в руке включенный электрический фонарь. На нем был клетчатый пиджак неопределенного цвета, а на голове — широкополая соломенная шляпа. И тут Игнатий Иванов понял, что муки его не кончились и сейчас его подвергнут жестоким истязаниям и окончательному уничтожению.

— Не надо! — что было силы закричал он, и крик его сорвался на петушиный фальцет.

— Чего не надо? — не понял незнакомец.

Иванов вскочил на ноги и, приняв боксерскую стойку, стал пятиться к выходу. Его сильно покачивало, и в голове гудело.

— Ты куда? — невозмутимо спросил незнакомец. — Там заперто.

И он направил свет фонаря на низкий проем с массивной железой дверью. Глаза Иванова лихорадочно забегали в поисках другого выхода, но его нигде не было. Только сейчас он увидел, что находится в тесной сырой камере.

— Вы кто?

— Я — спецкор Кутищев, — незнакомец слегка приподнял шляпу в знак приветствия. — А ты кто?

— Иванов... Поэт-переводчик.

— Какое редкостное имя! Да ты присаживайся, в ногах правды нет, — и Кутищев указал на перевернутые вверх дном и сложенные одна в другую плетеные корзины в углу, а сам залез с ногами в полуразваленный гроб, который все это время скрывался за его спиной.



— Где я? — не сводя глаз с гроба, спросил Игнатий Иванов.

— Ты в склепе, старик, — пояснил Кутищев и панибратски похлопал рукой по пыльной крышке, лежавшей рядом с гробом. — Вот мое ложе. Ходят слухи, что меня в нем хоронили.

— Какой, к черту, склеп? Что происходит?

— Ну, старик, чтобы ответить на этот вопрос, неплохо бы знать исходные обстоятельства.

— Какие еще обстоятельства?! Нет никаких обстоятельств!

— Ну, так уж и нет...

— Нет! — фальцетом крикнул Иванов и принялся рассказывать сбивчиво, с надеждой на сочувствие: — Шел я себе по Андреевскому спуску, домой шел... Слышу: шаги сзади, гудение какое-то странное... и холод... Потом — бац! Дальше — тьма...

— Да, по всему выходит: похитили тебя, — сучающим тоном сказал спецкор Кутищев.

— Что значит — похитили? Да на кой черт меня похищать? Ничего не понимаю...

Иванов принялся нервно грызть ногти...

Прошла минута или две.

— Так говоришь, похитили? — раздумчиво повторил Кутищев, поднимая над головой свой электрический фонарь.

— Это не я, это вы так говорите!

Обессиленный, Иванов присел на корзины. Связных мыслей в его голове было что кот наплакал — в основном одни лишь внутренние выкрики и стенания: «Как же это?.. За что?.. Что плохого я сделал?.. И вообще, кому я нужен, чтобы меня похищать и заточать в склеп?!» И пока он терзался этими риторическими вопросами, фонарь Кутищева услужливо освещал облепленные грязной паутиной сырые внутренности склепа. Кроме полуразвалившегося гроба, в котором, словно патриций, возлежал сам Кутищев, трех старых метел и плетеных корзин, на которых сейчас сидел Иванов, больше в склепе ничего не было. Ну, разве что еще коряво нацарапанное на стене матерное слово из шести букв, обещавшее конец всем страданиям.

— Небось думал, здесь хоромы? — язвительно спросил Кутищев. — Святые мощи в ожерельях из золота, сундуки с драгоценностями, да?

— Ничего такого я не думал.

— Вот и я не думал, не гадал.

— Я же говорю вам, на меня напали! Сзади! И... — Иванов начал судорожно рыться в карманах куртки, штанов. — И обокрали!..

— Обокрали, — с пониманием отозвался Кутищев, извлекая из целлофанового пакета бутерброд с вареной колбасой не очень аппетитного вида. Казалось, он чувствовал себя в этом склепе как дома.

— Ни паспорта, ни денег!.. — Иванов с остервенением хлопал себя по карманам, после чего вывернул их наизнанку. — И папиросы забрали, сволочи!

— Есть будешь?

Иванов отрицательно мотнул головой.

— И правильно, — согласился Кутищев. — Все равно колбаса литературная. Вряд ли она придется тебе по вкусу...

— Перстень! — истошно завопил Иванов, тряся рукой, словно ее ошпарили кипятком. — Мой перстень!.. Господи, что же это делается?

— А что делается? Ну, похитили тебя. А заодно и ограбили. Зачем же так паниковать? Не ты первый, не ты последний... Послушай, у тебя враги есть?

Иванов пожал плечами:

— Да откуда я знаю?!

— А надо бы знать, — сказал Кутищев, громко и с наслаждением чавкая. — В этих местах много всякого ушлого народу шастает. Войдóтищи, например. Или те же кромешники... Тут в нескольких шагах от склепа, яма глубокая есть — ее и при свете дня не просто увидеть, так хорошо она замаскирована сушняком. Ну так вот, недавно местные жёрни — их еще лизунами называют — сбросили в эту яму одного залетного Администратора. Матерого такого, со стажем. Сожрать его хотели... Живьем... Если бы не какой-то бездомный пес, который чудом его оттуда вытащил, быть ему едой, точно тебе говорю...

— Кромешники, жирни! Что за чушь вы несете! — взорвался Иванов. — И вообще, черт побери! Вы так спокойно рассуждаете, будто вас самого похищали раз десять, и вам не привыкать!

— Э, нет! Мой случай посложней твоего будет. Меня отравили. Я лет десять как мертв... А может, и больше...

Это уже был явный перебор! Иванова трясло от возмущения.

— Да не трясись, твою кровь я пить не буду! — и Кутищев усмехнулся своей шутке, которая, видимо, показалась ему весьма остроумной. — Кстати, вижу, тебя тоже сюда волоком волокли, не церемонились: рожа вон как исцарапана, и вся в ссадинах.

Рука Иванова невольно потянулась к лицу, потом к макушке. Волосы были подозрительно липкими. Вид крови, оставшейся на пальцах, едва не поверг его в обморок. Несколько минут он стоял молча, с безвольно опущенной головой. Только сейчас он увидел, что вся одежда на нем изодрана в клочья и выпачкана в грязи, а любимая вязаная шапочка с помпоном и вовсе пропала... Из результатов этого осмотра можно было сделать главный и далеко не утешительный вывод, что с телом его неведомые бандиты действительно «не церемонились» и волочили по голой земле, через кустарники, как волочили бы любой другой не очень ценный груз.

— Но я вот что думаю, — продолжал Кутищев. — Раз уж тебя не посадили в яму, значит, убили. А тело спрятали здесь, в этом склепе. А что? Самое подходящее место.

— Вы в своем уме?

— Не только в своем, — последовал уклончивый ответ из гроба, и наступила, что называется, гробовая тишина. На душе у Игнатия Иванова было так мерзко, что хотелось... Он готов был сейчас просто... Взять бы да... Внутри у него все кипело и клокотало. Плевать на паспорт, на деньги! Даже на ключи от дома плевать! Сегодня потерял, завтра нашел, купил, заработал! А вот перстень... Перстень с лунным камнем — подарок Классика! Как же он мог так обделаться, прости, Господи, поэта за такую лексикку!

— Понимаю, старик, — сказал Кутищев, впиваясь зубами в свой литературный бутерброд. — Как тут не понять? Ты ведь до того, как по башке схлопотал, был поэтом?.. Да, для поэта — не очень красивая смерть, прямо скажем. А я вот, до того как меня отравили, спецкором был... Ну, в смысле, специальным корреспондентом. Правда, многое мне потом приписали: начиная от цвета волос, — он снял шляпу и провел рукой по голове, взъерошив густую рыжую шевелюру, — и заканчивая профессией, ну и манерой изъясняться. У меня и выбора-то не было. А теперь вроде бы и выбор есть, но зато я меньше прежнего знаю, кто же я такой... Извини, старик, что говорю с набитым ртом, но, сам понимаешь...

Иванов, как замороженный наблюдал за этим жующим мертвецом, который говорил сплошь загадками и выглядел живее всех живых.

Так прошло около четверти часа. Вероятно, уже далеко за полночь, думал Иванов — узнать время точнее он не мог, поскольку его наручные часы исчезли вместе с паспортом, деньгами и дорогим сердцу перстнем. Он украдкой посматривал на своего странного собеседника, дивясь его олимпийскому спокойствию. Вот ведь, сидит себе в гробу, жует свой бутерброд, называя его почему-то «литературным», — и ни малейшего беспокойства или расстройства чувств! Это впечатляло. И располагало. Игнатий Иванов уважал в людях силу, но любил их, пожалуй, за их слабости. Иногда зрелище человека, уплетающего колбасу за обе щеки, может свидетельствовать не столько о его отменном аппетите или о чувстве голода как таковом, что свойственно и животным, сколько о его способности противостоять невзгодам, что косвенно подтверждает его внутреннюю силу и превосходство над ними. А в этом непрерывно жующем спецкоре чувствовалась сила необыкновенная, если можно было так сказать о мертвце. Она-то и внушила Игнатию Иванову и уважение, и расположение, и доверие. А что оставалось? Из друзей рядом — никого. И, кстати, еще неизвестно, как бы они себя повели, оказись они рядом. Веселая братия, остроумы, острословы, но в экстремальных ситуациях толку от них никакого, в этом Иванов был уверен. «Наверное, пьют сейчас где-нибудь вино, черти... стихи читают!» — не без зависти подумал он. Да и сам он ничем не лучше! Особенно, если вспомнить все те несусветные безумства, которые он успел совершить за последние несколько дней: и эти свои алкогольно-восторженные страсти по забинтованной Царлинде на вечеринке у Лямура Двердомского, и пошлейший скандал в гастрономе с томатным соком и чьей-то мерзкой икотой, и свое смехотворное, несуразное рыцарство, и особенно Ундину, эту бедную, милую, тихо помешанную девушку (мысль о ее помешательстве явилась внезапно, подобно озарению!), которую он, болван, буквально несколько часов назад — подумать только! — заставлял пить водку и предлагал выйти за него замуж!.. Боже, какой стыд!.. На фоне столь мучительного позора с томительной нежностью думалось о красавицах женах, теперь еще более любимых и желанных. Почему-то он вспомнил, как однажды опрокинул на себя кастрюльку с ки-

пятком и сильно ошпарил руку, и Агата, приложив к обожженному месту листочки ежевики — их зачем-то должно было быть ровным счетом девять, — тихо шептала какой-то свой таинственный заговор — что-то о трех дамах, пришедших с востока... «Агата, Мирабелла! Птички мои ненаглядные! Неужели я вас больше никогда не увижу? Я такая сволочь! Я так мало для вас сделал!» Чувство жалости к женам, к себе, к целому миру начало стремительно расти.

— Скажите, — обратился он к спецкору Кутищеву. — Что мне делать? Понимаете, я боюсь... Меня ведь первый раз...

Иванов не договорил. Он не узнал собственного голоса и сам неприятно поразился тому, какой бред несет. Вот зараза! Так выставил себя на посмешище! Но спецкор Кутищев не рассмеялся и не обнажил зловещего оскала, как это приличествовало бы литературным мертвецам. Он просто перестал жевать и участливо посмотрел на Иванова.

— Страх — не порок, — тихо, почти с отцовской нежностью, произнес он. — Знаешь, я тоже боялся, когда мне всучили эту чашу с ядом, и я должен был осушить ее до дна. Видел бы ты меня в этот момент!.. Ноги подкашиваются, руки трясутся... Но, понимаешь, бывают обстоятельства, когда нельзя иначе. Уж так написано тебе на роду, и — хоть тресни! Да и как узнать настоящую цену себе? Чтобы это узнать, нужно отсчитывать от цены самой высокой, а в географии мыслей, чувств и положений избрать самую горячую для себя точку...

— Ах, говорите проще, мне сейчас не до метафор! — раздраженно перебил Иванов.

— Хорошо, можно и проще. Понять нечто важное о себе можно, лишь пережив нечто важное. Например, войну, предательство друга, тяжелую болезнь или уход жены... Я вот, например, пережил собственную смерть.

— Эх, лучше бы от меня ушла одна из жен!.. — неожиданно выпалил Игнатий Иванов.

— Странно.

— Что тут странного?

— Ты так говоришь, будто у тебя их много.

Иванов предусмотрительно оставил это замечание без ответа.

— Свою чашу надо испить до дна, — наставительно сказал Кутищев.

— Все это прописные истины!

— Да, но от этого они не перестали быть истинами, — резонно заметил Кутищев.

— Скажите лучше, что мне делать?

— Упаси тебя бог, старина, спрашивать совета у мертвых. Я человек, переступивший грань. Я много выстрадал, а потому не стану предлагать тебе биться в ту железную дверь и требовать, чтобы тебя выпустили. Все равно не выпустят.

— Почему вы так уверены?

— У тебя есть какая-нибудь возвышенная идея? — вопросом на вопрос ответил Кутищев. — Такая, за которую ты пошел бы на смерть?

Игнатий Иванов с неприятным удивлением подумал, что такой идеи у него нет.

— Понимаешь, все говорит о том, что это не простое ограбление, — продолжал Кутищев. — Да ты сам рассуди. Проще было бросить твой труп на дороге и по-быстрому смыться с места преступления. Логично?

Иванов согласно кивнул головой, хотя слово «труп» его сильно покорибило.

— А теперь скажи мне, на кой черт нужно было, рискуя попасться кому-нибудь на глаза, тащить его сюда на гору, хоронить в склепе? Значит, должна быть какая-то иная причина... Или цель. Подумай хорошенько. Уж не собирался ли ты совершить что-нибудь такое, чего не прощают?

— Кто? Я?..

— Ты! — Спецкор Кутищев порывлся в своем гробу и извлек из него бутылку. — Подкрепиться хочешь?

Иванов отрицательно замотал головой.

— И правильно! Алкоголь дезорганизует. И волю угнетает. К тому же, это литературное вино, а ты пока что не литературный персонаж.

— Не понял, в каком это смысле?

Кутищев отхлебнул прямо из бутылки и, блаженно развалившись в своем гробу, воззрился куда-то в воображаемую даль.

— Тебе многого сейчас не понять, старина, — сказал он. — Я вот тоже жил себе да поживал, и только уже помирая, вдруг понял, что день моей смерти на самом деле был днем моего рождения. Так-то вот.

— Что за вздор!

— Вздор? Хорошо, я расскажу тебе мою историю.

Спецкор Кутищев еще раз приложился к бутылке, потом неспешно закурил сигарету, не предлагая Иванову, поскольку, очевидно, и сигареты у него были литературными. Поудобней уместившись в жестком гробу, он начал свой рассказ.

## **КУТИЩЕВ ФУРИОЗО**

— Случилось это лет десять-пятнадцать назад. Я был совсем молодым литературным героем или персонажем — это уж кому как больше нравится. Мой создатель, имени которого я называть не стану, поскольку оно все равно тебе ничего не скажет и ничего существенного не прибавит к моему повествованию, но которого я и по сей день считаю своим лучшим другом, подготовил для меня амплу журналиста, специального корреспондента, не уточнив, правда, какого именно печатного органа. Но это не так уж и важно. Очевидно, для него важнее были определенные качества характера, свойственные людям моей профессии: легкость на подъем, находчивость, оптимизм и напористость. Так вот, мой друг был писателем, и пускай произведения его нигде и никогда не публиковались, в моих глазах он был настоящим Классиком...

При этих словах Игнатий Иванов вздрогнул и, вытянув шею, всем телом подался вперед.

— Истинно говорю, — продолжал Кутищев. — Придет время, и его оценят по достоинству. Но в те памятные дни жизнь его складывалась очень непросто. Жил он впроголодь, редко покидал свою квартиру, не заводил новых знакомств, да и старые перестал поддерживать, но, что хуже всего, он потерял прежнюю уверенность в себе, и, как говорится, музы, заскучав, покинули моего бедного друга, унеся с собой вдохновение, взамен оставив пустоту и разочарование. Можно сказать, что друг мой был самым несчастливым человеком в мире. В конце концов, сны его стали подменять ему действительную жизнь. Дни и ночи он проводил на своем старом диване или в кресле, погруженный в прорастацию, а когда, наконец, приходил в себя и хватался за перо и бумагу, дабы воссоздать прекрасные видения, то с острейшей горечью осознавал свою полную беспомощность. Вскоре он начал убеждать себя в том, что виденное вообще невозможно передать словами. И главное, незачем! Так у него впервые проявились симптомы глу-

бокого эскапизма. Для меня это было совершенно очевидно... Да, — печально вздохнул спецкор Кутищев. — Кто знает об истинных страданиях артиста? И кто виноват в них?

Невольно Игнатий Иванов отшатнулся, как бы давая понять, что он не виноват.

— Никто не знает и никто не виноват, — заключил Кутищев. — И в этом, вероятно, одна из самых трагических сторон нашей жизни. Когда виновных нет, с человеком остается его стоицизм и гордое сознание долга и правоты. Но несут ли они ему успокоение, если, обладая вещами столь благородными и совершенными, он, тем не менее, продолжает с каким-то маниакальным упрямством мучить себя и других одним и тем же вопросом: зачем *всё это*? Не буду скрывать, в те времена и я был не на высоте. Не раз я имел глупость расхваливать всяческие преимущества своей профессии: дескать, я вот могу написать, о чем угодно, и рука не дрогнет, а он, мол, хоть и Классик живой, но есть для него запретные темы. И чего будет стоять вся эта его хваленая художественность, к которой он так стремится, если тема не его и справиться с ней он не может? И чего будут стоять все те непомерные усилия, затраченные на ее достижение, если к великолепным, сверкающим лаком купейным вагонам не пристегнуть черный от копоти паровоз, который благополучно доставит весь состав в пункт назначения? Да, ты прав, старик, я был глуп и самоуверен. Но, понимаешь, во мне не звучал тот трагический колокол, когда душе кажется, что она гибнет. Я-то мог писать. А мог и не писать... И вообще я мог заниматься чем угодно, особо не задумываясь, нужно ли это мне или кому-то еще. Я бесстыдно упивался своей всеядностью, а она была поистине ненасытной. Повсюду я чувствовал себя как рыба в воде и, одновременно, ни к чему не был привязан. Вот тогда-то мой друг мне и сказал: «У каждого человека должна быть какая-нибудь святыня. Имеющему святыню незачем бахвалиться своей ловкостью, тем более если она заменяет ему знание и понимание предмета, не говоря уж о таланте. Надо сделать выбор и самому стать избранныком. «А я уже выбрал! — отвечал я ему. — Я выбрал свободу!», на что он мне возразил, что человек свободен лишь страдать за свою святыню или умереть за нее, во всем остальном он не свободен. «Нет в тебе свободы, — сказал он. — Ты суетен и делаешь не то, что можешь, а можешь не то, что должен. Вот когда ты скажешь: я *должен*, тогда и освободишься



по-настоящему, ибо познаешь страдание...» И, черт возьми, он был прав! Но в то время я не мог этого понять. И страдать я совсем не хотел. Ну, аж никак! Путь к свободе через так называемое страдание представлялся мне диким и совершенно бессмысленным. Так что, если я и потащил моего друга в одно проклятое место, то только для того, чтобы встряхнуть его как следует, не более. Да и потом я был уверен, что мы ничем не рискуем... Короче говоря, прибыв на это место, стали мы писать книгу...

— Книгу? — удивился Игнатий Иванов, у которого рассказ Кутищева до этого момента не вызывал никаких особых чувств.

— Ну да, книгу, я же и говорю. И не просто какую-то там книгу, а «Книгу Книг». Но когда мы начали ее писать, такая пошла кутерьма, что в глазах зарябило! Ох, и не хотел бы я пройти через такое второй раз!..

— Постойте! — закричал Иванов, вскакивая со своих корзин. — Вы сказали: «Книга Книг»?.. Но это же Классик!

— Конечно, Классик! Я же сразу сказал.

— Боже мой! Боже мой! Вы не понимаете! Это же мой друг! Это он подарил мне перстень с лунным камнем, который у меня украли!.. Где он? Что с ним? Отвечайте же!..

— Перестань мельтешить! — неожиданно повелительным тоном остановил его Кутищев. — Или ты сядешь и дослушаешь до конца, или больше не дождешься от меня ни слова.

Раздосадованный Иванов с размаху сел на корзины, и пока Кутищев рассказывал дальше свою историю (которая, по мере развития ее сюжета, становилась все менее правдоподобной, но зато все более увлекательной), едва сдерживался, чтобы снова не вскочить на ноги и не засыпать его вопросами. В истории этой самым невероятным образом смешались: стрельба, погони, какой-то театральный режиссер с изумрудным моноклем в глазу и страховитая тетка с газовым фонарем, босоногий блюстителъ порядка с большим черным пистолетом и гибрид кота и мыши. Правда, к концу повествования Кутищев несколько запутался и никак не мог вспомнить доподлинно: отравили его все-таки или просто расстреляли. Так до конца и не определившись, он с ироничной улыбкой истинного философа заметил, что в нынешнем его положении это уже не имеет никакого значения, с чем, в общем-то, трудно было не согласиться. Но одно не укладывалось в голове Иванова: то удовольствие, с каким спецкор Кутищев го-

ворил о своей якобы смерти. Что это? Извращение, фанатизм или обыкновенное помешательство? Чудной человек этот спецкор Кутищев!

— Осознавал ли я всю глубину своего безрассудства? — с упоением рассуждал тот. — Скажу честно: нет! Я просто купался в нем! Прозрение наступило, конечно, но не сразу... Видишь ли, поначалу я был искренне уверен, что это такая игра. Необычная, странная, временами страшная... Да что там говорить! На игру это вообще не было похоже... Но почему-то я был абсолютно уверен, что это игра. И вот, как последний лох, я начал в нее играть, да еще и друга своего потащил за собой! Но чем дольше она длилась, тем яснее мне виделся ее трагический финал. И ведь что удивительно, вообрази: тебя ведут на эшафот, но при этом никто тебя за руки не держит. Более того, вежливо подсказывают, что еще можно прямо сейчас свернуть налево или направо и тем самым спасти свою шкуру. Ан нет! Почему-то ты все делаешь наоборот! Ты гордо игнорируешь услужливые подсказки врагов, упрямо продолжая свой смертный ход, и так же играючи всходишь на эшафот. И, в конце концов, добиваешься того, что тебя считают уже не просто дураком, но дураком чрезвычайно опасным, поскольку складывается впечатление, будто ты ни в грош не ценишь свою жизнь, и даже из собственной смерти готов устроить фарс, в отличие от рядовых сограждан, которые ведь тоже умирают каждый день сотнями тысяч, но незаметно, втихаря, не привлекая к себе излишнего внимания общества. Умирают преимущественно не по своей воле, не потому, что хотят они этого или не хотят, а потому что пришел срок — и точка. И сказать им нечего, и выслушать их некому. Ну, а тебе надо доигрывать, раз уж взялся. Хотя, в эту самую минуту ты уже понимаешь, что никакая это не игра, да и может ли жизнь — твоя жизнь! — быть спектаклем? Твои враги думают, что ты не видишь, как они пользуются твоей доверчивостью и честностью, и нагло смотрят тебе в глаза, зная наперед, что ты не свернешь, не остановишься... Да, старик, вот так я и умер. К сожалению, никак не могу вспомнить точно: отравили меня или расстреляли? Легкомысленно, конечно, не помнить такое, но что поделаешь.

— Так, значит, в отличие от вас, Классик остался жив? — дождавшись паузы, спросил Иванов; в нем нарастало чувство, похожее на разочарование и, одновременно, на злость: оказывается не такой уж он и святой, его друг Классик, каким он ему до сегодняшнего дня представлялся.

— Слава богу, живой.

— И как вы оцениваете этот факт с нравственной точки зрения? Как он мог допустить, чтобы вас... — Иванов не закончил предложение, он почему-то никак не мог вымолвить это проклятое слово «убили».

Кутищев рассмеялся, чем немало задел Иванова за живое:

— А причем тут нравственность? Мы же делали одно дело. Просто я погиб, а он нет. Вот и вся нравственность.

Видя, что Иванова такое объяснение не удовлетворило, он добавил:

— Понимаешь, старина, вся штука в том, что у моего друга с жизнью были свои особые отношения, в которых я мало что смыслил. Думаю, существовал между ними какой-то негласный договор, связь тонкая, незримая, но нерасторжимая. Любили они друг друга, что ли... Меня же изводила жажда действия, поступка. Как и многие другие, я путал поступки с самой жизнью, тогда как они — лишь визуальный образ ее. Пусть и необходимый, но образ. Жизнь — это гораздо больше, чем поступок. Получалось, что я жил ради поступка, то есть ради какой-то красивой картинки, изображающей жизнь. Вот и выходит, что лет десять назад я исчерпал свой «визуальный образ», о чем совершенно не жалею, ибо сделал все, что мог. Это же ясно! Поступок сиюминутен, и совершаться он может как во имя жизни, так и во имя смерти, а жизнь — вечна, потому что вершится ради самой себя.

— Какое благодущие! — воскликнул Игнатий Иванов. — Вас убили, а вы что же? Не станете же вы отрицать справедливость, возмездие, уголовное право, в конце концов! Налицо преступления. Виновные должны быть наказаны.

— Послушай, кого и за что наказывать? Актеров за блестяще сыгранные роли? Это смешно. Кто-то совершает поступок, кто-то отвечает на него другим поступком, кто-то гибнет, кто-то выживает, а кто-то пожиная плоды. Сложи все вместе — получится жизнь. Тут ничего не изменишь. А юриспруденция, как правило, является постфактум, такова уж ее природа.

Иванов медленно встал с корзин.

— Это же... — он никак не мог найти нужное слово. — Это же чистой воды имморализм!

— А иметь несколько жен морально? — парировал Кутищев.

— Откуда вам известно?

— Ха! — Кутищев хитро подмигнул. — Просто догадался...

Прошло полчаса, в течение которых узники не перекинулись ни единым словом. Первым нарушил это напряженное молчание спецкор Кутищев.

— Ладно, старик, расслабься, — сказал он примирительно. — Мне нет никакого дела до твоих жен. Существуют вещи и поважнее. Там, за корзинами, на которых ты сидишь, есть тайный проход. Если отвернешь камень, ты его увидишь.

— Тайный проход? — насторожился Иванов. — А куда он ведет?

— Нет-нет, я, конечно, не аббат Фариа, да и ты не граф Монте-Кристо, — Кутищев плутовато сощурил глаза. — Ты когда-нибудь слышал о «дырах святого Патрика»?

Иванов иронично ухмыльнулся:

— Это что, одна из них?

— Нет, старик. Но когда-нибудь в память обо мне ее назовут «Дырой святого Кутищева». Можешь мне поверить! Впрочем, сейчас не это важно.

— А что важно?

— Пустые бутылки видишь?

— Ну вижу.

— Так вот с них все и началось. Не с этих, конечно. Эти пару дней назад молодежь накидала... Я когда впервые сюда попал, тут пустых бутылок из-под вина склад целый был. Жаль, конечно, что пустых: в моем положении напиться было бы в самый раз! Ну, да видать, не судьба... И пока я, лежа вот так в гробу, размышляя над своей печальной участью, бутылки начали как-то странно дребезжать. Сначала я подумал: землетрясение. Но потом... Ты не поверишь! Да я бы и сам не поверил, если бы мне кто-то такое рассказал!

— А что случилось?

— Да уж случилось... Хочешь — верь, хочешь — не верь, но факт остается фактом: бутылки эти хреновы прямо на глазах стали, как бы это сказать... не то принимать вид, не то отливаться... короче, превращаться в эдаких коней стеклянных, а потом один за другим в ту дыру нырять... Тогда я подумал, что не только умер, но еще и с ума сошел. Тебе смешно? А мне было совсем не до смеха! Таким способом они, кони эти бутылочные, отсюда и улизнули. Ну, а я, не будь дурак, шмыг за ними, в ту дыру — деваться-то все равно было некуда. Не помню, сколько времени я, аки червь незрячий, пробирался сквозь узкую нору, а когда

вылез наружу, очутился на высоком холме. Смотрю — табун мой на месте, пасется, полупрозрачный такой, остекленелый, — в общем, бутылочная природа сказывается. Но зато какали они, заметь, янтарем! Ну, короче, схватил я первую попавшуюся хвостину вместо хлыста и давай выпасать их. Так я стал пастухом. Не скажу, что дело было из легких. Иногда кони сталкивались между собой и разбивались вдребезги. К тому же, я довольно скоро уставал, если двигался слишком быстро. Воздух там был густым и плотным, как желе. Ни ветерка, ни малейшего дуновения. В пыльном небе неподвижно висели птицы с распростертыми крыльями, и когда я ходил по холму, с усилием раздвигая и колебля вязкое пространство, они подрагивали в небе, словно насекомые в паутине... Но это еще полбеды. Внизу, под холмом, раскинулся большой город. Станный, очень странный город...

— Станный город? — переспросил Игнатий Иванов, чувствуя, как перехватывает у него дыхание.

— Это еще мягко сказано, старик. Однажды мне наскучило быть пастухом и питаться одними ягодами и грибами. Я так отощал, что одежда на мне висела. Что-то надо было срочно предпринимать. Оставив своих бутылочных коней пастись самостоятельно, я спустился с холма в город в надежде найти какую-нибудь работу и начать новую жизнь. Так сказать, жизнь после смерти. — Кутищев иронично перекрестился. — И вот тогда-то я и столкнулся с его странностями. Названия улиц, жизненный уклад, поведение горожан, их деяния — все было как бы наизнанку, шиворот-навыворот, хотя внешне сам город не отличался от того, в котором я прожил всю свою предыдущую жизнь...

— Что вы имеете в виду?

— Да вот хотя бы тень!.. Первое, что привело меня в полное замешательство, это совершенное отсутствие тени у людей и предметов. Я обнаружил это необыкновенное свойство здешнего бытия, когда голодный и злой брел по улице Кончарной (так, судя по указателям на домах, теперь называлась наша Гончарная!), а выскочившие из подворотни чумазые дети с улюлюканьем и криками «Привидение! Привидение!» принялись бросать в меня камнями. Так что пришлось уносить ноги....

— Но почему дети приняли вас за привидение? — удивился Иванов.

— Да потому, что у меня, в отличие от них, тень была! Это обстоятельство меня потрясло. Кто бы мог подумать, что собст-

венная тень может превратиться в неразрешимую проблему! Люди оборачиваются на тебя в изумлении, сторонятся, как чумного, показывают пальцем. Повсюду тебя подвергают жестокому осмеянию, презрению и гонениям. Эх, старик, знал бы ты, сколько несчастий принесла мне моя тень! Желание спрятаться куда-нибудь, чтобы меня никто не видел и не слышал, стало таким же постоянным, как чувство голода. И если бы позволено было отрубить свою тень, я сделал бы это не задумываясь, — вот до какой степени отчаяния я дошел. Но это уже позднее. А сначала я вполне чистосердечно пытался освоиться с новыми условиями жизни, если весь этот абсурд можно назвать «жизнью». Вскоре обнаружилась еще одна досадная нелепость: уличные и фасадные часы в разных местах города показывали разное время. Так, например, на Трещакике, то есть, Крещатике по-нашему, одновременно в трех местах — на башне Просюфозов, на Плавгочтамте<sup>1</sup> и на Поццарапке, в смысле Бессарабке, — часы неизменно показывали, соответственно, без пяти три, восемь минут восьмого и половину двенадцатого. И хоть убейся!.. Так я пришел к выводу, что времени здесь вообще нет. С этим удивительным обстоятельством было связано бесчисленное множество недоразумений. Так, ручные часы горожан указывали на самое разное время суток, что, понятное дело, являлось чистой формальностью, ибо из-за отсутствия времени как такового все равно невозможно было ни встречу назначить, ни хоть какого-нибудь расписания придерживаться, ни вообще что-либо планировать. Я, конечно, не желал мириться с таким положением вещей. Раз уж у меня была тень, то и время на часах должно было иметься в полном объеме. Но когда я стал заводить свои наручные часы, то, к изумлению своему, обнаружил, что на них нет стрелок! Черт его знает, куда они могли подеваться! Скорее всего, я потерял их, когда мы с Классиком писали нашу «Книгу Книг». Так я подумал. Во всяком случае, это было самое разумное объяснение. Другое дело, что оно меня не очень-то успокаивало... Короче говоря, поскольку время как таковое в этом городе отсутствовало, мои поиски работы грозили стать бесконечными. Я везде получал отказ и, что самое обидное, без каких-либо объяснений причины. Правда, в редакции одного толстого

---

<sup>1</sup> Очевидно, Кутищев имеет в виду башню Дома профсоюзов и Главпочтамт. — *Примечание Издателя.*

литературного журнала мне довольно холодно пояснили, что у них в штате даже уборщицы — все как один члены Поюза сипателей. Они, очевидно, имели в виду Союз писателей. Черт возьми! Я не был сипателем и за всю свою жизнь не насипал ни одной, даже самой захудалой книжонки. Тогда я отправился обивать пороги городских газет, утренних и вечерних, хотя никто из принимавших меня не имел ни малейшего представления о том, что такое утро или вечер. А когда я пробовал заверить их, что я спецкор Кутищев и являюсь членом Поюза жмуралистов, меня просили покинуть помещение и не отбрасывать тень на отечественную жмуралистику... И только в одном месте, на какой-то радиостанции, где оказалась вакантной должность резыкального мудактора, то есть, по-нашему, музыкального редактора, меня встретили любезно — я бы сказал, вызывающе любезно, будто на прочность проверяли, — и даже угостили кашечкой чофе, в смысле, чашечкой кофе. Но, увидев, как нагло я отбрасываю тень, ревный гладактор, он же главный редактор, замахал на меня руками. «Да у вас же тень! — орал он, словно речь шла о бубонной чуме. — Да как вы смеете?!» — «Тень, хрень! — отвечал я, из последних сил стараясь сохранять миролюбивый тон. — Что тут такого?» — «Да вы что, челодой маловек? Это очень, очень нехорошо! Вы к рвачу обращались?» — «К кому?» — не понял я. «Сейчас мы вызовем “скорую беспомощь”. Вас должен обследовать рвач. Вы можете быть заразным!..» Я и глазом моргнуть не успел, как оказался на улице Хворива, то есть Хорива, в дежурной клинике «скорой беспомощи». Слава Богу, у самых дверей кабинета рвача мне удалось вырваться из цепких рук сатаниров, то есть санитаров, и я дал такого трескача, в смысле стрекача, что сам себе поразился... Ну, разумеется, беды мои на этом не закончились. Скорее, наоборот. Как я уже говорил, всё в этом городе было шиворот-навыворот. Блюстители порядка, например, учиняли пьяные дебоши и драки с поножовщиной, приставали к прохожим, хамили им, а в довершение — грабили, за что прохожие их арестовывали и упекали в кутузки. Алкаши прямо под магазинами били бутылки с водкой. Представляешь? С размаху об асфальт — бац! бац! И гогочут!.. Да где ж такое видано? Потом в каком-то парке меня занесло в «Комнату греха и смеха». Я видел там человека, на голове которого горела шапка-ушанка. Он швырнул ее на пол и принялся яростно топтать ногами, пытаясь загасить пламя. По комнате пополз густой смрадный дым, а присутствующие при этом хохотали.

тали до слез. Некоторые, правда, жалели шапку: хорошая, мол, такая шапка, меховая. А когда человек собрался уходить, из его карманов со звоном посыпались золотые монеты. И никто почему-то не подумал, что деньги — ворованные... Потом еще на Хужемяцкой — так местные называют улицу Кожемяцкую, — где я, мучимый жаждой, тщетно пытался найти хоть один работающий бювет с артезианской водой, меня долго донимал глухой болтовней какой-то филессор парасофии. Что это такое, до сих пор не знаю. А как-то раз иду по Яровалову Сралу, то есть по Ярославову Валу, и вдруг нащупываю в кармане пиджака какую-то мелочь. Гляжу — тридцать копеек. Вот, думаю, повезло! Залетаю в первый попавшийся продуктовый магазин, чтобы купить кусочек колбаски и булочку за три копейки, и что же я вижу? Люди в очереди стоят с полными корзинами и один за другим вываливают на прилавок — кто колбасу, кто сыр, кто консервы или свежую рыбу, а продавщицы всё это взвешивают на весах и взамен выдают деньги. Так, голодный, ни с чем и ушел... Да, старик, что тебе сказать! От постоянного голода я так озверел, что, помню, на улице Стервецкой — Стрелецкой по-нашему — напал на какого-то бездомного кота, который томно склонился над валявшимся прямо на тротуаре кольцом ливерной колбасы. Котяра слишком долго облизывался и урчал, так что напрочь потерял всякую бдительность, чем и спровоцировал меня на этот не самый красивый поступок в моей биографии. Ну, я эту колбасу хватать — и был таков! Гадость, конечно, редкостная, но ведь и голод не тетка. Запихал я этот гнусный ливер за обе щеки, и так, с набитым ртом, выруливаю на Пльовскую вобщадь, то есть на Львовскую площадь. От еды меня какая-то эйфория охватила. Вконец обнаглел! Захожу в Хом домушника, в смысле Дом художника... Может, я и не зашел бы, если бы не афиша, которая гласила:

### ПРЕДСМЕРТНАЯ ВЫСТАВКА НЕИЗВЕСТНОГО МЕРТВОПИСЦА

Заинтриговала меня эта афиша, пропади она пропадом! Короче: художественная богема вокруг расфуфыренная толпится, ноги друг другу оттаптывает. Все сквернословят, как грузчики, хлещут водку и в картины плюют. Тут на середину зала выходит какой-то плешивый очкарик с ведром, в котором через край какие-то помои плещутся, и берет слово. Самым кошунственным



образом он разбрызгивает эти помои на уже основательно заплеванные картины, оскорбляет последними словами автора, имя которого, между тем, ни ему, ни остальным присутствующим совершенно не известно. А поизмывавшись вдоволь, запускает пустым ведром прямо в беснующуюся толпу и объявляет выставку закрытой. Оглушительные аплодисменты, свист, матерщина такая, что под ложечкой сосет! Наконец выходит и сам автор — неизвестный мертвописец с тем самым ведром на голове. Он раскланивается и что-то бухтит в свое ведро. Понять ничего невозможно... Его обступают поклонники, поздравляют, по ведру похлопывают. Какой-то дурень в смиренной рубашке к нему протискивается. «Я сумасшедший! — кричит. — Я сумасшедший! Немедленно развяжите меня, я должен одну картину кислотой облить!» — «А можно две?» — интересуется плешивый очкарик. «Я сказал: одну!» — рычит сумасшедший. И что ты думаешь? Его таки развязывают! Тогда он подскакивает к одной из картин, на которой из-за плевков ничего не видно, и начинает поливать ее из пульверизатора какой-то вонючей жидкостью, а все кричат: «Ура! Ура!» Ну и я, представляешь, тоже ору, чтобы не выделяться. «Арестовать!» — радостно приказывает плешивый очкарик. Ну, думаю, сейчас этого вандала упакуют, как положено! Но что же я вижу? К сумасшедшему подруливают двое блюстителей порядка, пьяных вдрызг, с фуражками набекрень, и протягивают ему наручники. И этот сумасшедший надевает «браслеты» по одному на руку каждому из блюстителей и гонит их пинками к выходу. Зрелище, скажу я тебе, не для эстетов. Ну, к тому времени ливер у меня во рту окончательно рассосался, и я поспешил убраться с выставки, пока бомонд не заметил, что у меня имеется тень... Кстати, может, когда-нибудь напишешь об этом поэму, а? — спросил Кутищев, поднимая на Иванова свои, полные грусти голубые глаза. — Ты же как-никак поэт.

— Почему бы вам самому этого не сделать? — осторожно возразил Иванов, предложение застало его врасплох.

— Потому что я сам, если можно так выразиться, «написан».

— Не знаю, что вы имеете в виду... но это ваша история, а не моя. И потом, я не очень люблю...

— Да ладно тебе, — перебил Кутищев. — Настоящий поэт — он ведь своего рода клептоман: ворует у всех, даже у богов. И как настоящий клептоман, ничего потом не помнит.

— Оригинальное определение поэта!

— А почему бы и нет?.. Я же не спрашиваю, настолько ли ты владеешь искусством рифмы, чтобы осиять человека, и ведомы ли тебе секреты слов, те секреты, зная которые можно и лечить, и калечить.

Игнатий Иванов ничего на это не ответил. Собственно, не было у него никакого ответа, и от этого он почувствовал себя уязвленным.

— Ладно, слушай дальше мою историю, — сказал Кутищев, лукаво подмигивая. — Как знать? Может, когда-нибудь ты и облечешь ее в певучие стихи, а? — Лицо его приняло серьезное выражение. — Так, значит, иду я, брежу себе по безлюдному Каиновскому недоулку<sup>1</sup>, уж и сам не знаю, куда, тоска меня гложет. И день не сменяется ночью, и на небе ни солнца, ни луны, одна муть пыльная. Жить не хочется, и умирать уже вроде как некуда. Господи, думаю, как же это меня угораздило? Что я здесь делаю?.. И вдруг слышу за спиной конский топот. Ага, думаю, мои бутылки меня нашли... Оборачиваюсь — прямо на меня всадники мчатся! Не менее сотни. Я так и обмер. Подскакивают, окружают со всех сторон — сами с ног до головы в броне и вооружены до зубов, не то, что я. Смотрят сурово и молчат. А у меня аж пот по спине! Ну, думаю, это же надо, чтоб так не везло: из огня да в полымя! И пока я во второй раз прощаюсь со своей горемычной жизнью, воины расступаются, и вперед на белом породистом скакуне выступает дева красоты несказанной: вся в алой парче, волосы — чистое золото. Соскакивает она со своего коня и — прыг мне на шею!.. От неожиданности я так и рухнул вместе с ней на землю. А она кричит мне прямо в ухо: «Роланд, любимый мой! Я нашла тебя! Прекрасный мой Роланд!» А рыцари за ее спиной как завопят хором: «Аой!» Думал, оглохну. «Женщина, — отвечаю я ей. — Вы меня с кем-то пугаете. Я — Кутищев». Но женщина и слушать не желает. «Ничуть не изменился, — говорит. — Все так же статен и прекрасен, рыцарь мой!» Ну, сам понимаешь, кому же не приятно такое о себе слышать? Я, конечно, слегка поплыл, особенно после всех моих последних злоключений. А рыцари снова: «Аой!» — и кони их храпят, и колокольчики серебряные на сбруе позванивают. «Ты что, не узна-

---

<sup>1</sup> Очевидно, имеется в виду «по Кияновскому переулку». — *Примечание Издателя.*

ешь свою возлюбленную Альду, невесту верную свою?» — спрашивает красавица, а сама молнии глазами так и мечет. Я уж хотел опрометчиво возразить, что отродясь в женихах не ходил и женатым никогда не был, но заметил свирепую напряженность в лицах рыцарей, их руки к мечам булатным потянулись. «А это друзья твои и соратники, — продолжала она. — Неужто и их не узнаешь? Вот брат мой Оливье с мечом своим Альтеклером, и Турпин, архиепископ Реймский, и Гефье, герцог Бургундский, и старик Жерар из Руссильона, и Ансеис спесивый, и Беранже, и Ринальд Монтальванский на своем Баярде...» Красавица еще долго перечисляла сопровождавших ее пэров, как она называла этих якобы моих соратников по битве в Ронсевальском ущелье, где, как я понял из ее речей, все мы дали дуба от рук коварных мавров...

— Пойдите-ка! — не выдержал Иванов и вперил в Кутищеву уличающий взгляд: неожиданно в нем пробудился хищный полиглот и эрудит, словом, филолог. — А позвольте узнать, на каком языке вы общались? Неужели на старофранцузском?

— Да каждый на своем, — не моргнув глазом, ответил Кутищев. — В том-то и фокус! А тут еще эти пэры, видели бы вы их! И, как назло, никого из них вспомнить не могу. Ну, думаю, надо как-то выкручиваться, не то порубают меня в лапшу. «Память у меня отшибло, — отвечаю, хватаясь за голову как можно трагичнее. — Это случилось после того, как меня отравили или расстреляли... Точно не помню». — «А это что за шрам? — спрашивает Альда, нежно касаясь губами моей щеки. — След мавританского меча?» — «След когтя Лаврентия Печерского, — отвечаю я, млея от неожиданного удовольствия, и зачем-то добавляю: — О Альда!» — «Должно быть, он могучий рыцарь, этот Лавр Печерский, коль смог оставить след на лице самого Роланда». Несколькими секундами я пребывал в полном замешательстве и пытался собраться с мыслями. «Он не рыцарь. Он — Котомыш», — пояснил я. «Чудовище?» — «Еще какое!» Альда ненадолго задумалась, а потом сказала: «Чудовищ много довелось мне повидать, пока я странствовала по вселенной, в надежде разыскать тебя: и андриаков, и гиппогрифов, и мантикор, но Котомыша ни разу не встречала». Потом она поинтересовалась, нет ли где поблизости какого-нибудь дерева влюбленных. Я понятия не имел о существовании таких деревьев. Видя мое недоумение и, очевидно, списывая его на мое, так сказать, посттравматическое беспомыслие,

Альда любезно растолковала, что это такое особое дерево, под которым милуются влюбленные. Оно должно быть обязательно старым и раскидистым, давать много тени и расти в стороне от людных мест. «Право, не знаю, сударыня», — сказал я, почесывая затылок, а про себя соображая, где бы я мог видеть в этом странном городе подобное дерево. И тут Альда говорит дословно следующее: «Возлюбленный господин мой! Не ты ли сам, уходя в поход в земли Испанские, утверждал, что истинная любовь всегда окутана тайной? О ней никто не должен знать, никто не должен сплетничать или судить. И лишь поэтам позволено слагать о ней прекрасные поэмы... Не ты ли это говорил?» Признаться, я был сильно озадачен. «Ну, так как? Есть такое дерево?» — повторила она свой вопрос, не давая мне опомниться. «А зачем оно нам?» — брякнул я, чтобы потянуть время. «Как зачем? — изумилась Альда. — Мы расположимся в его густой тени, мой возлюбленный рыцарь, и будем пить вино и вкушать сочные плоды, как в былые времена. И ты будешь рассказывать мне о своей любви, а кто-нибудь из моих поэтов будет подглядывать и подслушивать, дабы потом увековечить наше свидание в сладкозвучных песнях». Затем она нежно поцеловала меня в уста сладкие и не без кокетства добавила: «И брат мой Оливье больше не будет против того, чтобы я делила с тобой брачное ложе. Я верно говорю?» — и она обернулась к одному из баронов, по самые глаза заросшему густой бородой. Тот слегка поклонился, но с коня не слез, а руку на рукоять меча положил. «Полный капец!» — подумал я и на всякий случай, чтобы не показаться провинциальным жлобом, самым куртуазным манером спросил, не в его ли честь назван мой любимый салат из картошки «в мундирах», докторской колбасы, соленых огурчиков, вареных вкрутую яиц и консервированного зеленого горошка, и вся эта роскошь — заправлена обильно майонезом? Братан Альды посмотрел на меня как на шута горохового, и ответом не удостоил. Невежливо, конечно, с его стороны, но я не стал обращать внимания, живо сообразив, что при таком раскладе — без коня, без меча, и один против дюжины мужиков, закованных в броню, — драка сложится не в мою пользу. Сестрица же его продолжала что-то жужжать про свое дерево любви. Тут я понял, что мне никак не отвертеться, и высказал предположение, что если такое дерево и существует, то, вероятнее всего, где-нибудь на окраине города. Долго мы скитались по пригородным лесам, но поиски

наши успехом не увенчались. И если честно, я был этому даже рад, поскольку совсем не умел говорить о любви. Единственным примечательным деревом, на которое мы набрели после нескольких часов бессмысленных блужданий, оказался вековой дуб, в который, судя по обгорелому стволу, угодила молния. На его оголенных ветвях осталась одна единственная почка, да и та мертвая. Под таким дубом, думал я, влюбленные не могут милиться. Какая-нибудь собака бродячая и та поостереглась бы под ним заднюю лапу поднять, чтобы помочиться. Помню, как в тягостном молчании стояли мы под этими останками некогда могучего богатыря, и я прямо спинным мозгом чувствовал, как благородные пэры начинают терять терпение. У меня вообще сложилось впечатление, что эти ребята настроены ко мне не слишком дружелюбно, и если до сих пор мне не отрубили голову или не повесили на этом засохшем дубе, то исключительно из глубочайшего почтения к прекрасной Альде и снисходительного отношения к ее женским капризам... «Пойдем отсюда», — предложила она, видимо, чтобы разрядить обстановку, с чем я, конечно же, немедленно согласился. «Не соизволите ли посетить Мирафлорес, сеньора?» — спросил один из членов свиты. Я сразу заметил, что он не очень-то в эту свиту вписывается. Конь под ним был отнюдь не боевой, а так, старая каурая кляча, которая едва не валилась с ног от усталости и прожитых столетий. Да и сам всадник обладал внешностью человека, с одной стороны, явно ученого, а с другой, судя по умению куртуазно выражаться, привыкшего к жизни придворного. К тому же был он безоружен и в жестах своих отличался чрезмерной манерностью. «Какой еще Мирафлорес? — возмущенно запротестовал другой член свиты, также отличавшийся от остальных: из-под его длинной, до пят, ржавой кольчуги выглядывала грубая монашеская ряса. — Нет никакого Мирафлореса и никогда не было!» — «Скорее, это вас, синьор, никогда не было», — вежливо возразил первый. «Что за вздор! А кто же, по-вашему, кроме меня, мог подписаться под моим собственным боговдохновенным сочинением? *Деянию конец. Турольд умолкнул...* Я — Турольд, клянусь Богом и всеми его святыми! И это я написал!..» Оба они готовы были хоть до второго пришествия продолжать свои словесные прения, в сути которых я ровным счетом ничего не понимал, но Альда довольно резко оборвала их и, обращая ко мне, сказала: «О благородный рыцарь мой! Тебя искала я по свету. И вот —

нашла. Была бы счастлива вполне я, но мысль одна мне не дает покоя и отравляет жизнь мою. Вот этот человек, — и она указала на первого, — поэт и устроитель зрелищ. Людовик Ариост, зовут его, и родом он из Реджо-нель-Эмилии. В писаниях своих он утверждает, что были вы мне не верны...» Должен тебе заметить, старик: когда женщина, которая несколько минут назад клялась тебе в страстной любви, ни с того ни с сего переходит с тобой на «вы» — это очень, очень нехороший знак... Ну, думаю, всё, крышка!.. Нет, я, конечно, слышал об итальянском поэте Лудовико Ариосто и о его поэме «Неистовый Роланд», которую, правда, не читал, но даже в кошмарном сне я не мог бы себе представить, что эта поэма имела ко мне хоть какое-нибудь отношение. «Он утверждает, — продолжала Альда, и глаза ее постепенно разгорались огнем холодным, а в голосе зазвучал металл, — что увлеклись вы некой Анджеликой, дочерью Галафрона, царя катайского, и повредились вы умом из-за любви греховной к этой деве ветреной и подлой, и предложили ей не только руку, но и сердце, обещанные мне когда-то привселюдно! Хочу от вас услышать, сударь, правда ли все это? Иль, может, лжет поэт?» От изумления я просто онемел. Стою как пень перед красавицей и не знаю, что и сказать. А она так и сверлит меня глазами, так и буравит. «Молчишь? — спрашивает, и я понимаю, что пришел мой смертный час. — Хорошо, пусть говорит поэт». — «Боже милостивый! — воскликнул Ариосто, обнажая голову и устремляя взор свой к небесам. — Не дай мне умереть!» На бедолагу больно было смотреть. «Не то ты говоришь, несчастный!» — гневно прервала его Альда. «Аой!» — угрожающе подтвердили рыцари. «Аой!» — громче всех выкрикнул Турольд. «О прекрасная синьора и вы, пресветлый рыцарь! — начал свою речь Ариосто, обращаясь к Альде и ко мне. — Я сочинял свою поэму, ведомый вдохновением, фантазией и Божьим провидением. На все воля Всевышнего, и коль не был я сожжен на костре как еретик, стало быть, труд мой являлся богоугодным и во славу духа человеческого. Поэзия, внушаемая нам свыше, имеет право, смею утверждать, на некоторый произвол, называемый художественным. А я — лишь скромный слуга Поэзии...» — «Ты клеветник и пустомеля, а не Поэзии слуга! — воскликнула Альда и, повернувшись ко мне, страстно вцепилась в мою руку: — Роланд, супруг мой, о где твой верный Дюрендаль? Пусть покарает он лжеца! Где Брильядор могучий? Пусть втопчет звонкую ци-

каду в землю!..» Я стоял и как баран хлопал глазами, совершенно не соображая, о чем меня просит разгневанная красавица. «Послушайте, барышня, — говорю я ей. — Произошла какая-то ошибка. Я совершенно не знаком с этим парнем, хотя краем уха что-то слышал о нем. Лично мне он ничем не насолил. И остальных парней, которых вы перечислили, я тоже не знаю. И не Роланд я никакой. Я — Кутищев, спецкор, в смысле специальный корреспондент. И здесь, в городе этом проклятом, я совершенно случайно... Проездом, в каком-то смысле...» Похоже, моя тирада потрясла Альду. Она вся побледнела и залепетала таким слабым-слабым голосом: «Мне странны эти слова... Как жить, коль нет Роланда?» — «Пусть дунет в Олифан! — предложил один из рыцарей, кажется, это был обиженный мной Оливье. — Сейчас мы всё узнаем». — «Аой!» — взревели остальные. Тут же внесли огромный рог, вырезанный из слоновой кости... Ну, в общем, пришлось мне дуть в этот рог. Он оказался с трещиной, и поэтому, как я ни тужился, ничего благозвучного не вышло. Хуже того, вместо рога прозвучал я сам, и притом не с лучшей своей стороны. Да, согласен: позорный вышел конфуз. Но он-то и стал решающим доказательством того, что я спецкор Кутищев, а не рыцарь Роланд, уж и не знаю, смеяться тут или плакать.

Кутищев поменял позу в грубу, потер рукой затекшую шею и виновато улыбнулся.

— В общем, отпустили меня с миром. Странно, но почему-то это не принесло мне облегчения. И это стало для меня полной неожиданностью! Расставшись с Альдой, я шел прочь, не видя под собой дороги, а из глаз лились слезы, прямо ручьями — сами собой... И я ничего не мог с этим поделать. И никого не было рядом, чтобы поддержать меня и хоть немного утешить. Потом долго еще, одинокий, бродил я по чуждому мне городу, не представляя, куда и зачем идти и что делать дальше. Образ прекрасной Альды все время стоял у меня перед глазами. Это было ужасно! Прямо наказание какое-то. Я вспоминал ее небесные глаза, волосы, и этот особый поворот головы, и голос — то нежный, то властный. Без нее жизнь моя стала пресной и бессмысленной. И тогда я понял, что безнадежно влюблен. Да, такой пакости я от себя никак не ожидал. С горечью я вспоминал, как смеялся над своим другом Классиком, точнее над его романтической влюбленностью в одну девицу, с которой мы случайно повстречались, когда писали «Книгу Книг». Он видел ее всего

раз, а вздохов было потом!.. И вот, нате вам, сам влип, как рас-последний олух. Тоска моя росла, и я не в силах был унять ее ничем. Это было похоже на смертельный вирус. Он иссушал меня, выедал мозг. Я чуть не свихнулся. Дошло до того, что однажды я подумал: «А может, я и в самом деле Роланд? Почему нет?» Я даже готов был еще разок-другой дунуть в Олифан, лишь бы доказать Альде и ее рыцарям, да и себе самому, что я — Роланд. Но, увы, поздно!.. Никогда я не чувствовал себя таким несчастным. Вот до чего дошло!..

— И вот, — продолжал спецкор Кутищев после небольшой паузы, — когда я был уверен, что все потеряно, колесо Фортуны совершило неожиданный поворот. И то, что представлялось мне концом моей истории, оказалось ее началом. Это было великолепно!.. Правда, потом меня отравили...

— Как, опять? — воскликнул пораженный Иванов. — Но вас один раз уже отравили!

— Старик, меня травили столько раз, что я со счета сбился. Так что в этом деле я кое-что смыслю. Можешь мне поверить. И чего только мне не подсовывали! Как-то раз, например, я выпил стакан газировки, в которую капнули всего-то одну капельку сока «плавающего лютика». Весьма примечательное растение, скажу я тебе. Это такая водоросль, в которой содержится большой процент фосфорной кислоты. Ощущение — не из приятных, будь уверен! Сначала у тебя горят огнем горло и желудок. А потом, когда, казалось бы, ты уже привык, у тебя слабеет зрение и начинает дергаться лицо. Но что забавнее всего, умираешь ты от безудержного, истерического хохота! Только хохот этот я бы просил не путать с сардоническим смехом, вызываемым *herba sardonica*... — есть такой род ядовитой петрушки. От нее у меня просто судорожно кривился рот. Но и это еще не все! Травили меня и собачьей петрушкой, и водой из Озера Смерти, что на Сицилии, и сатанинским грибом, и физиостигмином — это такой алкалоид, который добывают из семян калабарского боба, — и еще этим... как его... цикутоксинам — гадость эта, как известно, содержится в смоле корня водяного болиголова. Вкусил я и  $C_{21}H_{22}N_2O_{21}$ , — сильнейший яд, вызывающий судороги, столбняк и остановку дыхания... Про чилибуху слышал? А про бобы Святого Игнатия?..

Вместо ответа Игнатий Иванов в ужасе отшатнулся и взмахнул руками так, будто немедленно намеревался улететь.



— Ничего особенного, — успокоил его Кутищев. — Собственно, я хотел сказать, что как раз из них-то и добывают всем известный стрихнин. Да... Пичкали меня также строфантин, растворенным в водке, и мясом барракуды, приготовленном на гриле, и ядом Лернейской гидры, да и просто обыкновенным свинцом, слишком частое употребление которого, между прочим, приводит к сильным рвотам, поносу, нестерпимым болям в животе, опуханию рта, обильному слюнотечению, кахексии, малокровию, полному расстройству нервной системы и, в конце концов, к летальному исходу. Процесс умирания называется довольно красиво: сатурнизм. А один раз меня любезно угостили так называемым «султанским кофе» с измельченными в тончайший порошок и растворенными в нем алмазами. Пожалуй, история не знает более роскошного яда. Так что, как видишь, старик, на мне не сэкономили! Единственный яд, которым меня не травили — это Аква Тоффана, некая вода для притираний, предназначенная для неверных супругов, — думаю, скорее всего потому, что я никогда не был женат... Эх, что и говорить! — Кутищев тяжело вздохнул. — Везло мне в жизни на людей, у которых в натальной карте присутствовало соединение Луны со звездой Акраб — типичный аспект отравителей. Хорошо, конечно, если у тебя в кармане коробочка с териак, пузырек с лекарством царя Митридата или с любым другим элеминатором ядов, или, на худой конец, рог единорога... А еще лучше — никому не доверять. Ты и представить себе не можешь, как много отравителей на свете — таких себе, на вид неприметных и безобидных, а в душе коварных Локуст и Теофаний, Лопесов и Кастенов, — короче, всех тех, у кого в гороскопе имеется это фатальное соединение. Надо быть начеку, старик. Береженого Бог бережет... Впрочем, чтоб ты знал, лучшее противоядие — золото. — Резким движением руки спецкор Кутищев сорвал с головы соломенную шляпу; длинные волосы его рассыпались по плечам прядями чистого золота, и от их сияния в склепе стало светлее. — Понял? Если постоянно себе в пищу подмешивать золото...

— Золото? — изумился Иванов, прикрывая рукой слепящие глаза. — Где же вы его берете?

— Да повсюду!.. В росе, в травах, в воздухе... В дерьме, наконец! Золото есть во всем. Нужно только уметь его добыть. Конечно, я не вдруг этому научился, так что сначала пришлось

стереть в порошок и съесть свои золотые фиксы. Их у меня было две или три... А может, и четыре... Нет, кажется, две... Или три?... Сейчас уж не помню точно. Короче, нужно уметь защищаться. И помнить: легких путей не бывает.

От этой последней сентенции Игнатия Иванова заметно покорило.

— Да, прописная истина, — согласился Кутищев и снова надел шляпу. — Я и не спорю. Кстати, когда я снова увидел Альду...

— А, так вы снова встретились?

— В том-то и дело! Встретились мы в старинном парке на Чеперске, возле заброшенной башненапорной водни, то есть на Печерске, возле водонапорной башни. Не сговариваясь, мы упали друг другу в объятия и долго лобызались, и наперебой клялись в вечной любви, и я как на духу рассказал ей всю правду о себе и о том, как меня отравили в первый раз в ЖЭКе №30/3. Выслушав мою исповедь, она сначала прослезилась обильно, а потом, поразмыслив, сказала, что могло быть и хуже. «Куда уж хуже!» — воскликнул я в отчаянии. А она мне и говорит, ласково поглаживая по голове, словно капризного ребенка: «Благодари судьбу, мой рыцарь, что с тобой не поступили столь же унижительно, как с Розамундой: ее принудили выпить вино из черепа ее коварно убиенного отца и оставили жить с этим позором». Затем мы отпустили на все четыре стороны бедного итальянского поэта со всеми его фантазиями, Турольд также ушел восвояси, — и в сопровождении великих пэров и множества слуг отправились поживать в некий Замок. Уж не знаю, был ли то Мирафлорес, о котором упоминал синьор Ариосто. Находился он на древних Лодопьских Лохмах, в смысле на Подольских Холмах. Короче говоря, на Андреевском спуске.

— Нет там никакого Мирафлореса, — компетентно заявил Игнатий Иванов.

— Охотно верю, старик. — По лицу Кутищева скользнула тень печальной улыбки. — В этом Замке, как бы он там ни назывался, я прожил самые счастливые мгновения. И самые горестные тоже. — Он говорил задумчиво, растягивая слова. — Помню замковый сад, погруженный в дрему, помню башню, увитую плющом, с часами и маятником... Помню, как, обнявшись крепко, лицом к лицу, мы раскачиваемся на этом маятнике, будто на качелях, летаем вверх, вниз, и снова вверх... но как-то медленно-медленно, и легко, и невесомо, без боязни упасть, и деревья да-

леко внизу под нами то уносятся прочь, то летят навстречу... И впереди у нас вечность... Черт побери! — думал я. — Может быть, я и в самом деле рыцарь Роланд, герой Ронсевальской битвы, один из двенадцати пэров, племянник самого императора Карла Великого и, главное, суженый прекрасной Альды, а не какой-то местечковый спецкор Кутищев, бездомный бродяга с кучей неразрешенных проблем? Да, так я думал... Потом, помню, как мы стоим посреди сада-лабиринта, в самом центре его, и в Замок прибывают гости, и звучит музыка, и нас ожидает венчание. И тут я слышу за моей спиной чей-то взволнованный шепот: «Вас здесь ненавидят... хотят отравить. Видите, там, среди гостей, двое в черном?..» Действительно, среди множества богато и красочно разодетых гостей, в чудном сверкании сада эти двое — мужчина в черных доспехах, с искусственным глазом из зеленого стекла, и женщина с аквариумом вместо живота, в котором плавали дохлые рыбы, — выглядели так, словно пришли не на венчание, а на похороны. «Когда вам поднесут венчальную чашу с вином, не пейте, — снова услышал я тот же торопливый шепот. — Откажитесь! Под любым предлогом... А лучше — бегите немедленно!..» У меня даже мороз по коже пошел. Я почувствовал, как Альда крепко сжала мою руку. Вот так! — Кутищев вскочил на ноги и схватил руку Иванова. — Никогда этого не забуду!..

— Хорошо, хорошо! — прохрипел Игнатий, с немалым усилием высвобождая руку. — А что было дальше?

— Ну, стало быть, оборачиваюсь я назад, чтобы узнать, кто этот наш тайный доброжелатель, но, увы, вижу только его быстро удаляющуюся спину. И все же я узнал его, узнал! Это был Перетятько...

— Перетятько? — удивился Игнатий Иванов. — Этот певец человеческих увечий?

— Вы и его знаете? — в свой черед удивился спецкор Кутищев.

Иванов задумался:

— Теперь уж не уверен.

— До сих пор в толк не возьму, как он оказался в этом недороде, в этом Замке, — продолжал Кутищев. — Видно, уж очень хотел предупредить нас о смертельной опасности. А она действительно была смертельной. Но я никуда не побежал. Я остался вместе со своей Альдой. Да и мог ли Роланд, храбрый рыцарь,

броситься в позорное бегство? Ясное дело, не мог! К тому же, меня уже столько раз травили, столько чаш со всякими мыслимыми и немислимыми ядами довелось мне испробовать на моем веку, что я не очень-то серьезно отнесся к предупреждению Перетятки. И напрасно... Помню, как подошли мы к алтарю, помню, как столпились гости вокруг, как священник объявил нас супругами, помню, как мальчик-паж поднес нам чашу с вином и мы под дружные выкрики «Аой!» отпили из нее — сначала я, потом Альда... Помню помертвевшее лицо черного рыцаря, его медленно шевелящиеся губы, по которым я успел прочитать: «Ну что, ренегат вероломный, допрыгался?..» Помню холод... холод, пробирающий до самых кишок... А дальше ничего не помню... — Кутищев снова снял с головы шляпу, и волосы его полыхнули золотым пожаром. — Очнулся я уже здесь, в этом склепе, с которого, собственно, все и начиналось. Смотрю — вы лежите на полу, ни жив ни мертв, так сказать. Ну вот, собственно, и все.

Закончив рассказ, спецкор Кутищев допил свое, как он выражался, «литературное вино» и бросил пустую бутылку в угол, где пылилось еще несколько таких же.

— Что-то я притомился, — сказал он и стал укладываться спать в своем гробу. — Отдохнуть бы надо хоть немного. Да и тебе пару часов сна не помешает.

— А что потом? — спросил Иванов в некотором замешательстве от этих приготовлений Кутищева.

— Да кто ж знает, что потом? Отсюда выход только один.

— Я туда не хочу, — сказал Иванов. — Что мне делать там, в этом вашем недороде?

— Во все он не мой, — возразил спецкор Кутищев. — Но если тебе повезет и ты найдешь там еще одну дыру, то попадешь совсем в другой город — жемчужный, золотой... Может, потом эту дыру назовут твоим именем: «Дыра святого Иванова». А что, неплохо звучит!.. Жаль, но я туда так и не добрался. А то сидели бы мы сейчас с Классиком где-нибудь там, на ажурной террасе, попивали бы глинтвейн с корицей и ванилью, грызли бы жареные каштаны и вспоминали прекрасные времена. А вокруг — тишина, соловьи поют, воздушные шары летят... И Альда, жена моя, варила бы кофе по-турецки, на мангале... Изумительно, старик! Может быть, я даже мемуары сел бы писать — о том, как мы с Классиком сочиняли «Книгу Книг»...

— Классик там? В Городе Мастеров? Что же вы мне сразу не сказали?

— А куда торопиться?

Кутищев повернулся в своем гробу на бок и тут же захрапел.

Несколько минут Игнатий Иванов стоял неподвижно у гроба с Кутищевым, потрясенный его олимпийским спокойствием. Внезапно усталость накрыла и его. Как можно тише, чтобы не разбудить Кутищева, он подобрался к корзинам, снял одну верхнюю, поставил на пол и кое-как влез в нее с ногами. Так он и уснул, похожий на птицу в гнезде...

Когда Игнатий Иванов проснулся, ни гроба, ни Кутищева в склепе не было. Иванов обшарил все углы — ни окурков, ни пустых бутылок, ничего!.. Совершенно сбитый с толку, он бросился к камню, за которым якобы должна была скрываться Дыра святого Кутищева. Камень оказался тяжелым, так что пришлось изрядно потрудиться, чтобы сдвинуть его с места. Из открывшегося лаза пахло сыростью и холодом. «Что ж, отсюда и в самом деле другого выхода нет!» — подумал Игнатий Иванов и полез в узкий проход...

# **КНИГА ГРЁЗ И СНОВИДЕНИЙ**



**ДЕСЯТЫЙ СОН**  
**ИНСПЕКТОРА ПРИШИВАЛОВА,**  
*приснившийся ему, как и остальные девять,*  
*в Скорбной Обители*  
*и записанный химическим карандашом*  
*на рукавах больничного халата*

...Именно в это время, в 45 часов, 72 минуты по средневропейскому времени, отставному участковому инспектору Пришивалову и снился Сон № 10. В девяти предыдущих, триумфальным завершением которых он стал, и о которых, для полноты понимания событий, стоит хотя бы бегло упомянуть, инспектор производил оперативный розыск некоего *Слова*. И *Слово* это, судя по косвенным уликам, было не простое, а такое, которое, — Пришивалов интуитивно это знал, — обозначало *всё на свете*, то есть заключало в себе все мыслимые и немыслимые значения. Если бы отставной инспектор был философом, как его старший друг и наставник Интеллигатор, а не бывшим ментом, то, вероятно, он назвал бы это *Слово* «Абсолютным Словом», или «Всеобъемлющим», или еще как-нибудь, в соответствии с духом и традицией. Может быть, тогда следов и улик обнаружилось бы значительно больше, и поиски не были бы столь долгими, изнурительными и, увы, как правило, безрезультатными. В девяти предыдущих сновидениях, из одного в другое, менялись только «декорации», сопутствующие «герои и события», но само *Слово* оставалось совершенно неизменным, хотя, что же оно такое, из каких букв состоит и как звучит на слух, — для следствия по-прежнему представляло неразрешимую загадку. И загадка эта мучила инспектора Пришивалова, пока он бодрствовал между своими снами, не меньше, чем когда-то мучили его вышестоящие начальники на бывшей службе и демоны-изуверы, которые были его соседями по коммунальной квартире и благодаря которым он теперь проживал не на Андреевском спуске, а в Скорбной Обители, на казенной кровати и выслеживал *Слово*.



Вместо опротивевшего больничного халата инспектор Пришивалов во снах своих носил белую парадную форму, но почему-то с каждым следующим сновидением великолепная форма эта заметно уменьшалась в размерах вместе с золотыми погонами, звездочками на них и, что самое обидное, со знаками отличия. Так что к Десятому Сну, о котором речь пойдет ниже, она превратилась в куцый детский костюмчик, трещащий по швам при каждом движении. Воротничок белоснежной рубашки становился все засаленней и все туже впивался в шею, давя на кадык, а галстучек едва доставал своим острием до груди.

И пока парадная форма вот так, от сна ко сну, скукоживалась, *Слово*, наоборот, разрасталось вширь и вдаль, но особенно — вглубь. Неопределенно-темное, оно заслоняло собою мир дневной, отбрасывая на него исполинскую тень прямо из мира ночного.

Временами инспектору Пришивалову казалось, что вожденное *Слово* вертится у него на языке и подпрыгивает на нем, как карась на раскаленной сковородке. Еще миг — и соскочит с языка! И бытие тотчас изменится... Но, черт подери, всякий раз в последний момент обязательно что-нибудь да помешает: нелепость какая-нибудь дурацкая, что-нибудь чудовищно нелогичное, ни с чем не сообразное и абсолютно невозможное! А иногда Свершению недоставало и вовсе ничтожнейшей малости: шажочка крохотного, или полувзглядишка, или микроповоротика в верном направлении... Например, как-то раз он ну буквально на две-три секунды зазевался и просто не успел вовремя свистнуть в свой милицкий свисток. А ведь достаточно было коротенько свистнуть и — все! И больше ничего...

В общем, чтобы *Слово* прозвучало, не хватало sequer чепухи, и вечная ее нехватка просто сводила с ума. Инспектор Пришивалов уже серьезно подумывал, не отправиться ли сначала на поиски *Чепухи*, а уж потом за *Словом*, но его вовремя отговорил Интеллигатор. «Друг мой ситцевый! Вы не представляете, как это опасно, — сказал он за ужином, потягивая компот из сухофруктов. — Если *Чепухе* придавать большое значение, *Она* становится могучей, злой и коварной. Знали бы вы, сколько крови пролито за *Чепуху*, сколько безумств совершено ради того, чтобы обладать *Ею!*»

В сне № 5, одном из самых длинных и многообещающих снов<sup>1</sup>, инспектор Пришивалов плыл по морю на красавце-паруснике, на борт которого он попал из предыдущего сна, — настолько, впрочем, невразумительного, что о нем и вспоминать не стоит. День от края и до края сверкал как россыпи алмазов. Ветер пел свои хоралы в тугих парусах, и те, словно огненные крылья, ослепительно пылали в лучах полуденного солнца. Прищурившись, капитан Пришивалов пристально всматривался в морские дали: не покажется ли на горизонте *Слово*?

Первые три дня пути его сопровождал колоссальных размеров морской змей. Он кружил вокруг несущегося на всех парусах корабля, то скользя поверх волн, лохматя гребни, то передвигаясь рывками, выбрасывая на многие мили вперед, кольцо за кольцом, свое лоснящееся тело, и море вокруг кипело и пенилось. Но капитан Пришивалов не дрогнул, он крепко держался за штурвал, хоть страху и натерпелся немало.

На четвертый день, утром, когда змей сгинул в своих пучинах, на борту корабля внезапно обнаружился пассажир. Одет он был вызывающе, то есть не так, как все нормальные граждане: красная куртка с медными пуговицами, желтые штаны, какие в старину носили матросы, и сапоги до колен. Довершала наряд красного цвета широкополая шляпа. Пассажир курил вересковую трубку, которую, похоже, никогда не вынимал изо рта, и вел себя как хозяин. Звали его «господин Клабаутерманн» — с обращением «гражданин Клабаутерманн», поначалу предложенным капитаном-инспектором Пришиваловым, он категорически не согласился, но зато позволил для простоты общения называть себя «Здоровяком Клаби», — хоть росту имел не более двух английских футов<sup>2</sup>, — и тут же потребовал вина.

Чего греха таить, невзирая на подозрительный внешний вид, «собачье» имя и сварливый нрав неожиданного попутчика, в глубине души капитан-инспектор Пришивалов радовался, что больше не одинок в своем сноплании. И хотя Здоровяк Клаби совершенно откровенно ухохатывался, наблюдая, как Пришивалов ставит паруса, как сам себе отдает команды (например: «Поворот через фордевинд!» или «Грот на гитовы!»), как кормит просроченной тушенкой чаек и дельфинов, как размахивает

---

<sup>1</sup> Сон № 5, насколько мне помнится, был написан на стиральной доске. — *Примечание Издателя.*

<sup>2</sup> Около 70 см.

сигнальными флажками, а особенно как заполняет судовой журнал — с грамматическими ошибками в каждом слове, — вместе с тем была от него и немалая польза. Во-первых, он превосходно знал морское дело, во-вторых, подарил Пришивалову складную, в три «колена», подзорную трубу и, в-третьих, звездными вечерами, когда царило безветрие, он тихонько напевал старинные морские баллады или при свете керосиновой лампы, пуская серебристые колечки дыма из своей трубки, почитывал вслух книгу некоего Себастьяна Мюнстера. Книга эта, вся обросшая ракушками и водорослями, изданная в далеком 1550 году в каком-то Базеле, называлась тоже как-то чудно: «Космография», и повествовала о самых невероятных морских чудовищах и кошмарах. Наблюдая за тем, с какой осторожностью Пришивалов перелистывал ее хрустящие страницы, так и кишевшие гравюрами, от которых кровь стыла в жилах, или как он, совсем уж осмелев, раскрашивал эти гравюры цветными карандашами, Здоровяк Клаби потешался от души.

На пятый день сноплавания море всколыхнулось, и из пучин его поднялся необитаемый остров. «Надо пойти проверить, нет ли на этом острове моего *Слова*?» — сказал капитан-инспектор Пришивалов, спуская на воду шлюпку под язвительные смешки и реплики Здоровяка Клаби. Причалив к берегу, он отправился вглубь острова, а когда дошел до его середины, понял, что шагает по шершавой спине гигантской морской черепахи. Разумеется, не было здесь ни *Слова*, ни *пол-Слова*, ни даже намек на него. Родись Пришивалов где-нибудь в Поднебесной, вероятно, он по-иному смотрел бы на черепаший панцири. А так, не мудрствуя лукаво, он на скорую руку разбил лагерь, соорудил костерок и повесил над ним чайник, собираясь забодяжить чайку, да покрепче, и заодно проверить, правду ли рассказывают о черепахе Фаститоколоне старинные моряцкие песни, которые орал по вечерам Здоровяк Клаби. Черепахо-остров тоже не стал мудрствовать и сразу пошел ко дну, подняв огромные волны и перевернув шлюпку. «Мать моя каракатица! — вопил Пришивалов, барахтаясь в воде. — Спасите! Тону!» Здоровяк Клаби от смеха чуть не рехнулся. Давно он так не веселился! Он хлопал в ладоши, танцевал впрысядку, бросал в море спасательные круги и жилеты. В конце концов ему удалось вытянуть из воды терпящего бедствие, — подцепив его багром за шиворот, — раньше, чем тот мог проснуться и выпасть из своего сна.

В день шестой, когда небо до самого горизонта подернулось дымкой и мутное солнце стояло в зените, капитана-инспектора Пришивалова поджидало очередное коварное испытание. Корабль едва не стал игрушкой пышногрудых морских дев с водорослями вместо волос на голове. В этот час sireны были особенно опасны, и море ими просто кишмя кишело! Печальная красота и манящая чувственность их сладкозвучного пения, разносившегося над покатыми волнами, сулили верную гибель любому моряку, но только не капитану-инспектору Пришивалову, поскольку по счастливой случайности он начисто был лишен музыкального слуха, не говоря уж о художественном вкусе в целом. Что же касается Здоровяка Клаби, то хитрая бестия заблаговременно успел набраться рому по самую ватерлинию и проспал целые сутки, так ни разу и не пошевелившись. А пока он спал, Пришивалов, чтобы откупиться от любовных поползновений морских дев, бросал им за борт макароны, галеты, сахарное печенье и леденцы. Девы высоко выпрыгивали из воды, серебря воздух своими рыбьими хвостами, и ловили сладости прекрасными устами прямо на лету. Одна из них, чертовски симпатичная, по уши влюбилась в капитана-инспектора Пришивалова и затянула какую-то бесконечно долгую заунывную песнь, складывая ручки на груди и томно закатывая глаза, а он в ответ, будто на флейте, лихо подсвистывал ей на своем милицейском свистке, который, к счастью, завалялся в кармане — неприхотливый рудимент какого-то старого и давно забытого сна. В знак благодарности красавица бросила ему свой золотой гребень, такой тяжелый, что, грохнувшись на палубу, он проломил в ней дыру.

Тут море бурно вспенилось, и на кипящую поверхность его всплыли глубокие старцы — длиннородые и длинноволосые. Сурово пялились они на незваного гостя, показывая ему свои клыки и селедочные хвосты. «Понял!» — крикнул Пришивалов и выбросил им за борт пару бутылей с самогоном, а потом и банку сгущенки. «Мужики! Слово не попадалось?» — прокричал он. Но «мужикам», видать, было уже не до слов... Правда, один из них, самый клыкастый и хвостатый, махнул костлявой рукой куда-то в западном направлении — и на том спасибо!

Таким образом Сон №5 продолжился, и на седьмой день путешествия какая-то страхотень с клювастой головой, туловищем лысого кота и крыльями нетопыря, кружа в небесах над кораблем, испражнилась прямо на лету и обгадила правый золо-

той погон капитана-инспектора Пришивалова, когда тот стоял на мостике у штурвала. «Вот сволочь!» — не на шутку осерчал он. Но, приняхавшись, несколько успокоился: от загаженного погона разило овсянкой, каковую каждое утро подавали на завтрак в столовке Скорбной Обители, да и цвет был точь-в-точь таким же. «К повышению по службе!» — уверенно растолковал сей знак свыше Здравяк Клаби, буквально чуть не лопааясь от хохота. Капитан-инспектор Пришивалов легко согласился с такой формулировкой, погон застирывать не стал и время от времени украдкой поглядывал на свое правое плечо. Потом долго и мечтательно улыбался.

День этот вообще выдался богатым на события. То слева по борту какое-то величественное существо зыбких очертаний, все в коконе лазурного сияния, пронесется в колеснице, запряженной летучими рыбами, и, превратившись в тучку, быстро исчезнет в слепящем блеске солнца, оставив пенный след за собой. То справа по борту, с фонтанами, что взлетают ввысь, подобно гейзерам, поднимет огромную волну рыба-остров. Проплывая мимо ее выпученного глаза, Пришивалов и Здравяк Клаби несколько минут наблюдали в его влажном зрачке свои испуганные отражения вместе с кораблем.

А то еще далеко-далеко, по самому краю горизонта, прошествует великан с охапкой деревьев на плече, и море ему по колено.

В довершение, на исходе дня, в вечернем небе, прямо по курсу возник хрустальный дворец. Сотни башен атели, искрясь и переливаясь, в лучах медленно заходящего за море солнца. От восторга сердце выскакивало из груди. «Там! — возопил Пришивалов. — Оно там! Мое Слово!..» — «Недоумок палубный!» — сквозь зубы процедил Здравяк Клаби, но не удержавшись, разразился хохотом.

Всю ночь капитан-инспектор Пришивалов дул в паруса — в помощь восточному ветру, — подгоняя свой корабль к вожденной цели. А Здравяк Клаби, совершенно изможденный непрерывным смехом, кое-как добрался до постели и рухнул спать. Он уснул так крепко, что больше никогда не возвращался в этот сон Пришивалова. Его погасшая вересковая трубка осталась лежать на подушке: видимо, выпала изо рта...

На рассвете капитан-инспектор Пришивалов долго изучал горизонт в подзорную трубу, но великолепного дворца как не бывало!.. Раз десять сверял курс: нет дворца... Тысяча чертей! Не

мог же он проскочить мимо, в самом деле! А тут еще и ветер попутный закончился. Море было неподвижно, как позавчерашний кисель. Полный штиль. Вдалеке, посреди стоячей воды торчала громадная черная скала. Медленно, но неотвратимо она, словно магнитом, притягивала обреченный на гибель корабль. В отчаянии капитан-инспектор Пришивалов метался по палубе, натужно дул в обвисшие паруса, но и дуть уже было нечем. Ну почему, почему он не запасся ветром? Самогоном и огурцами запасся, а ветром — нет!.. Последним ударом стало исчезновение Здоровяка Клаби. В глубочайшей печали Пришивалов вертел в руках его вересковую трубку — она была холодной и сильно воняла. Все, все покинули его! Даже отчаяние тихо отошло, словно душа от тела. Пришивалов больше не чувствовал себя капитаном. Да и от инспектора почти ничего в нем не осталось. Разве что остатки помета на погоне — но и те иссохли, потрескались и стали осыпаться как труха. Тупая, гнетущая усталость, накопившаяся за семь дней нелегкого путешествия навалилась на матевого морского волка. Лицо его обвисло. Глаза слипались. Фуражка на голове скукожилась и съехала набекрень.

Чтобы в ожидании попутного ветра не уснуть и не исчезнуть из собственного сна, как исчез из него господин Клабаутерманн, Пришивалов начал отжиматься от пола. Отжался пять раз... Это помогло, но не надолго. Разжевал и съел три большие луковички — сырые и очень злые. Благодаря жестокой изжоге часа на три бодрствование удалось растянуть. Сел играть в карты. Сам с собой. В дурака, конечно. И, конечно, ни разу не выиграл. «Проклятые тухлой медузы! Если уж не везет, то не везет!»

Так коротал он часы: отжимаясь, поглощая лук и проигрываясь в карты. Сначала при свете солнца, потом — луны, потом — тусклой керосиновой лампы, и опять — солнца... Он перестал ощущать время — одну лишь мучительную изжогу. Ну, еще холод, поскольку проиграл всю свою одежку и остался в одних ботинках. А ветер так и не появился, хотя Пришивалов и пытался его выиграть в подкидного дурака, и один раз ему это удалось, но поскольку выиграл он у самого себя, а сам ветра не имел, то вспыхнула ссора с обвинениями в шулерстве, закончившаяся изрядной потасовкой с самим собой. И тут в побитом Пришивалове объявился изначальный инспектор, который, силясь разнять дерущихся, принялся что было мочи свистеть в свой милицейский свисток. Как раз в это время вставало солнце... Получилось очень красиво.

Но потом он увидел нечто такое, что потрясло его до глубины души. Откуда-то издалека, из-за горизонта, из тех заморских просторов, куда сейчас уходила на отдых ночь, прямо к кораблю встречным курсом летели лебеди. Их было много: сотни и сотни — волна за волной, ослепительно белые, они стремительно приближались к замершему посреди необозримого мертвого моря маленькому кораблику с одинокой фигуркой человека, бегающего по палубе и размахивающего руками.

Пришивалов взбежал на капитанский мостик — усталости как не бывало! — и, не переставая размахивать руками, принялся свистеть в свисток. «Я здесь! Я здесь!» — пронзительно высвистывал он. И птицы кружили над ним, приветствуя его своим криком, затмевая небо, опускаясь ниже. Хлопая крылами, садились на рей и снова взлетали...

Дале в этом сне все было, как во сне. Тысячи белых лебедей разом взметнулись высоко в небо и, связанный с ними тысячами тончайших, почти невидимых, звенящих от натяжения золотых нитей, корабль вздрогнул и, быстро набирая скорость, легчайшим перышком устремился вслед за стаей, взрезая синюю морскую гладь, прочь от магнитной скалы. Капитан-инспектор Пришивалов едва успел ухватиться за штурвал. Холодные соленые брызги освежали лицо. Хотелось петь, и он запел песню, которую никогда раньше не знал и сейчас сам слышал впервые.

Так мчались они без усталости, не останавливаясь, три дня и три ночи, а на четвертый — корабль причалил к берегу, и лебеди, описав прощальный круг, с курлыканьем улетели прочь.

С легкой душой, голый, в одной фуражечке и сверкающих сапогах, капитан-инспектор Пришивалов ступил на берег, а точнее — прямо на самодвижущуюся дорогу, вымощенную сверкающими на утреннем солнце изумрудами. Дорога двигалась плавно и непрерывно, унося его вглубь неведомой и прекрасной страны. По обе стороны проплывали величественные башни, устремленные в небо арки, лестницы и анфилады — созданные то ли из тончайшего стекла, то ли из воды и воздуха, сквозь которые просвечивали и в которых одновременно отражались высокие стволы деревьев и их усыпанные цветами кроны. Пришивалов то смеялся, обливаясь слезами счастья, то замирал от восторга, в упоении прижимая к груди детскую белую фуражечку с золотой кокардой. И чем дальше несла его дорога, тем большим

было его удивление, ибо постепенно стал замечать он, что во всем этом архитектурном и градостроительном благолепии до сих пор не повстречалось ему ни одной живой души. Ни царя, ни пророка, ни селянина, ни ремесленника; ни единого зверя или птицы, ни даже букашки махонькой — никого, кто бы мог подсказать или шепнуть на ухо это искомое *Слово*. И еще: настораживало полное отсутствие указателей и светофоров...

...Проснулся отставной инспектор Пришивалов внезапно — от каких-то толчков и сотрясений. Разлепив глаза, он ощутил во рту отвратительный вкус лукового перегара. Над ним низко-низко, будто читатель над книгой, склонился молчальник Побродягин. Молчал он весьма взволнованно, и, видимо, сиюсь объяснить что-то очень важное, продолжал по инерции трясти инспектора за плечо. Еще не очень хорошо понимая, где находится, — в дивной стране или в больничной палате, — Пришивалов инстинктивно вжался всем телом в казенную кровать. Пружины под ним уныло скрипнули...

— Мое Слово! — в отчаянии простонал он.

Побродягин простер к нему сжатый добела костлявый кулак, так что Пришивалов невольно схватил его за запястье. Побродягин взвыл от боли, кулак разжался, и на пол что-то со стуком упало. Пришивалов отпустил руку незадачливого писателя-молчальника, соскочил с кровати и поднял с пола камешек — плоский и гладкий, с дырочкой посередине, в которую был продет шнурок. Обыкновенный «куриный божок». Побродягин, потирая невинно пострадавшую руку, отчаянно кивал.

— Это мне? — спросил Пришивалов изумленно.

Красноречивым жестом Побродягин показал: «Надеть на шею». Пришивалов не стал артачиться и надел этот скромный оберег. Только тогда Побродягин успокоился и, приняв серьезное выражение лица, ушел в свою палату.

На следующую ночь отставному инспектору Пришивалову приснился совсем уж коротенький сон, но зато, в отличие от предыдущего, который вместил в себя целую неделю странствий, в этом сне толпилось много разных незнакомых людей. Пришлось на развалинах Парижа пить с ними воняющий клопами, но хороший, со сложным названием, коньяк. К сожалению, люди эти были озабочены исключительно собой и коньяком, а точнее, взаимопроникновением коньяка в себя и себя в коньяк, и плевали они на всякие *слова*. Потом, правда, инспек-



тор Пришивалов увидел-таки *одно слово*, нацарапанное на полуразрушенной кладбищенской стене, и очень обрадовался, однако прочитать его не сумел, потому что было оно из какого-то неизвестного языка. Тогда инспектор заучил буквы этого *слова* и тот порядок, в котором они располагались, а утром, едва проснувшись, написал их на листке бумаги. В столовке за завтраком он показал листок Интеллигатору.

— Merde<sup>1</sup> — прочитал Интеллигатор вслух.

— Красиво звучит, — мечтательно откликнулся инспектор Пришивалов.

— Да, — согласился Интеллигатор. — И если не *все* объясняет, то — многое.

Инспектор Пришивалов насторожился:

— Так, значит, это не то *Слово*?

Интеллигатор отрицательно покачал головой.

— Нет, — сказал он. — Но вы на правильном пути. Спите дальше, друг мой ситцевый. Это, конечно, не сновидения Сципиона, но в своем роде тоже недурно.

Как назло, несколько ночей подряд инспектору Пришивалову вообще ничего не снилось. И только позапрошлой ночью, следуя по пятам за своим новым сном, он наконец прибыл в расположенный на крутых склонах горы старый-престарый Город без названия. Жители его были сильно напуганы — может, внезапным пришествием участкового инспектора в детской форме, а может чем-то другим, — и прятались по домам. Великий страх царил на обезлюдевших улицах, и даже бесстрашный инспектор Пришивалов вынужден был продвигаться от дома к дому пугливыми перебежками.

Никем не замеченный, он поднялся на вершину горы и остановился у подножия белокаменного Храма. Отсюда, с высоты птичьего полета, он увидел свой сон, окончание которого затаилось где-то здесь, рядом — на вершине горы. А там, далеко-далеко внизу, раскинулся безбрежный океан. Волны бесшумно накатывали на песчаный берег, на котором одиноко торчал полуразвалившийся корабельный остов. Чайки кружили над ним. Пришивалов сразу узнал свой корабль и от горя чуть не проснулся! В слезах побрел он к Храму, ибо идти было больше некуда — вокруг простиралось только небо.

---

<sup>1</sup> Дерьмо (*франц.*).

У самого входа в Храм, трепеща страницами на ветру, высилась целая гора книг, сваленных прямо на землю, будто для костра. Ветер листал их и перелистывал. Инспектор Пришивалов тоже принялся перелистывать страницы книг, стараясь опередить ветер в поисках искомого *Слова*, но страницы книг были девственно чисты и сияли белизной — ни единого словечка... И тут инспектора Пришивалова не то осенило, не то огорошило: да это же та самая знаменитая домашняя библиотека Побродягина, которую, судя по белизне страниц, тот давно прочитал от корки до корки, не оставив ни слова! Бросив опустевшие книги на растерзание слепому ветру, инспектор как-то излишне поспешно, даже не обнажив головы, вошел внутрь Храма. Мерцающие на высоте птичьего полета витражи окон, и там, еще выше, во мгле, призрачные линии стрельчатых сводов открылись его восхищенному взору. От входа, прямо по центру, куда-то вдаль тянулись два ряда стройных деревьев, образуя идеально ровную аллею. С их густых крон опадали листья, прямо в воздухе превращаясь в мотыльков, мириады которых порхали вокруг, расцвечивая пространство разноцветьем крылышек. Один из них, красно-золотистый, сел на белую фуражечку инспектора Пришивалова, и это было похоже на благословение. Чувствуя необыкновенную легкость в голове и ногах, инспектор, как зачарованный, продвигался по аллее к видневшемуся вдалеке выходу из Храма. Ему было так хорошо, что он мог бы вот так идти и идти, не останавливаясь, — месяцы и годы. Теперь он не просто знал, он мог поклясться, что вот именно сейчас и свершится долгожданное Главное Событие. И по мере продвижения вперед весь он, от фуражечки и до ботинок, наливался силой могучей, силой небывалой, так что — захоти только — и горы сдвинул бы с места, и в небеса взмыл бы и полетел! И когда, спустя вечность, вышел он из Храма на залитую солнечным светом площадь, его окружили жители напуганного Города без названия. И они радостно улыбались ему, и смеялись ему, и кричали ему: «Это ты! Это ты! Ты сделаешь это!..» Инспектор Пришивалов расправил плечи, улыбнулся широко, до самого горизонта, и даже стал немного выше ростом. Ха! Какие могут быть сомнения? Конечно, он сделает *это*, то есть *то самое*, о чем с великой надеждой кричат ему жители напуганного Города без названия и *что* они, страшась называть вещи своими именами, называют *этим*... Что ж, он готов назвать вещи своими именами и освободить всех этих несчастных от их вечного страха! Он готов принять *Слово* и

сей же час, не сходя с этого места, совершить *это!*.. Внезапно из толпы страждущих выступил гражданин, очень неприятно (то есть — и очень, и неприятно) похожий на Федора Федоровича — Главного Белохалатника Скорбной Обители, — только одет он был не в свой обычный белый халат, а в красочные театральные одежды. «Какого лешего ему надо в моем сне?!» — с возмущением подумал Пришивалов. Не обращая внимания на мысли инспектора, Федор Федорович принял певческую позу и на глазах у изумленной публики продемонстрировал настоящий образец изумительного бельканто: «Nessun dorma! — запел он. — Nessun dorma!..»<sup>1</sup> В ту же минуту Пришивалова сковал мороз. Ресницы его покрылись сверкающим инеем, а неприкрытое тело — гусиной кожей... Прекрасный сон оборвался, и, к своему величайшему огорчению пополам с облегчением, инспектор Пришивалов проснулся! Без *Слова*, но зато живой...

Больше не доверяя Интеллигатору, который, похоже, темнил и что-то не договаривал, и стараясь не попадаться на глаза Главному Белому Халату, инспектор Пришивалов дерзнул обратиться за разъяснениями к отцу Станиславу, тем более что во сне имело место посещение некоего культового объекта, что могло потом повлечь за собой неизвестные последствия теологического порядка. Но уже с самого утра опальный священник пребывал не в духе, прости Господи! Рассеянно выслушав рассказ новоявленного визионера, он как-то совсем уж без огонька, без свойственного ему вдохновения, словно лунатик, которого страшно спугнуть, чтобы он не свалился в пропасть, впал в нравоучительную проповедь — монотонную и скучную, как осенние дожди. Затем, вяло поинтересовавшись, не было ли на приснившемся Храме каких-либо характерных знаков — ну, скажем, крестов, полумесяцев, звезд, — он, оглядываясь на дверь, предостерег, как и полагается в подобных случаях, раба Божьего Пришивалова, а в его лице и всех визионеров, а также и тех, кто себя такими мнит, от прелести и гордыни, через каковые жгучие щупальца Сатаны тянутся к сердцу неразумного грешника.

— Скажите, отче, а Христу снились сны? — поинтересовался инспектор Пришивалов, как всегда, без всякой задней мысли.

— В Святом Писании об этом ничего не сказано! — сказал отец Станислав, бледнея. — Лучше бы снов вообще не было!

---

<sup>1</sup> «Пусть никто не спит!» (*итал.*) — крики глашатаев, с которых начинается ария Калафа из последнего акта оперы Дж. Пуччини «Турандот».

— Вообще?

— Вообще!..

Сказал и, схватившись за живот, побежал в туалет. «Овсянка доконает старика!» — подумал Пришивалов.

Однако, вопреки авторитетным предостережениям отца Станислава, сны с запрятанным в них *Словом* продолжали доносить «неразумного грешника». Или же это сам «грешник» доносил свои сны бесконечными поисками *Слова*. О, тут не мудро было запутаться!..

И вот когда инспектор Пришивалов запутался окончательно и готов был не спать сорок дней и сорок ночей, тогда-то все и свершилось. Свершилось прошлой ночью. И так просто, что в это с трудом верилось, тем более, после стольких мучений. Накануне, в пятницу, целый день собиралась гроза. Свинцово-черные тучи медленно ползли над Скорбной Обителью, всей своей тяжестью наваливаясь на ее прохудившиеся крыши. Федор Федорович с неизменным изумрудным моноклем в мертвом глазу провел традиционный обход, чем сильно понизил температуру в палатах, и, удовлетворенный достигнутым эффектом, отправился на уикенд. На дежурство заступили четверо костоломов-новичков с ненавистной Гестаповной во главе. Горя страстным желанием поскорее перед ней выслужиться, молодчики были заняты тем, что выискивали малейший повод для того, чтобы пустить в ход свои увесистые кулаки, а также не дать залягаться давно просроченным барбитуратам, шприцам и свежестирированным смирительным рубашкам, что теперь, после ухода морозотворящего Федора Федоровича, наоборот, сильно накалило общую атмосферу, и нужно было вести себя крайне осмотрительно, дабы в ней не сгореть. Побродягин, поплотнее завязав глаза грязным платком, писал кому-то письмо на листочке, вырванном из школьной тетрадки. Мучимый предгрозовой мигренью, Интеллигатор весь день колодой лежал на своей койке и ненавидел мир плотной материи, а особенно свою жизнь в мире плотной материи, но еще больше ненавидел он плод своей жизни — книгу, которую год за годом в тайне, *sub rosa*, писал под одеялом. В состоянии жесточайшей ипохондриии он уже готов был умолять Побродягина, чтобы тот снял повязку с глаз и прочитал его книгу — раз и навсегда! Чтоб от нее даже запятой не осталось! Но к ночи разразилась гроза, мигрень отступила — и книга Интеллигатора была спасена от полного исчезновения. Громы и молнии сотрясали Скорбную Обитель до основания, с

прогнанных потолков лилась вода в звонкие жестяные тазики и гулкие ведра. В так называемых «буйных» палатах, на другом конце здания, завывали болезные страдалцы, и их звериный вой, сливаясь с шумом и ревом небесных вод, низвергающихся на землю, нагонял на притихших обитателей сумеречных палат почти священный ужас. Отец Станислав осенял крестным знаменем себя и паству при каждом громовом раскате за окном, за которым, казалось, сейчас тонул весь мир...

Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Наступили тишина и покой. И стоило Пришивалову прикоснуться головой к подушке, как тут же ему приснилось *Слово*. Точнее, не одно, а сразу *Три Слова*. Они мерцали в потемках Сна № 10, — каковым по счету и был этот сон, — то исчезая в нем, то снова появляясь, будто фантомы, — грандиозные, нерукотворные, грозно звучащие в обоих ушах.

В тот дивный, первый миг, когда инспектор Пришивалов их увидел и услышал, парадный детский мундирчик лопнул на нем по швам и осыпался к ногам, как шелуха бесполезная. Обнаженный инспектор Пришивалов этого даже не заметил. Он был так счастлив, что не чувствовал ни своего тела, которое, казалось, лишилось брэнности и вернулось к изначальной божественности, ни самого себя, ставшего в один миг всем. Он вообще ничего не чувствовал! Не то стоял он, не то висел, не то летел в пространстве, где не было границ, и постепенно тьма стала как свет, и видел он только эти мерцающие алмазные *Три Слова*:

МУСОР... ГЛИНА... АДАМ...

...Наступило утро. Инспектор Пришивалов проснулся легко и весело. Глаза его были широко открыты. За ночь они стали синими, как сапфиры, омытые росой. К отцу Станиславу он пойти не решился, справедливо рассудив, что сей праведник, во-первых, третий день мается расстройством желудка, а во-вторых, узнав обо всем, возьмет и сгоряча наложит на него епитимью. Нет, уж лучше философ с больной головой, чем священник с расстроенным желудком. Лучше Интеллигатор.

Дождавшись полуночи, когда обитатели Скорбной Обители уснули и кровати их больше не скрипели, инспектор Пришивалов растолкал старого мыслителя и одним духом выпалил ему драгоценные свои *Три Слова*.

— Три карты... три карты... — спросонья проворчал Интеллигатор, потирая лоб и пытаясь собраться с мыслями. — Гм... Послушайте, инспектор, а как ваше имя?

— Мое? — смущенно пролепетал Пришивалов. — Гера.

— Стало быть, Герман!

Пришивалов стыдливо опустил глаза. Интеллигатор даже присвистнул, что на него совсем не было похоже.

— Герман, стало быть, — повторил он, меняясь в лице. — Гм... Так, говорите, *Три Слова*?

— Да, целых три! — подтвердил инспектор Пришивалов, оживляясь, и нараспев, почти как молитву, повторил: — *Мусор... Глина... Адам!*

Интеллигатор сунул ноги в резиновые шлепанцы, встал с кровати и завернулся в одеяло. Сейчас он был похож не просто на старого философа, а на очень древнего философа в лунном свете.

— *Mêden agan!*<sup>1</sup> — провозгласил он, и кровати вокруг тревожно заскрипели.

— Чего?

— Ничего... Ничего лишнего... Должен заметить, друг мой ситцевый, вам еще повезло. Вот одному знаменитому на весь мир царю, например, тоже как-то раз приснились три слова<sup>2</sup> ...

— Ух ты!

Кровати опять заскрипели.

— Да, но слова эти предвещали ему близкую гибель...

— Да вы шо!

— Перестаньте «шóкать» и не перебивайте меня. Что за плебейство, в самом деле!

— Извините, профессор.

— И, Бога ради, не называйте меня профессором.

— Хорошо, не буду...

Пристыженный, инспектор Пришивалов переминался с ноги на ногу.

— Так вот, милейший мой Герман, — продолжал Интеллигатор, — в словах, что приснились царю, таилась смерть, ибо все уже было исчислено, взвешено и разделено. Так что вот вам и «ух ты!»

— И какие же слова приснились ему, царю этому?

---

<sup>1</sup> Ничего сверх меры; ничего лишнего (*греч.*).

<sup>2</sup> *Menes, thekel, fares* (*халд.*) — «Исчислено, взвешено, разделено».

— Думаю, вам это ни к чему, — строго отрезал Интеллигатор. Но, подумав немного и смягчившись, пояснил: — Видите ли, друг мой ситцевый, когда-то в прошлом вы были просто *Мусором*. Не так ли?

Отставной инспектор Пришивалов густо покраснел, хотя в холодном свете луны, струящемся через окно в палату, покраснение лица его выглядело, скорее, как потемнение.

— А теперь, в настоящем, вы *Глина*.

— Глина? — недоверчиво переспросил инспектор Пришивалов.

— Как сказал бы наш друг отец Станислав, *Глина* в руках Божьих. — Интеллигатор посмотрел на инспектора в упор. — Это очень хорошо — быть *Глиной*. Да, ибо что — *Мусор*? Из него можно собрать лишь бесформенные кучи. Вы и сами видели такие у нас на хоздворе. Грязные и зловонные, они источают дух гниения и смерти. Выражаясь языком философов: сигнатуры Распада и Тлена. Согласитесь, инспектор, *Мусор* должен быть сожжен!

Пришивалов в знак согласия кивнул головой — не без некоторого внутреннего содрогания.

— Он должен выгореть полностью, чтобы стать почвой. И вот тут-то, заметьте, вам как раз и говорят о *Глине*.

— Кто говорит?

Интеллигатор многозначительно поднял глаза вверх и продолжал:

— Из *Глины* Бог сотворил *Адама*. А теперь пришла очередь *Адама* творить. Он должен сотворить Нового Адама, чтобы стать будущим человечества. Собственно говоря, человечество и станет Новым Адамом, универсальным человеком, мезокосмом, то есть — Адамом, искупившим свой грех...

— Однако, — продолжал Интеллигатор с философичной улыбкой на устах. — Всякий предмет тленен, бессмертно лишь действие. Всякий предмет имеет имя, но один лишь дух его зовется глаголом. И человек здесь не является исключением, будь он Адам или, скажем, Герман. Так что хватит спать, друг мой ситцевый! Действуйте, и в действии своем будьте гибким и податливым, как Глина в руках Мастера. А уж Мастер свое дело знает, будьте покойны!..

# **КНИГА ГОРОДА**





**ПОЭТЫ В БЕГАХ,  
ИЛИ  
ГОЛОВА В АВОСЬКЕ**

*Глава, написанная на спасательном круге*

**I**

Третью неделю город заливали дожди. Поползли слухи, что якобы всему виной взбунтовавшиеся ундины — дескать, что-то там не поделили с саламандрами. И пока они выясняли между собой отношения, вода быстро прибывала. Первое время горожане вели себя совершенно безалаберно, не желая отказываться от привычного хода вещей: ходили на службу, в театры и рестораны. И поливальные машины каждое утро продолжали выезжать на свои маршруты и вместе с дождем поливать улицы. Фонтаны тоже работали, и это почему-то никого не изумляло. Куда более мудрыми и организованными оказались бездомные животные, они покидали обжитые места и забирались на старые холмы — на Флоровскую гору, на Олеговскую, на Уздыхальницу и Поскотину, где чувствовали себя в относительной безопасности и, что самое замечательное, жили в мире и согласии. Сердобольные старики и дети подкармливали их, чем могли. Можно сказать, наступило время великого перемирия, словно и вправду начали сбываться древние пророчества... А вот внизу все было куда сложнее. Горожанам приходилось передвигаться по щиколотку в воде, а кое-где и по пояс! Автомобили то и дело буксовали, что приводило к многочасовым заторам. От избытка влаги взрывались светофоры, и милиция не успевала справляться с хаосом на дорогах. Вода заливала квартиры и государственные учреждения, не говоря уже о чердаках и подвалах. Большинство старых, времен Второй мировой войны, бомбоубежищ затопило полностью вместе с запасами противогазов и просроченных консервов. На Подоле можно было увидеть аквалангистов, спус-

кавшихся в канализационные люки. Днепр грозил выйти из берегов. По городу поползли слухи о некоем мифическом Подземном Днепре. Если дожди затянутся дней на десять-пятнадцать — предостерегали знающие люди, — он поднимется наружу, и город утонет. Впрочем, нашлись и те, кто не соглашался со столь пессимистическим сценарием. Подземный Днепр, утверждали они, физически не существует, он есть духовный принцип или прообраз Днепра Земного, точно так же как и Днепр Небесный, — и вместе они составляют устойчивое герметическое триединство. Как бы там ни было, но по истечении второй недели горожане бросились штурмовать универмаги, охотничьи и спортивные магазины. Раскупалось все — от галош и резиновых рыбацких сапог до надувных лодок, а также маски, дыхательные трубки и ласты, спасательные жилеты и плотики — короче, все, что помогло бы выжить в водной стихии. Ночами по опустевшим улицам разгуливали безобразные волглые мокряки. Никто точно не знал, откуда они явились, но по множеству бородавок на их лицах и руках, и по резкому запаху болотной гнили, от них исходившему, нетрудно было судить о природе происхождения этих тварей. Старые люди говорили, что мокряки ищут утопленников, чтобы с ними свести дружбу, а если не находят, то заманивают живых на глубину и топят. И горе запоздалому путнику, который услышит в ночи, как они шлепают голыми культяпками по воде и чмокают губами!.. Каждый день Городская Администрация проводила по несколько экстренных совещаний, и уже серьезно обсуждалась возможность введения в городе чрезвычайного положения. Для начала весь речной флот, а также военный и гражданский, были приведены в полную боевую готовность. По реке сновали патрульные катера, и рев их сирен разносился над медленно уходящим под воду Подолом, вселяя ужас в его обитателей, который нарастала с каждым днем...

Невзирая на угрозу потопа, вечеринка у Лямура Двердомского и в этот раз была образцом «кристально чистого фикуса» и память по себе оставила добрую, хоть и закончилась тривиально — тусклым утренником с невразумительным напитком из чайной трухи и «нефикусными» холодными, отсыревшими за ночь бутербродами.

Народу набилось больше, чем можно было ожидать, учитывая разразившееся стихийное бедствие. В прихожей рядами вы-

строились мокрые зонты и галоши; плащи и дождевики не помещались на вешалках. Артисты, поэты, художники толкались и наступали друг другу на ноги, много пили и много разглагольствовали, но по настоятельной просьбе Лямура Двердомского старались принципиально обходить стороной темы, связанные с жидкостями. Если же сделать это было в том или ином случае невозможно, то прибегали к эвфемизмам: «воду» называли «Луной», дождь — «звездопадом», потоп — «сном». Исключение было сделано только для алкоголя. И, пожалуй, алкоголя в доме лилось немногим меньше, чем проливалось дождей в городе. Из завсегдатаев, кроме Саши Милого и Геня Вишнуевского, присутствовали Старик Придумкин, Бормотеев и известный фотограф-концептуалист Троеглазов, который был убежден, что в будущем люди станут млекопитающими богами, а пока, как это не прискорбно, они всего лишь младшие братья животных. Концептуалиста Троеглазова Саша Милый откровенно не любил: прежде всего за то, что тот имел тайную эзотерическую связь с его женой-пианисткой, и связь эта в голове оскорбленного мужа сводилась к образу двух спаривающихся сколопендр. Из новых гостей поэт Саша Милый не знал никого, кроме художника-любителя по прозвищу «Голова-Наоборот» — лысого, круглоголового, с аккуратной каймой тоненькой бородки — казалось, что брови на его лице росли не над, а под глазами. Голова-Наоборот являл собой олицетворение перевернутой вверх ногами доброжелательности. Женщины так и норовили поцеловать его в безротый, безгубый лоб. Впрочем, в этот раз, может быть, в силу сложных погодных условий и врожденной нелюбви к резиновой обуви, ни одной женской особи на вечеринке замечено не было, что несколько выбило Геня Вишнуевского из наезженной колеи: «Черт побери! Некому читать стихи из клюва в клюв!», на что незамедлительно отреагировал Старик Придумкин: «Посейдон против Приапа! Пока что первый побеждает. Вот бы Флюидов порадовался, будь он сегодня здесь!»

Сомнения относительно женщин рассеял Лямур Двердомский. «На днях я как бы собираюсь жениться», — заявил он, наливая себе в бокал глинтвейн. Это двусмысленное «как бы» никого не ввело в заблуждение, поскольку представляло собой обыкновенный «речевой сорняк» и ровным счетом ничего не значило. «Кому налить горяченького?» — спрашивал Лямур Двердомский. «А что мы пьем?» — «Ну, это как бы глинтвейн, я

целую кастрюлю сварил! Тут и корица, и гвоздика, и цитрусовые...», — начал перечислять он, умолчав, правда, что пять минут назад незаметно накапал в кастрюлю из флакончика с надписью «Chanel № 5» несколько драгоценных капель — дабы «обогатить и облагородить букет», после чего глинтвейн действительно превратился в «как бы глинтвейн». Но об этом невинном алхимическом фокусе никто не знал. «В общем, пить вам — не перепить! — уверенно заключил Лямур Двердомский. — А кто не будет пить, тому — клизму!»

Среди множества гостей Саше Милому особенно запомнились двое молодых, но уже успевших войти в моду художников, которых за глаза называли Два Притопа-Три Прихлопа. Оба лютой ненавистью ненавидели художника Леонардо да Винчи и других «деятелей» Эпохи Возрождения, поскольку в пику им мечтали писать картины так, как если бы они были сумасшедшими или детьми. И, надо признать, им это неплохо удавалось. Леонардо да Винчи был всего лишь одним из пунктов в длинном списке ненавистных имен, вещей и явлений, в который входили белила, хроматика, фигуратив, а также все, что могло намекать на малейшее сходство с так называемой натурой — в принципе... Несколько дней назад под вечер на Крещатике неподалеку от общественного туалета их до крови покусала говорящая на нескольких языках собака, и врачи «скорой помощи» никак не могли решить, в какую клинику отправить пострадавших — в обычную или сразу в психиатрическую? Перебивая друг друга, художники захлеб рассказывали о случившемся, жесточайшим образом эпатируя своим правдивым рассказом оробевшую от избытка пролитой крови публику. «Вот это авангард! — восхищенно воскликнул Лямур Двердомский, по локоть закатывая рукав черного свитера и выставляя напоказ белокожую руку. — Вот, видите?! Волосы на руке как бы дыбом встали!» Польщенные столь высокой оценкой, Два Притопа-Три Прихлопа уже готовились развернуться во всю ширь и превратить вечеринку в свой бенефис, но были вовремя остановлены фотографом-концептуалистом Троеглазовым, которого внезапно вдохновило старинное фортепьяно — ореховый «Ed. Seiler» с зажженными свечами в бронзовых подсвечниках, украшавших справа и слева его переднюю резную панель. «Шикарный экземпляр!» Играть Троеглазов совершенно не умел, но именно в этом неумении и заключался смысл так на-

зываемого «спонтанного музицирования». Главное — отпустить себя на волю, и пускай пальцы разгуливают по клавиатуре, как им вздумается. Желательно, чтобы каждый новый звук ничего не знал о предыдущем, и он должен быть полной неожиданностью — как для слушателя, так и для самого исполнителя. Истинная музыка — таинство, явление ее непостижимо и, следовательно, непредсказуемо. И рождается она во тьме нашего подсознания... Кто-то предусмотрительно выключил свет, и пока Троеглазов, словно древоточец, вгрызлся в ореховое фортепьяно, наслаждаясь его густыми басами и серебряными дискантами, Лямур Двердомский демонстрировал свои новые слайды, проецируя их с помощью проектора прямо на мокрую, в подтеках, стену: будто изнутри светящийся ультрамарин сумеречных небес, ажурная вязь ветвей сквозь лица, сквозь глаза, и отблески мокрых мостовых в черной арке ночи, апрель и декабрь, слитые воедино, и поверх — расплавленное золото огнистых зигзагов... Да, как для «авангарда», в слайдах все-таки было многовато фигуратива, и оба художника нетерпеливо ерзали на скрипящих венских стульях в надежде, поймав момент, навязать размякшему обществу бодрящую клаустрофобию: ибо, полагали они, тот, кто не испытывает гнетущего ужаса от обступающих нас отовсюду предметов с их нескончаемым конвейером наскучивших форм и взаимоотношений, и не стремится вырваться в мир, в котором уже сам цвет есть Творец и одновременно Творение, цель и средство, тот в искусстве — безнадежный «нафталин»!

Пока демонстрировались слайды, рот у Лямура Двердомского не закрывался. Он терпеливо растолковывал суть мельчайших деталей на каждом снимке; где, когда и при каких обстоятельствах был снят тот или иной из них, попутно упоминая каких-то людей, имеющих прямое или весьма отдаленное к ним отношение и, в большинстве случаев, совершенно никому из присутствующих не известных. То и дело он перескакивал с одной длинной истории на другую, при этом ни одну из них не заканчивая. «Господа, вот эти руки на второй экспозиции видите? Как бы сквозь льющуюся воду... Это руки Сильвестрова. Я снял их в первый день потопа. Это он играет з д е с ь, на этом самом фортепьяно... Видите?.. Да, а потом мы с ним еще целый час говорили о тишине и молчании...» Казалось, этим красноречивым эпизодом можно было бы и закончить, но Лямур Двердомский

не был бы самым собой, если бы не довел общество до полного «фикуса», рассказав витиеватую историю о том, как великий Сильвестров гениально слушает свою музыку в чужом исполнении; в такие минуты на его аскетичном лице отражается каждый оттенок композиторской (читай: его собственной) мысли, выхваченный слухом из потока сложного музыкального текста и как бы пережитый заново... ну, как бы в первый раз! Короче, Лямур Двердомский был в ударе. И спонтанное музицирование фотографа-концептуалиста, становившееся все более остервенелым, ему нисколько не мешало. «Вы думаете, почему я такой говорливый? — спрашивал он с обезоруживающей печальной улыбкой, вставляя в проектор очередной слайд, и сам же вкрадчивым голосом доверительно пояснял: — Я, когда по ночам работаю, потом много разговариваю».

Ровно в полночь «на арене» возник не вполне трезвый поэт Бормотеев со своей новой поэмой о Ноевом ковчеге, в которой было обилие воды и ни одного живого слова. Гости слушали в пол-уха, позевывали, роняли головы на грудь, впадая в тревожную дремоту, то резко вскидывали их, будто кони на пастбище, отгоняющие назойливых слепней. Два Притопта-Три Прихлопа с кислым видом о чем-то перешептывались, а Лямур Двердомский, сложив руки на груди и смежив веки, возлежал на черном надувном матрасе и, сам похожий на Ноя, казалось, плыл на нем, как на ковчеге, по безбрежным просторам мирового океана... В финале поэмы Саша Милый прослезился, но не оттого, что поэма его потрясла, а потому что в очередной раз выпил лишнего. Ну, может быть, еще и из-за общей чрезмерной влажности в атмосфере... или оттого, что не было у него ни одной твари, которую он мог бы спасти от потопления, — даже кота захудалого. А жену его пусть теперь Троеглазов спасает!..

Затем, чтобы скорее выбраться из состояния сонливости, гости обратились к теме мокряков и принялись наперебой рассказывать про них разные забавные и страшные истории, которых за последнее время в городе появилось больше, чем самих мокряков. Находчивее всех поступал Лямур Двердомский, просто на ходу переделывая старые анекдоты на новый лад — про мокряков. Начинались они вполне традиционно. Например: «Возвращается муж из командировки, а жена с мокряком в постели лежит...» Или: «Как-то раз собрались вместе англичанин, француз и мокряк и стали выяснять...», ну и т. д., и т. п.

...Дорогу домой, на улицу Жилианскую имени Жадановского, поэт Саша Мильный проделал чисто интуитивно. От него так разило эксклюзивным глинтвейном Лямура Двердомского, что ни один мокряк не рискнул подойти ближе, чем на сто метров. Так, с безопасного расстояния, они провожали его злобными взглядами, громко причмокивая губами.

Во дворе, возле самого дома, в котором жил поэт, утопая в дожде, стояла машина, черная, будто катафалк. Дождь грохотал по ее крыше и капоту. Саша Мильный подошел к машине и постучал кулаком по лобовому стеклу:

— Впетлин, выходи!.. Я знаю, что ты там!..

Ничто не дрогнуло внутри, никто не откликнулся — только вода мертвенной пеленой стекала по лобовому стеклу. Хмыкнув, Саша Мильный шатко развернулся, и дальше его понесло прямо к дому. Шагах в десяти, за кустом колючего терновника прошмыгнула чья-то тень.

— Кыш, кыш, шустрый филер, что таится в колючках! — прохрипел Саша Мильный, входя в парадное.

На лестнице его едва не сбили с ног. Кто-то, без лица, сунул ему в руку какую-то бумажку и опрометью выскочил на улицу. Так, с бумажкой в бесчувственной руке, Саша Мильный, выражаясь языком Лямура Двердомского, *поднялся как бы на свой этаж* и, головой вперед, вломился в свою квартиру фактически сквозь запертую дверь...

## II

— Эй, старина! Ты живой?.. Дверь нараспашку. Сидишь в потемках. Что случилось?..

Зажегся свет, в дверном проеме стоял Гений Вишнуевский. Он сбрил усы и бороду, поскольку из-за дождей в них постоянно скапливалась вода, и теперь лицо его было гладким, как попка младенца. От бывшего «барства» не осталось и следа. Саша Мильный посмотрел на памятник часам в углу — время в них остановилось лет двадцать назад.

— Да ты никак спал? — искренне удивился Гений Вишнуевский. — В такую-то рань! Не стыдно?.. Я, между прочим, только что видел настоящего мокряка. Представляешь? Спросил у него, любит ли он жизнь, и предложил выпить, а он, тупица, куда-то исчез! Да, нашему потоку явно не хватает градуса...



Продолжая говорить, он поставил прямо на крышку рояля авоську с двумя бутылками коньяка и каким-то круглым свертком величиной с человеческую голову. В тупом недоумении Саша Милый следил за этими нехитрыми манипуляциями.

— А что, уже утро?

— Какое утро? Полночь на дворе!.. — Гений Вишнуевский снял плащ, бросил его на рояль рядом с коньяком и свертком.

Саша Милый в замешательстве тер рукой лоб: выходит, он и не заметил, как просидел в кресле двое суток!

— Ты что, меня не узнаёшь? — обидчиво спросил Гений Вишнуевский. — Это же я — твой лучший друг Вишнуевский. Вот пришел к тебе и, заметь, не с пустыми руками. Неси стаканы!

Саша Милый послушно поплелся за стаканами.

— А что, дождь кончился? — крикнул он из кухни.

— Еще позавчера... Старина, с тобой все нормально?

В холодильнике было пусто. Он гудел и дребезжал от голода. Видать, злился. Саша Милый тоже злился, но что он мог сделать? На работу его возьмут не раньше чем через неделю, — во всяком случае, обещали взять, — если, конечно, город окончательно не утонет. Хотя, дождь кончился, так что, может, и не утонет... Расстелив на рояле салфетку, Саша Милый поставил на него два стакана и тарелку с двумя солеными огурцами. Гений Вишнуевский открыл первую бутылку.

— Так, значит, мечтаешь стать почтальоном? — не без лукавства спросил он, разливая коньяк в стаканы. — Сапогискоророды, рожок за поясом, почтовый голубь на плече — вижу это прямо, как наяву... Ладно, только не вздумай повеситься. Бывает и хуже. Корбюзьевич — тот вообще грузчиком работает, а Железный Муц афиши расклеивает, несмотря на то, что стихов настрогал томов на десять. Между прочим, и Классик, говорят, метельщиком был при каком-то НИИ. В общем, старина, все не так уж и плохо. Начнешь новую жизнь. За нее и выпьем.

Они выпили. Снова пошел дождь, ну и, естественно, Гений Вишнуевский налил по второй. Выпили по второй. Дождь только усилился. Гений Вишнуевский махнул рукой и налил по третьей.

— А где жена? — спросил он, зачем-то оглядываясь на дверь.

— Три дня назад пошла к подруге за ластами. С тех пор я ее не видел.

— Может, случилось с ней что-нибудь?

— Случилось. Она стала медузой... или морской звездой, — Саша Милый визгливо засмеялся. — А может, ихтиандром.

Друзья молча выпили по третьей.

— А Всадник Без Головы? — не унимался Гений Вишнуевский.

— Не называй ее так.

— Ну хорошо, хорошо, пусть будет Адольфиной. Ты уже объяснился с ней? Вижу, что нет. Я так и знал. Хочешь, я вас сведу?

— Куда? В могилу?

— Между прочим, я ее не боюсь, в отличие от тебя.

— Тебе-то чего бояться? — неожиданно зловеще прошептал Саша Милый. — Молния молнии глаз не выжжет.

Образ Магнетической Адольфины не замедлил предстать перед его внутренним взором. Некрасивая, с большими ступнями и грубым голосом, с темным пушком над верхней губой, обещающим лет через десять-пятнадцать превратиться в настоящие гусарские усы... Чем она так притягивала его? Своим оглушительным безумием? А ведь, надо признать, было в нем, в этом безумии, что-то такое... что-то недостижимое, что-то взывающее из бездны, которой не ведомы ни страх, ни сомнения, ни сожаления. Эх, ему бы такую мощь!..

— Что это там? — спросил Гений Вишнуевский, показывая пальцем на кресло, возле которого валялся листок бумаги. — Стихи? Что-нибудь новенькое?

Саша Милый наклонился и подобрал с пола исписанный незнакомым почерком листок.

— А мне вот совсем не пишется, — удрученно вздохнул Гений Вишнуевский. — Сажусь за стол, беру тетрадь, ручку... Пишу, пишу... а потом глядь: на бумаге — ни слова!

— Паралич алфавита, — тоном знатока сказал Саша Милый.

— Ну, так что там? — спросил Гений Вишнуевский, видя, с какой нерешительностью его друг вертит в руках листок. — Читай вслух.

— Прочти сам.

— Ладно, давай сюда!

*«Милостивые Доны! — прочитал он. — Обращаюсь ко всем. Съезд на носу. Осталось упомянуть об одном деле, которое в суматохе отъезда может выскользнуть из виду, чего бы очень не хотелось. Именно следующее: с живейшим неудовольствием*

*прослушал я по телефону сообщение о том, что, мол, найти парня Кошляка В.П. до сих пор не представилось возможным — ну, ясно, вы же не УВД, но ведь и не пустое место! Не мог он просто так скрыться. Расспросите соседей. Сделайте что-нибудь! Есть основания полагать, что этот прыткий малый написал роман «Книга Книг». Непременно найдите его и приведите на наш съезд. Как и многие другие, я могу ошибаться, но если я ошибаюсь, то всего лишь некая часть кинетической энергии окажется потраченной зря, а если я прав, то самое большее, что мы можем сделать для литературы, это не мартать бумагу, а вывести парня Кошляка В.П. на пути прямые. Личная жизнь, локальные взгляды — все пустое. С приветом. Мануильский.*

*P.S. Если Коханов явится на съезд без стихов — кастрирую!»*

— Что за черт! С литтеррористами спутался? Откуда у тебя это?

— Не помню, — отмахнулся Саша Милый.

Гений Вишнуевский нахмурился.

— Значит, уже и под тебя подкапываются, — сказал он. — Бумажку надо сжечь. Немедленно.

— Сжечь?

— А ты забыл, что за тобой следят?

Жестом капризного ребенка Саша Милый выхватил письмо из рук Гения Вишнуевского, скомкал его и, опустив в пепельницу, поджег. Пока директивы от Мануильского, шипя и выделяя едкий дым, корчились в огне, друзья выпили по четвертой. Нетронутые до сих пор соленые огурцы теперь стали и вовсе неуместны.

— Не могу поверить, — произнес Гений Вишнуевский, с задумчивым видом беря огурец и макая его в пепельницу с дымящимся пеплом, будто в специи. — Чтобы этот малохолдный Кошляк написал «Книгу Книг»? Да быть такого не может!

— А кто ее написал?

Гений Вишнуевский пожал плечами:

— А кто ее видел? Ее вообще никто в глаза не видел, эту «Книгу Книг». Может, она просто не существует...

«Ну, малохолдный Кошляк или нет, а морду Швыряеву набил! — подумал Саша Милый. — А ведь никто от него такого не ожидал. Так почему бы ему и «Книгу Книг» не написать?»

Выпили по пятой, после чего обоих поэтов начало заметно пошатывать.

— А где твоя жена? — снова спросил Гений Вишнуевский, видимо, забыв, что уже задавал этот вопрос.

Саша Мильй мысленно представил, как жена его скачет верхом на волгллом мокряке по тонущему городу, а потом на резиновой лодке без весел плывет по разливавшемуся Днепру и ее затягивает в водоворот или проглатывает гигантская доисторическая рептилия... В сущности, что за жизнь у них была? И вспомнить нечего. Это открытие его поразило. Они ни разу не гуляли вместе по городу, не любовались луной, не кормили бродячих животных яблочными пирогами. Они и сами детьми не были, и своих не родили. Она никогда с ним не спорила, ни о чем не спрашивала. И вечно эта недоулыбка на лице... Не жена, а сновидение!.. Может, встречаясь с Троеглазым, она и обрела плоть, но ее присутствие здесь, в их общем доме, — особенно в последнее время, — было одним из проявлений иллюзорности этого мира. И вот он, закономерный финал: два дня назад ни с того ни с сего она назвала его тюфяком и ничтожеством и ушла к подруге за ластами, а он, так и не найдя, что ответить, — на вечеринку к Лямуру Двердомскому, после которой ничего не помнил.

Тем временем была откупорена вторая бутылка коньяка. Выпили по шестой, и по седьмой, и по восьмой тоже выпили... После девятой из глаз Саша Милого потекли слезы.

— У меня для тебя кое-что есть, — пьяно прогнусавил Гений Вишнуевский; рука его лежала на загадочном свертке, а самого его сильно качало.

— Что это? — спросил Саша Мильй, утирая слезы тыльной стороной руки.

— Потом, — коротко отсек Гений Вишнуевский.

Выпили по десятой, и Саша Мильй куда-то удалился. Дождь звонко барабанил по жестяным карнизам. Вскоре к монотонной музыке дождя добавился звук сливаемой из бачка воды. Еще через минуту Саша Мильй появился со спичечным коробком в одной руке и двумя пустыми папиросными гильзами — в другой. Молча он разложил все это на рояле. В спичечном коробке было зелье, и пока Гений Вишнуевский, по-прежнему держась рукой за свертки, — тем самым сохраняя шаткое равновесие, — сосредоточенно следил за действиями своего друга, тот, задумчиво улыбаясь, набивал тугие «косяки».

— Мы что, всё выпили? — промямлил Гений Вишнуевский. — Минуточку...

Он стащил с рояля свой плащ, ощупал его и так, и этак, и в досаде бросил на пол. Потом сердито уставился на полированную поверхность рояля с перевернутым отражением пустых бутылок из-под коньяка. Саша Милый протянул ему папиросу с зельем.

— Знаешь, кто ты? — обличительным тоном вопрошал Гений Вишнуевский, пытаясь схватить ускользающую папиросу.

— Я — мыслящий одуванчик!

— Хорошо, будь по-твоему.

Они покурили.

— Но так жить больше нельзя, — ни с того ни с сего заявил Гений Вишнуевский, тыча пальцем в грудь Саши Милого.

— Нельзя, — согласился тот.

— Ну что это за жизнь, старина?

— Да, жизнь у меня — не филе! — в порыве самобичевания взревел Саша Милый. — Сплошь хрящи и сухожилья!..

— Работы у тебя нет, — подрубил его Гений Вишнуевский, что называется, под самый корень. — Денег нет... Жены нет... Будущего нет... Нет будущего!

Саша Милый как-то сразу обмяк и только послушно кивал отяжелевшей головой. Кивал так сильно, что, казалось, еще два-три кивка — и голова свалится на пол. На всякий случай он стал придерживать ее руками.

— Настоящего тоже нет, — не унимался Гений Вишнуевский. — Прошрое если и было, то туманное...

— Туманное, — повторил Саша Милый, крепко сжимая голову руками.

— С Адольфиной разобраться не можешь...

— О Адольфина! Женщина-бритва!.. Об нее можно порезаться...

— Ничего у тебя нет... кроме стихов.

— Стихи есть, — подтвердил Саша Милый.

— И кто их слышал, кто читал, кроме меня и горстки таких же полоумных поэтов?

Саша Милый представил, как читает Магнетической Адольфине свои стихи, а она в упоении внимает каждому его слову, чарующему голосу, целует ему руки и шепчет: «О, как тонко, как глубоко! Хрустальная душа! О, как я люблю тебя...»

— Я буду читать их Адольфине, — прошептал он.

— Чушь это все! — перебил его Гений Вишнуевский. — Ты должен изменить свою жизнь! Поменять мозги! Понимаешь?.. Ну ничего, я тебе помогу.

Ноги его подгибались в коленях. Казалось, он хотел прилечь, но никак не может на это решиться.

— Вот. Это тебе, — и Гений Вишнуевский потянулся к круглому свертку на рояле, опрокидывая пустые бутылки и стаканы.

— Что это? — безразличным тоном спросил Саша Милый.

— Српрз! — ответил Гений Вишнуевский, ограничившись согласными звуками; видимо, на гласные ему не хватило сил.

С минуту друзья раскачивались из стороны в сторону, стараясь сосредоточиться на свертке. Некая сила то низко наклоняла их к нему, словно понуждая бить поклоны, то отстраняла за ненадобностью. В какой-то момент им стало все равно: можно было так раскачиваться и раскачиваться — до самого утра...

Наконец Гению Вишнуевскому удалось зацепиться взглядом за сверток, и таким образом маятник был остановлен. Плохо слушающимися пальцами он принялся отдирать скотч от грубой оберточной бумаги.

— Арбуз? — односложно спросил Саша Милый.

Гений Вишнуевский сильно замотал головой, отчего потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.

— Дыня?

— Не-а... Угадай с трех раз... Два уже было.

— Не знаю, — и Саша Милый издал неприличный звук губами.

— Спокойно! — Гений Вишнуевский развернул сверток. — Это — голова.

Сначала Саша Милый увидел радужное сияние, а когда оно стало рассеиваться, то и саму голову. Лысая, с закрытыми глазами, с плотно сомкнутым ртом, она покоилась на черной и гладкой, будто ночное озеро, поверхности рояля. Потом стало темно, и Саша Милый полетел... Когда он прилетел, в глазах сияло и переливалось. Он обнаружил себя лежащим на полу.

— Шура, друг мой! — над ним, стоя на коленях и едва не падая, склонился Гений Вишнуевский.

— Ты убил его! — выдавил из себя Саша Милый и зарыдал, сотрясаясь всем телом. — Тебя расстреляют!

Гений Вишнуевский гладил его по лысине и бормотал какие-то успокоительные слова.

— Тебя расстреляют! Что же теперь будет? Что будет?..

— Никого я не убивал, — неожиданно спокойно и трезво сказал Гений Вишнуевский; он тяжело поднялся с колен, подошел к лежащей на рояле голове и подул на ее лысину, как бы сдувая с нее пыль. — Купил я ее.

— Как это, купил?

— За двадцать рублей. Я когда ее увидел, сразу о тебе подумал... Старик! Это именно то, что тебе нужно. Смотри, и прическа, как у тебя: расческа не понадобится... Так что она твоя. Носи на здоровье!

Сила и мощь недоумения помогли Саше Милому подняться с пола.

— Но у меня уже есть одна!

— Она никуда не годится, — безапелляционным тоном возразил Гений Вишнуевский. — Мы ее кому-нибудь продадим...

— Продадим?! Как это?.. Я не хочу!

— Хочешь, старик, я знаю. Но боишься... Ты просто доверься мне, хорошо? Просто доверься. Ну давай, еще покурим и — за дело!

Они выкурили еще по «косячку». «Просто доверься мне, просто доверься», — без конца повторял Гений Вишнуевский, пытаясь остановить раскачивающийся пол. В протяжении всего этого времени Саша Милый не спускал глаз со спящей головы. Один раз ему почудилось, будто она улыбнулась во сне. Потом голова поочередно становилась изумрудной, аметистовой, алмазной и, в довершение, огненной. Она была активированным бриллиантом, холодным пламенем, звездой, несущейся с бешеной скоростью в бездне космоса...

### III

...Через весь потолок, потемневший от копоти и влаги, тянулась трещина. Поверхность потолка была похожа на разорванный пополам пергамент. Некоторое время Саша Милый, сидя в кресле и задрав голову, изучал этот пергамент. Так ничего в нем и не вычитав для себя, он вскочил с кресла и подошел к окну. За мокрым стеклом громоздился серый день, смешанный с дождем. По улице, словно оловянные солдатики, по колена в воде передвигались пешеходы, медленно проплывали автомобили и надувные лодки с людьми под зонтиками. Тряпки, которыми были заложены щели в оконной раме, за ночь промокли насквозь, и вода с них стекала по подоконнику на пол. Глубоко вздохнув, Саша Милый на-

правился в ванную комнату за тазиком. По дороге он ощутил непривычную упругость в мышцах и вообще — небывалую легкость во всем теле. Давно забытое чувство. Это его приятно удивило. Строгие прямые линии и плоскости, из которых состоял объем квартиры, почему-то уменьшились в размерах, а углы словно стянулись поближе к центру, где находился рояль жены, который, казалось, тоже уменьшился и из концертного превратился в кабинетный. И в какую бы сторону не перемещался Саша Милый, он неизменно оказывался в этом центре с проклятым роялем, как будто тот перемещался вместе с ним. И эти линии и плоскости, параллельные и перпендикулярные, и этот ровный, замерший по стойке смирно дождь, и серый свет, исколотый ветвями деревьев, и зеркальные окна соседних домов, и «оловянные солдатики» внизу поражали четкостью и чистотой форм и странной отстраненностью. В прихожей под вешалкой валялось чье-то кашне, обсыпанное сигаретным пеплом. Саша Милый поднял его и отряхнул. Очевидно, это было кашне его «лучшего друга» Геня Вишнуевского. Вот растяпа! Как он еще голову свою не забыл? Только вот зачем он пустые бутылки из-под коньяка унес — это вопрос.

Уже в ванной комнате, совершая туалет, он с удивлением осознал, что у него совсем нет похмелья. И это «после вчерашнего» — шутка ли сказать: две бутылки коньяка на двоих и изрядная порция зелья, да еще на голодный желудок! И тут он вспомнил весь этот пьяный бред про голову из авоськи, про новую жизнь... О, Господи! Он осторожно ощупал голову и посмотрел в зеркало над умывальником. В зеркале он выглядел мужественнее обычного: и взгляд — тяжелее, и подбородок — мощнее. Он провел рукой по сверкающей в электрическом свете лысине... Это была не какая-то там бледная, лишенная тонуса плешь яйцеголового интеллигента, а полнокровная, пышущая здоровьем гладкая полусфера — типичная лысина командарма. Увиденное в зеркале Саше Милому неожиданно для него самого понравилось. Это был он и не он. Может быть, это был он, но такой, каким ему всегда хотелось быть...

Он бросился к телефону. «Нужно срочно позвонить Вишнуевскому!» Но телефон не работал. «Из-за проклятых дождей, — смекнул Саша Милый. Он услышал, как открывается входная дверь. — Ага, наверное, вернулся за своим кашне!»

— Ты дома? — Это был голос жены. — Почему дверь не закрыта?



Саша Милый в изумлении поднял голову. Вот уж не ожидал ее возвращения! Жена стояла в дверном проеме, не входя в комнату, словно боясь приобщиться к беспорядку, царившему вокруг. Вода ручьями стекала по ее плащу на пол.

— О! А я думал, ты где-нибудь в открытом море, — сказал он, кладя телефонную трубку на рычаг. — Плынешь себе в ореховой скорлупке, ложками столовыми гребешь.

Жена растерянно повела плечами.

— Ласты принесла? — строго спросил он.

— Какие еще ласты?..

— Не смей со мной разговаривать в таком тоне! Я тебе не твой фотограф-концептуалист!

Жена отвернулась, закрыв лицо руками.

— И вообще! — Саша Милый топнул ногой, удивляясь само себе, а точнее, своей неожиданной мощи. — С меня хватит!..

Он быстро оделся, натянул на ноги старые рыбацкие сапоги, такие высокие, что были ему по пояс, на голову — кепку, схватил лыжную палку и решительно направился к двери:

— Порядок наведи! — с порога, не оборачиваясь, крикнул он.

На лестнице ему вдруг стало жаль жену. А ведь минуту назад он ее ненавидел! Но разве она одна виновата в том, как они жили?.. Это было какое-то совершенно неожиданное чувство, очень его смутившее. Захлопнув за собой дверь, он впервые за долгие годы их вялого, анемичного брака почувствовал свое нравственное превосходство, но вместо радости это причинило ему боль. С этой болью Саша Милый и вышел на улицу.

Дождь лил, не переставая. В тяжелых сапогах, походкой космонавта, он медленно брел по колена в воде, предваряя каждый свой шаг лыжной палкой: приходилось быть особенно внимательным, чтобы случайно не угодить в какой-нибудь открытый канализационный люк. Слежки за ним не было. Неужели его оставили в покое?.. «Из-за наводнения, наверно», — с облегчением подумал он. На перекрестии улиц Толстого и Саксаганского стоял сошедший с рельс и наполовину затопленный трамвай. Девятый номер. Видимо, застрял, так и не доехав до железнодорожного вокзала. Вот уже несколько дней, как он ржавел здесь, похожий на корабль, севший на мель и покинутый командой, и вокруг него по черной воде проплывали золотые листья тополей и ясеней. Бродяги облюбовали этот «корабль» для своих ночлегов, но днем он пустовал. Не считая, конечно, ворон, ютившихся сейчас на его крыше, — они громко каркали на каждого, кто осмеливался по-

дойти ближе. Обогнув трамвай, Саша Мильй свернул на улицу Толстого, которая забирала круто вверх, и побрел прямо по проезжей части. Справа тянулся ряд домов без каких-либо признаков жизни, казалось, замкнутых на все засовы, с тусклыми, непроглядными стеклами окон и балконных дверей, а слева — покосившаяся каменная, с поржавевшими металлическими решетками, ограда Старого Ботанического сада. Под дождем сад шумел как море. Мутные потоки воды с грохотом неслись навстречу Саше Милому, неся с собой разнообразный мусор, но зато и глубина в этом месте была не очень большой, приблизительно по щиколотку, так что из-под воды проступали рельсы еще одной трамвайной линии, точнее, того, что от нее осталось. «А я не одинок в этот день Посейдона!» — не без гордости отметил Саша Мильй. Впереди маячили еще две фигуры — в плащах с высокими капюшонами. Они тоже медленно продвигались вверх, прокладывая себе путь длинными посохами. «Пилигримы, — подумал Саша Мильй, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Господи, и куда мы все идем?» Мимо, вздымая волну, с натужным ревом, проползла пожарная машина. Из ее кабины через открытое окно доносились непристойные слова. Повернув направо, на Тарасовскую, машина скрылась за поворотом.

Наконец Саша Мильй добрался до входа в Старый Ботанический сад в виде скромных размеров античных ворот с облупившейся и посеревшей белой краской на колоннах. Пройдя напрямую через сад, чем сократил путь вдвое, Саша Мильй вышел на Бибиковский бульвар имени Шевченко и направился к станции метро «Университетская», в надежде купить там сигарет, если, конечно, табачный киоск не смыло большой водой. Он не сразу узнал здание метро: огромный стеклянный купол его был полностью накрыт брезентом, а перед входом рабочие в оранжевых жилетах рыли траншею. «Делать им нечего?» — подумал Саша Мильй. Киоск героически работал. Купив сигарет, Саша Мильй направил было тяжелые стопы свои к подземному переходу, чтобы выйти на противоположную сторону бульвара к Владимирскому собору, но переход оказался полностью затопленным. Машины мчались по бульвару, не останавливаясь, словно моторные лодки, поднимая за собой волну за волной, — так что пришлось добрых полчаса потратить на переправу. Во Владимирском соборе, который теперь стоял посреди широко разлившегося озера, звонили колокола. Со всех сторон к собору стягивались люди, они ступали по колено в воде, подобно цаплям, высоко поднимая ноги, а на-

встречу им из открытых дверей храма долетали отзвуки скорбного пения. «Вот он, конец света!» — мелькнуло в голове Саши Милого, и он вспомнил, как Бормотеев на вечеринке у Лямура Двердомского читал свою поэму о Ноевом ковчеге. Что-то там было про «хляби небесные» — и прочая литературщина. Этакая поэма-утопленник... Метафора его развеселила. Даже не то чтобы развеселила... Просто в свете последних событий и переживаний перед ним так отчетливо открылась красота жизни и вся та высокая значительность ее суровых проявлений, которые, подобно волшебному камертону, приводят человеческую душу в состояние гармонии, что прежняя поэзия — как его друзей, так и собственная, — показалась несущественной, глупой, пустой и действительно никому не нужной. И, что еще хуже, и жизнь их была такой же! Жизнь без судьбы. Это как стихи без поэзии. Или поэт без стихов... Стихия, борьба, любовь и ненависть — вот в чем нужно искать и находить подлинную поэзию. Вот в чем настоящая жизнь! И ведь все это у него есть, есть! И судьба у него есть — он чувствовал это, как никогда прежде. Да, и не может быть другому!.. Он радостно рассмеялся. «Как легко на сердце! Как легко!» — повторял он про себя, подставляя лицо дождю. Низкое мглистое небо ползло над самой его головой, но теперь оно не было таким беспросветным и давящим, и дождь начинал терять свою силу. Этого пока никто вокруг не замечал, и люди делали то, что и должны были делать: укрепляли жилища и здания учреждений, передвигались куда-то, ведомые своими интересами или необходимостью, продолжали работать, кого-то ждали, о ком-то тревожились...

На Фундуклеевской имени Ленина образовался длинный затор. Рычали моторы, автомобильные клаксоны отчаянно сигнализировали, водители ругались. «Чайник» не работал. Несколько человек в комбинезонах вычерпывали кофейниками из него воду.

— Помощь нужна? — спросил Саша Милый в порыве альтруизма.

— Ничего, сами управимся!

В дверях показалось озабоченное лицо официантки Аси.

— Часа через два откроемся, — сказала она, увидев Сашу Милого. — Нас не сильно залило.

— Это точно, — подтвердил один из черпальщиков. — Другим повезло меньше. Вон в Оперном, со стороны служебного входа, — видите? — вестибюль затопило полностью.

Саша Милый непроизвольно повернул голову в направлении Оперного театра. Там на полную мощность работал водяной насос и суетились артисты в костюмах шекспировских времен.

Попрощавшись с Асей и черпальщиками, он пошел дальше. Без определенной цели. Просто нужно было куда-нибудь идти и не останавливаться. И он шел и не останавливался светозарно улыбаясь и шаря лыжной палкой впереди себя, словно шупом.

Так, ощупью, он спустился на Крецатик. Здесь повсюду стояла военная техника, было много солдат. Перед входом в метро солдаты рыли траншеею для отвода воды, и люди по одному короткими шажками передвигались через нее по деревянным мосткам. «Ах, вот оно что! — сообразил Саша Милый. — Это чтобы вода не хлынула в подземку». На Бессарабке появились рыбаки с длинными удочками и спиннингами — они безуспешно пытались выудить «сбежавшую» из магазина «Океан» живую рыбу: лещей, зеркальных карпов, щук. По Европейской площади имени Ленинского Комсомола плавали великолепные черные и белые лебеди. Они держались парами, грациозно выгибая шеи. Это было восхитительно! Саша Милый смотрел на них и не мог налюбоваться. Он чувствовал: нечто великое вершится вокруг — для всех, для каждого и для него лично. И потому хотелось делать что-то очень важное, судьбоносное. Хотелось жить... «Да-да, это начало судьбы! Я напишу об этом, — думал он восторженно. — Я напишу поэму... И я влюблюсь! Я влюблюсь в самую прекрасную женщину в мире, женюсь на ней, и мы родим детей похожих на ангелов... Что же еще? Ах да! Я брошу пить...»

И тут он увидел Магнетическую Адольфину. Она шла навстречу, не замечая его. Без зонтика, без шапки, в мокрой обвисшей одежде, почти по колено в воде. Это было так неожиданно! Но странно: видя сейчас эту женщину, Саша Милый больше не испытывал к ней того прежнего романтического чувства, того трепетного восхищения и, одновременно, ужаса перед ее мощью и ее неистовыми стихами — наполовину от сумасшествия, наполовину от гениальности, а может быть, наполовину от Ада, наполовину от Рая. Да, его экзальтированная влюбленность не была любовью и никогда ею не стала бы. Скорее всего, в нем корчился маленький раб, силящийся снискать, выпросить для себя у хозяйки ее расположение. А хозяйка-то сама была рабыней, хоть и с амбициями и повадками рабовладелицы.

Вот она бредет по воде, одинокая, несчастная, безумная... Путь в никуда. Полуденный моцион утопленницы: в поисках мес-

та поглубже. Марианской впадины, например, — меньшего не предлагать... Сейчас он остановит ее, он прервет это шествие в бездну и поднесет в дар свое лучшее стихотворение. Он возьмет ее за руки и, наслаждаясь триумфом, будет читать ей и снова перечитывать прекрасные строфы — посреди всемирного потопа...

Он стал судорожно вспоминать стихотворение, которое было бы достойно этой судьбоносной минуты, отвергая одно за другим. А когда Магнетическая Адольфина приблизилась на расстояние вытянутой руки, рванулся к ней как дельфин из воды и вместо того, чтобы прочесть стихотворение, обхватил ладонями ее мокрое лицо и поцеловал в губы каким-то чмокающим немужским поцелуем. И пошел дальше, не оглядываясь. «Животное!» — услышал он за спиной скрипучий окрик Магнетической Адольфины.

#### IV

К вечеру, когда наметились сумерки, Саша Милый оказался на Подоле. Не то чтобы он туда стремился заранее с какой-то определенной целью — просто дорога привела. Дождь заметно приутих — видимо, иссякали «хляби небесные», или ундины с саламандрами все же сумели заключить между собой перемирие. Вода на мостовых и тротуарах начала понемногу спадать, на улицах появилось больше людей. Все устали, и хотелось, наконец, хотя бы на какое-то время перевести дух.

На Почтовой площади, проходя мимо Фуникулера, Саша Милый заметил за собой слежку. Высокого роста человек в архаическом, чекистского покроя, кожаном плаще и шляпе гнетущего черного цвета, под черным зонтом и, — что выглядело уж совсем нелепо, — с зеленой стекляшкой старомодного монокля в глазу, целый квартал шел за ним следом, нарочито громко хлопая по лужам, а потом скрылся куда-то. Может, это и не слежка была, а только показалось, тем более что филеры, которые в последнее время пасли Сашу Милого, имели не столь вызывающе респектабельный вид — серые, будто припорошенные пылью, невзрачные и, как дурные сны после внезапного пробуждения, незапоминающиеся, но оставляющие после себя неприятный осадок, какой-то необъяснимый холодок в сердце... Ах да! Сердце... С приходом сумерек радость на сердце у Саши Милого несколько потускнела, а от мысли, что слежка за ним возобновилась, настроение и вовсе испортилось. Он снова и снова пытался полюбить свою жизнь, как это было еще утром, но вся она словно уле-

тучилась впотьмах, перешла в разряд «бывшего». И все, что окружало, — дома, скверы, улицы, люди, — тянулось оттуда, из того небытия. Все, что звалось живым, распадалось и отмирало. Ничего не оставалось, ничего, за что можно было бы зацепиться. Где любимые, где друзья? Где судьба — *его Судьба?*.. Он почувствовал себя таким крошечным, таким одиноким, заброшенным... Таким смертным!

Дождь окончательно прекратился, кое-где зажглись фонари — первые за долгие дни стихийного бедствия, — и Саша Милый почувствовал себя лучше. На Контрактной площади было довольнолюдно. Дворники метлами сгребали воду с тротуаров в канализационные люки. Саша Милый увидел Геня Вишнуевского. «Лепший друг» стоял на трамвайной остановке, нервно переминаясь с ноги на ногу. В руке у него была авоська с каким-то свертком величиной с человеческую голову. Саша Милый опомниться не успел, как Гений Вишнуевский вскочил в подошедший в эту минуту трамвай, двери за ним захлопнулись, и трамвай, визжа и трезвоня, покатился прочь. «Не может быть!» — Сашу Милого бросило в холодный пот. Этот таинственный сверток в авоське!.. Он непроизвольно коснулся рукой своей головы. «Нет, этого не может быть!» — в полном смятении повторял он. И тут он понял, что если прямо сейчас чего-нибудь не выпьет, то сойдет с ума. Порывшись в кармане, Саша Милый нашел металлический рубль, отчеканенный Монетным двором к какому-то юбилею. Было еще несколько медяков, но они — не в счет. «О, рубль моей юности! Когда-то ты дарил мне целый день жизни... — подумал он с горечью. — Ладно, сойдет и пиво».

— А что, не плохо бы пивка попить, молодой человек! — услышал он за своей спиной, которую почему-то сразу пронзило холодом, словно по голой, по ней скользнули чьи-то ледяные шупальца.

Саша Милый медленно обернулся. Перед ним стоял тот самый субъект в черном кожаном плаще с зеленой стекляшкой в глазу. Так, значит, он действительно за ним шпионил! Гражданин радушно улыбался, но от этого радушия хотелось тотчас куда-нибудь бежать. Плечи его под плащом со стилизованными погончиками странно топорщились вверх, и вообще он весь топорщился вверх; и даже длинные ноги его тоже вели себя странно: одна то и дело меняла свою форму, то удлиняясь, то укорачиваясь, а другая, наоборот, была прямой как ходуля. Но, что самое подозрительное, чтобы не сказать, ужасное, в негнущейся руке он дер-

жал авоську — точно такую же, как у Геня Вишнуевского, — и в этой чертовой авоське покоился точно такой же круглый сверток величиной с человеческую голову!..

— Поблизости есть одно уцелевшее заведение, — вкрадчивым голосом продолжал гражданин. — Составьте мне компанию, я угощаю.

Саша Милый весь съежился.

— Собственно, я вас не знаю, — попробовал увильнуть он.

— Но догадываетесь, кто я, не так ли?.. Да вы не бойтесь, — рассмеялся гражданин и спрятал свой монокль во внутренний карман плаща; на месте глаза зияла дыра. — Разрешите представиться: Захват Захватыч.

«Посланец Серого Терема», — чуть не добавил вслух Саша Милый.

— Ну, пойдёмте, пойдёмте, молодой человек, — мягко, но с упорством настаивал Захват Захватыч. — Побеседуем немного в приятной, неформальной обстановке.

Саша Милый покорно поплелся за Захват Захватычем: бежать все равно было бессмысленно, хоть тот, как оказалось, и прихрамывал на одну ногу. «Этот... из-под земли достанет, — подумал он, с тоской вглядываясь в черную спину Захват Захватыча, словно в бездну. — Да и почему я должен бежать? Я ни в чем не виноват».

Они остановились возле пивной. Это был пропахший пивом и вяленой рыбой старый подвал, в который вели крутые, отшлифованные множеством ног ступени. Еще совсем недавно над входом его красовалась перевернутая кверху дном лодка, служившая своеобразным навесом. Теперь лодка валялась в стороне, метрах в пятидесяти, прямо на проезжей части мостовой. В днище зияла внушительная пробоина. Видать, посудину похитили местные флибустьеры в пик дождей, когда вода на Подоле стояла по колено, а кое-где и по грудь, и то ли наскочили на риф, то ли сами подверглись нападению конкурентов.

В пивной было узко и тесно — как в субмарине. Табачный дым разъедал глаза. Стулья почему-то отсутствовали — народ пил стоя, что придавало процессу некую готическую торжественность. Внезапно, будто по чьему-то приказу, освободился стол. Захват Захватыч небрежно бросил на него авоську со свертком и громко прокричал в задымленное пространство: «Нам бы два пива, любезный...»

Саша Милый, будучи не в силах отвести глаз от этого ужасного свертка, чувствовал, как горит его лицо.

— Ну-с, молодой человек, так что вы хотели нам сообщить?

— Я? — изумился Саша Милый.

— Видите ли, я давно к вам присматриваюсь.

— Другими словами, шпионите за мной.

— Ну, зачем же так грубо! У нас достаточно ябедников. Настоящие профессионалы, должен заметить, и ябедничают исправно.

«Интересно, кого он имеет в виду?» — подумал Саша Милый.

Захват Захватыч достал из-за пазухи какие-то листы бумаги, свернутые в трубочку.

— Не желаете ознакомиться?

— Зачем?..

— Ну, мало ли? — Захват Захватыч положил листы на стол и разглядел их негнущейся рукой в кожаной перчатке зеленоватого упыриного цвета. — Вы что-нибудь слышали о «Книге Книг»?

«Ага, хочет и из меня сделать стукача!» — мгновенно сообразил Саша Милый, чувствуя, как коченеет его сердце.

— Повторяю свой вопрос: что вам известно о «Книге Книг»?

Саша Милый неуверенно мотнул головой:

— Не помню...

— Позвольте, как же так? — Захват Захватыч смерил его взглядом вивисектора. — Вы еще так молоды! Это я уже в том возрасте, когда развивается, извините за выражение, географический кретинизм, и пишешь, как слышишь, — с грамматическими ошибками. Да-с... Однако то, что следует помнить, я помню, будьте уверены...

Словно в ответ на это безапелляционное «будьте уверены», где-то на улице залаяла собака. Захват Захватыч наострил ухо, но лай также внезапно затих, как и начался.

— М-да, будьте уверены... — повторил Захват Захватыч, и снова залаяла собака, но на этот раз свирепей и заливистей. — М-да... Итак, — он постучал указательным пальцем по распластанной на липком столе рукописи. — Может, вам знаком почерк?

Саша Милый бросил боязливый взгляд на листы. Это была какая-то рукопись, вся в бурых пятнах, напоминавших следы от крови.

— Что это? — спросил он.

— Ну, уж во всяком случае, не вишневый сок, — ласково улыбнулся Захват Захватыч, и уже с несколько преувеличенной



серьезностью, как бы вдавливая каждое слово в голову своего собеседника, добавил: — Совершенно преступление. Мы рассчитываем на вашу помощь, молодой человек.

— Но чем же я могу помочь?

— Очень даже можете! Известен ли вам некто гражданин Кутищев?.. Нет? А некто по кличке «Классик»? Нас интересует его подлинное имя, и когда вы в последний раз его видели?..

Вопросы сыпались один за другим. В ответ Саша Милый упрямо мотал напряженным лицом.

— Сами видите, это лишь малая часть, — говорил Захват Захватч, ставя кружку с пивом на рукопись, чтобы промокнуть запотевшее дно. — А это значит, что где-то или, точнее, у кого-то находится все остальное безобразия.

— Безобразия? — осипшим голосом переспросил Саша Милый, как будто это слово его чем-то удивило.

Видите ли, молодой человек, у нас есть весьма нешуточные основания полагать, что сей поклеп, порочащий нашу с вами действительность, состряпан этим самым, с позволения сказать, «Классиком». Думаю, вам это известно не хуже меня... Перестаньте мотать головой, как китайский болван, и хорошенько меня послушайте. Налицо — целая цепь преступлений. Сначала — поклеп, а затем, как следствие, — уход из литературной жизни, а там и из жизни как таковой. Вы меня понимаете, надеюсь. Имеется труп. Расчлененный. Ну, мы его пока не нашли, но он есть... Это ужас что такое! Руки, ноги... Голову отрезали, вообразите себе!

Последние слова были произнесены так громко, что несколько пьянчуг, галдевших за соседними столами, умолкли и разом повернули свои сизые носы в их сторону.

— Настоящая бойня, — переходя на интимный шепот, закончил Захват Захватч.

— Но я... — начал было Саша Милый.

— Зачем вам эти неприятности? — прервал его Захват Захватч. — У вас и своих предостаточно. Если память мне не изменяет, жена ваша — пианистка, преподает в консерватории? К моему большому сожалению, ей грозит увольнение. Завтра.

— Завтра?..

— Увы, за аморальное поведение. Представляете? Но что ж я могу сделать? — Захват Захватч развел одной, здоровой рукой, в то время как вторая, негнущаяся, покоилась на свертке. — Да и вам тоже вряд ли доведется заполучить заветную сумку почтальона. Как, впрочем, и метлу дворника или ведро с клеем для рас-

клейки афиш. А не быть трудоустроенным — это, знаете ли, попадает тунеядством... Статья двести девятая Уголовного Кодекса ломится, как говорят в известных кругах. От года до трех, сортиры чистить. М-да... в лучшие времена и расстрелять могли... А тут еще и стихи ваши! Лично я не знаю ни одного издательства в городе, которое взяло бы их хотя бы к рассмотрению. Ну разве что когда-нибудь... После смерти... Поверьте, молодой человек, я ведь вам добра желаю. Но если вы не проявите достаточную меру лояльности, то даже я буду бессилён. Ну, а если мы договоримся... Помогите нам, и мы поможем вам.

Саша Милый сглотнул слюну и бросил взгляд на входную дверь.

— Обязательно поможем! Для начала можно издать книжечку ваших стихов, — как бы вслух размышлял Захват Захватывча, делая вид, что не заметил этой партизанской повадки. — И друзьям вашим можно было бы помочь... Я говорю о ваших настоящих друзьях, а не о тех, кто втягивает вас в смертельно опасные авантюры. Кстати, когда вы в последний раз видели гражданина Мануильского?.. И что он вам сказал?

— Да ничего... Я, собственно, с ним вообще не очень...

— Очень, очень хотелось бы вам верить. И знаете, мой вам совет: пора начинать новую жизнь. Влюбляйтесь, плодите детей, пишите полезные обществу стихи... Благодарный читатель ждет их, и надеюсь, когда-нибудь дождетсЯ. Можете мне поверить, молодой человек, ваша судьба исключительно в ваших руках... Пейте пиво. Что ж вы не пьете?

— Спасибо, я не пью.

— Как, уже не пьете? Похвально. Ну, а я не откажу себе в парочке глотков. Я, между прочим, тоже поэт в некотором роде. Моя поэзия — это, так сказать, сложные жизненные коллизии, в которых приходится непосредственно принимать участие. Работаю по найтию. А писанина, она — не более чем писанина... Ну да ладно. Ваше здоровье!

«Сколько же *поэм* на твоей совести?» — со злостью подумал Саша Милый.

Тонкие губы Захват Захватывча, подобно щупальцам, присосались к краю граненого бокала, послышались глотательные урчобные звуки, и кадык на его шее задвигался вверх-вниз, вверх-вниз. «Будто кровь мою пьет! — подумал Саша Милый. — А этот подозрительный сверток в авоське?! Все-таки что же там внутри?..» Его бил озноб, мысли путались. Вишнуевский!.. Неужели

его «лепший друг» попался с этой проклятой головой? Засыпался, дурак! Нет-нет, только не это! Да и как такое могло случиться? Он же сел в трамвай и уехал... А про Кошляка, выходит, им ничего не известно? Так кто же все-таки написал «Книгу Книг»?.. Боже правый! Вот же она — лежит прямо перед ним, на этом засаленном столе! «Книга Книг»!..

— Повторяю, это всего лишь ее малая часть, — сказал Захват Захватч и сухо добавил: — Остальное вам придется найти.

— Мне?! — вскрикнул Саша Милый, облившись потом.

— Вам, нам... Всем вместе, молодой человек. Вот моя визитная карточка. Если что-нибудь вспомните или раз узнаете, сразу звоните. В любое время. Да, кстати, времени у вас... — Захват Захватч вскинул руку, высвобождая из-под кожаного рукава костлявое запястье, схваченное металлическим браслетом ручных часов; минутная стрелка на черном циферблате, холодно посверкивая, бежала почему-то в противоположном направлении от часовой. — Вам осталось двадцать четыре часа. Вполне достаточно, чтобы правильно ими распорядиться. А теперь разрешите откланяться. Мне еще в продуктовый надо успеть, а то, как видите, у меня одна головка капусты на ужин и — больше ничего.

Захват Захватч снова свернул рукопись в трубочку, сунул за пазуху, вставил в пустую глазницу монокль с зеленой стекляшкой и, подцепив негнущейся рукой авоську со свертком, вышел из пивной. «Как же, капуста! Так я тебе и поверил», — подумал Саша Милый, в душе своей очень даже желая в это поверить. Он бездумно посмотрел на свое нетронутое пиво — в нем плавали кусочки льда, и толстое стекло кружки покрывала тонкая ледяная корка. Внезапно он ощутил, как сильно замерз. Словно проторчал целый час на трескучем морозе...

## V

Оказавшись на улице и удостоверившись, что Захват Захватча нигде нет, Саша Милый поспешил к ближайшей телефонной будке. Страх по-настоящему настиг его только сейчас. Он так испугался, что почувствовал, как вокруг него сгущается запах формалина... Телефонная будка была без стекол, с черными пятнами плесени на полу и потолке. Странно, но в будке тоже стоял запах формалина!.. Войдя внутрь и, плотно закрыв за собой пустую раму двери, что в смысле звукоизоляции было совершенно бесполезным действием, он сделал несколько глубоких вдохов и

выдохов, затем сунул руку в карман плаща. Вместе с двухкопеечной монеткой он нащупал там какую-то бумажку. Неужели какая-нибудь забытая трешка завалилась? — мелькнула слабая надежда. — А то и червонец? Хоть что-то хорошее за целый день!.. Но, увы, ничего казначейского, а значит, и ничего хорошего в этой мятой бумажке не было. Скорее, наоборот. Саша Милый развернул бумажку: «*Милостивые Доны!* — прочитал он. — *Обращаюсь ко всем. Съезд на носу, и т.д. и т.п...*» Боже мой! Это же письмо Дрюли Мануильского! Но как такое возможно? Ведь оно было сожжено этой ночью Гением Вишнуевским! В пепельнице! На рояле!.. Сам не зная зачем, Саша Милый зачихнул бумажку обратно в карман плаща. «А голова!.. — вспомнил он и мгновенно покрылся испариной. — Голова!..» Голова шла кругом. Наконец, собравшись с духом, он опустил в автомат двухкопеечную монетку, снял с рычага трубку и дрожащим пальцем набрал номер. Удушающее сладкий запах формалина в телефонной будке неожиданно исчез, однако, в виде компенсации, неизвестно откуда, тут же сменился тяжелым ароматом мочи.

— Алло! Ты уже дома? — взволнованно прокричал Саша Милый, услышав в трубке сонный голос Гения Вишнуевского.

— Что значит: *уже?* — обиделся тот. — Я *еще* дома. У меня ангина, никуда не выхожу.

— А голова?..

— Болит, конечно...

— Нет, я спрашиваю, *та* голова! — Она у тебя?

— Какая, к черту, голова? Ты о чем?

— Отрезанная!

— Шура, у тебя-то с головой как? Все в порядке? Или ты пьяный?

Саша Милый вздохнул с облегчением: значит, весь этот ужас с отрезанной головой не более чем кошмарный сон!

— Ладно, это я так, — сказал он, вытирая рукавом испарину со лба. — Я о другом хотел...

— Давай быстрее. Я хочу лечь в постель.

— Хорошо. Слушай, я видел «Книгу Книг». Точнее, часть ее. Клянусь, я видел ее собственными глазами!.. Пять минут назад! У меня была встреча... Но я не могу об этом по телефону. Надо срочно встретиться...

— Может, завтра? — заныл Гений Вишнуевский.

— Завтра будет поздно. Если ты мне действительно друг...

— Ну хорошо! Через полчаса — в «Чайнике»...

- Договорились. И будь осторожен.
- Осторожен?
- Да. Смотри, чтобы за тобой «хвоста» не было.
- Иди ты к черту!

Через сорок минут Саша Милый был на месте. В полчаса он никак не мог уложиться, поскольку идти в рыбацких сапогах вверх по Андреевскому спуску — дело не из легких. А лыжную палку, на которую можно было опираться, он впопыхах оставил в телефонной будке...

— Шикарные ботфорты! — сходу бросает Гений Вишнуевский, когда, еле волоча ноги в своих рыбацких сапогах, Саша Милый вваливается в «Чайник». — Это и есть твои сапоггискоророды? Непременный атрибут истинного конспиролога. — За столом также Старик Придумкин и литератор Бормотеев, вид у них встревоженный. — Выкладывай, что там у тебя?

Опустив, на всякий случай, эпизод с трамваем на Контрактной площади, где, как ему показалось, он видел Гения Вишнуевского с таинственным свертком в авоське, Саша Милый пытается рассказать обо всем, что с ним приключилось на Подоле. Честно говоря, получается не очень. От волнения он часто сбивается, теряя нить повествования, а точнее, границу между собственно повествованием и потоком сознания. Вдобавок, по ходу изложения рассказчик обильно инкрустирует сей неказистый гибрид печальными вздохами и нервическими смешками. Друзья сосредоточенно курят сигарету за сигаретой.

— Да еще этот запах формалина... — завершает свое скорбное повествование Саша Милый.

— Ко мне сегодня тоже приходили, — многозначительно сообщает Старик Придумкин. — Прямо в институт. После такого откровенного визита, думаю, мне недолго осталось там работать. В глазах начальства я законченный отщепенец и враг народа.

— Вон там, возле «меломана», только не оборачивайся, сидит шпик, — шепчет Саше Милому Бормотеев, прикрывая рот рукой. — Мы тут с Придумкиным битый час одну чашечку кофе цедим, а он все сидит и пялится на нас. И двое на улице.

Длинные ресницы Саши Милого в удивлении вздрагивают.

— Я никого там не видел...

— Говорю тебе, они там.

Старик Придумкин нервно теребит бороду:

— Как, ты говоришь, звали твоего инквизитора?

— Захват Захватывч... Он так представился. Да вот, у меня его визитка!

— Хм... А моего — Охран Охраныч.

— И что? — Саша Милый чувствует, как коченеют у него внутренности.

— Да ничего хорошего! «Книгу Книг», правда, не показывал, врать не буду, зато предлагал подсматривать, подслушивать и доносить. Даже настаивал.

— А ты — что?

— А... Нес всякий вздор — дурнем прикидывался. Выкручивался, как мог. Но, похоже, я этого Охраныча не очень-то убедил. Хитрая сволочь! Как и тебе, он дал мне сутки на размышление, и я сразу понял: эпикурейское «Проживи незаметно» мне больше не светит. В общем, что вам сказать! Я впервые чувствовал себя, как та подопытная мышь.

Таким серьезным Старика Придумкина Саша Милый, пожалуй, никогда раньше не видел. Лицо его осунулось, похудело, на нем обозначились глубокие морщины, особенно в уголках глаз.

— И как-то теперь совсем в другом свете, а точнее, в другом мраке, предстают все эти исчезновения, — продолжает Старик Придумкин, еще сильнее дергая себя за бороду. — Я имею в виду Иванова, Флюидова, Впетлина...

А Гений Вишнуевский изобличающим тоном добавляет:

— Малохольный Кошляк — и тот куда-то подевался!

— Да, и Кошляк... Может, и ему тоже предлагали «быть лояльным», а он не согласился. И где он теперь? И где остальные? В подвалах Серого Терема? В Скорбной Обители? На кладбище? Или где-нибудь прямо у дороги зарыты?.. А теперь, я так понимаю, пришла наша очередь?.. Что скажете, старинушки?

Старинушки молчат.

— Эх, даже посоветоваться не с кем!

Саша Милый вспоминает, что у него во внутреннем кармане плаща письмо Дрюли Мануильского, в котором тот просит срочно разыскать прозаика Кошляка. «Сказать об этом письме или нет?»

— Да уж, плохи наши дела, — задумчиво тянет Гений Вишнуевский.

— Да погоди ты! — снова переходит на взволнованный шепот Бормотеев. — Может, обойдется... Ко мне, например, никто из Серого Терема не приходил...

— Не волнуйся, обязательно придут.

— Ну, знаешь ли!

— Кстати, что-то давно не видно наших розенкрейцеров, — прерывает их Старик Придумкин.

— Ты о ком?

— Да о Мануильском с его тайным орденом.

— У них съезд, — сообщает Бормотеев. — На какой-то даче. Говорят, все уже в сборе, водку пьют, а самого Мануильского до сих пор нет.

— Он Кошляка ищет, — не выдерживает Саша Милый, рука его нащупывает во внутреннем кармане плаща письмо главного литтеррориста.

— Хочет предложить золотые горы? — желчно усмехается Старик Придумкин. — Ну-ну!

— Он думает, что это Кошляк написал «Книгу Книг»... Вот письмо. — Саша Милый протягивает Старика Придумкину мятый листок бумаги с предсъездовским посланием Дрюли Мануильского.

Сильно сощурившись, Старик Придумкин быстро пробегает письмо глазами и возвращает его Саше Милому:

— Окончательно свихнулся, революционер хренов! Кстати, тебе не поступала команда съесть это сразу по прочтении?.. Ладно, согласен, шутка неудачная. Не обижайся... — резким движением Старик Придумкин выхватывает из обмякшей руки Саши Милого вредоносное письмо, комкает его, кидает на блюдце и поджигает с первой спички. — Вот они, корчи Мануильского. А знаете, старинушки мои, какой девиз придумал для этих масонов наш Иванов? «Per rectum ad astra!», что означает: «Через задницу к звездам!» В другое время уж я бы посмеялся, а сейчас что-то не хочется... Да и мы не многим лучше. Вон как в поэтов заигрались.

«А ведь это девиз всей нашей жизни!» — внезапно осеняет Сашу Милого.

— Так что будем делать? — с недовольным видом вопрошает Гений Вишнуевский. — Дружно бросим писать стихи?

— Пока не знаю. Подумать надо.

— Старик, думать надо было раньше. А теперь надо что-то делать.

— Может, водки для начала? — предлагает робко Бормотеев, поглядывая на часы.

— Нет, — отрезает Старик Придумкин. — Только кофе. Мы на военном положении.

— Согласен, — поддерживает его Саша Милый.

Гений Вишнуевский смотрит на него в величайшем изумлении: «Согласен не пить водку? Неслыханно!» Он уже открывает рот, чтобы от души покуражиться над полным отсутствием военной выправки у Саши Милого, несмотря на его мушкетерские ботфорты и «военное положение» Старика Придумкина, но в эту минуту в кафе входит художник Корбюзьевич. Вид помятый, глаза красные, будто не спал по меньшей мере сутки. Безвольной рукой стаскивает с головы шляпу и медленно, словно к братской могиле, подходит к столу, за которым сидят поэты:

— Мне конец!

— Что, и к тебе тоже приходили? — Бормотеев бросает беглый взгляд на шпика возле «меломана» в дальнем углу. — Только говори тише, нас подслушивают.

— Моя мастерская!..

— В мастерскую приходили? Ну и что! Вон к Придумкину — прямо в институт...

— Мастерская сгорела... моя мастерская!

— Как сгорела?

— Сгорела!.. Дотла!

— Кругом потоп, а у него пожар, — философично замечает Гений Вишнуевский.

— Не надо так, — останавливает его Старик Придумкин. — Сейчас не до шуток... Корбюзьевич, как такое могло случиться? Может, поджог?

— Не знаю... Утром прихожу — а там!.. Черно, как в аду... Соседи тоже ничего не видели, ничего не знают, пожарников вызвали...

— А картины?

Художник Корбюзьевич обреченно опускает голову на грудь. Как раз в эту минуту в блюдце дотлевают письмо Дрюли Мануильского, и над сморщенной кучкой пепла струится прощальный голубоватый дымок.

— Что, и картины?! Не нравится мне все это, — Старик Придумкин уже с такой силой теребит свою бороду, что, кажется, она вот-вот сползет с его посуровевшего лица. — Ох, не нравится!

Да, такого поворота никто не ожидал. С молчаливым сочувствием друзья наблюдают, как руки художника Корбюзьевича мнут поля шляпы. Только Бормотеев все время как-то суетливо поглядывает на часы — может быть, это такая разновидность нервного тика.



— Может, это просто трагическая случайность? — с надеждой в голосе спрашивает он. — Короткое замыкание или там...

— Какая, к черту, случайность? — останавливает его Старик Придумкин. — Ты хоть сам веришь в то, что говоришь? — и, посмотрев с жалостью на художника Корбюзьевича, спрашивает: — Где же ты теперь будешь жить?

Художник Корбюзьевич мотает головой:

— Не знаю. Думал, у Худобеда несколько дней перебиться, но у него ремонт.

— А что если напросья к Двердомскому? — предлагает Бормотеев. — У него четырехкомнатная...

— Двердомский женится, ты что, забыл? — перебивает Гений Вишнуевский; похоже, Бормотеев начинает его раздражать.

— Ну, он всегда то женится, то не женится...

— На этот раз серьезно. Ты Лялька его видел? Нет? А я видел. Говорю тебе: там все очень серьезно. Они даже хотят тайно повенчаться.

— Кто? Двердомский — венчаться? Что ты мелешь?

— Ну, «как бы венчаться»...

— Вот то-то и оно! Он же ясно сказал: «как бы женюсь». Я и сам «как бы женился» знаешь, сколько раз? Уже и со счета сбился.

— Ага, а не женился еще чаще! Ладно, — Гений Вишнуевский хлопает Корбюзьевича по плечу, — можешь пока у меня пожить. Но учти, у меня ангина...

— Нет, — сурово возражает Старик Придумкин. — Думаю, сегодня никому из нас лучше домой не возвращаться.

Друзья оторопело переглядываются. Бормотеев снова поглядывает на часы, беспокойство его, похоже, нарастает вместе с неумолимым ходом стрелок. «Бери шинель, пошли домой!..» — несется из дальнего угла — это шпик, со скуки плюнув на инструкцию, запрещающую ему привлекать к себе внимание, бросил в щелочку музыкального аппарата свой медный пятак и нажал первую повернувшуюся кнопку на шкале песенного репертуара.

— Ой! Как же я мог забыть?! — Бормотеев вскакивает из-за стола и торопливо натягивает на себя ветровку с капюшоном. — У меня же встреча... очень важная!

— Скатертью дорога, — напутствует Гений Вишнуевский.

— Ну зачем же ты так? Завтра договорим...

— Ты доживи до завтра.

Пропустив эту малоприятную реплику Геня Вишнуевского мимо ушей, литератор Бормотеев, шаркая галошами, выходит из кафе. Друзья остаются вчетвером.

— Сбежал! — сквозь зубы презрительно цедит Гений Вишнуевский. — Трус. Я и раньше ему не доверял...

— Ничего, может, оно и к лучшему, — успокаивает его Старик Придумкин. — Пусть себе идет...

Честно говоря, Саша Милый и сам бы с радостью куда-нибудь ушел. Из этого дня, месяца, года — в какое-нибудь лучезарное будущее... Недобрые предчувствия овладевают им. Опасность, словно опухоль, растет, нарывает, и — он знает это точно — гнойный абсцесс будет мучить его до тех пор, пока нарыв не лопнет, и тогда этот день этого месяца и этого года умрет в страшных судорогах, и он вместе с ним, маленький, ничего не значащий солдатик на войне миров... «Война! — шепчет он. — Это же действительно война!» Но никто его не слышит, хотя ему кажется, что он кричит во все горло. А бедная жена его, наверное, сидит сейчас дома в полном одиночестве и грустно смотрит в темное окно на темную улицу или, может быть, играет на отсыревшем рояле «Песнь Сольвейг», или тихо молится, в то время, как он вынужден скитаться по дорогам войны, без права на скорое возвращение, ибо что может он принести домой сегодня, кроме этой войны?.. Слезы подступают к горлу... «Должен сделать вам одно признание», — тихий, но въедливый голос Старика Придумкина возвращает Сашу Милого к действительности.

— У меня есть то, что они ищут, — низко наклоняясь над столом, говорит Старик Придумкин...

«О чем это он?» — пытается понять Саша Милый; очевидно, он и не заметил, как на несколько минут впал в тупое оцепенение, что с ним нередко случалось, как правило, в самые неподходящие моменты, — и не слышал, о чем говорили друзья.

— «Книга Книг» у меня.

— Как у тебя? Шутишь?

— Нет, старинушки мои, не шучу — не до шуток теперь. Помните, как однажды здесь, в «Чайнике», с Кошляком приключился обморок?.. Так вот, когда вы этого бедного Рюрика вывели на улицу, под столом остался его портфель — желтоватенький такой, поносного цвета. Я не сразу его обнаружил, а потому и не побежал вас догонять, чтобы вернуть портфель Кошляку. Пришлось забрать его с собой, не бросать же!.. Разумеется, дома я открыл его. А что было делать: вдруг там бомба? — И Старик Придумкин нервно хохотнул. — Или диктофон...

— Диктофон? — переспрашивает Корбюзьевич. — Он что, нас записывал?

— Ну, я сначала так подумал. Мало ли что там в голове у этого Кошляка? Ты вот хорошо его знаешь?

— Не очень...

— То-то и оно!.. Короче, открываю портфель, а там — папка с какой-то рукописью. На папке надпись крупными буквами: «Книга Книг».

— Не может быть! — сдавленным голосом восклицает Гений Вишнуевский.

— Ну, от нечего делать, начал я его читать и за ночь кое-как осилил. И хотя на папке, помимо названия, значились имя и фамилия нашего малохольного прозаика, я понял, что он не единственный автор романа. По меньшей мере, полтора десятка страниц из двух сотен, включая первую, принадлежали перу другого автора. Это было хорошо видно и по стилю, и по уровню мастерства, и даже по тому, что, в отличие от всего текста, напечатанного на пишущей машинке, эти были написаны от руки и сильно испачканы — не то кровью, не то соком томатным. Так что я почти уверен, что листы, которые сегодня видел Саша Милый, и те, что каким-то неизвестным нам образом затесались в рукопись Кошляка, — из одного источника. И его имя нам хорошо известно...

— Классик! — выпалил Гений Вишнуевский. — И ты столько времени молчал?!.

— А что мне оставалось делать? Сначала я ждал, что объявится сам Кошляк, я хотел поговорить с ним. Но он исчез! А все дальнейшие события убедили меня в том, что рукопись эту лучше держать где-нибудь подальше от дома. И тогда я спрятал ее... — Старик Придумкин еще больше понижает голос, — я положил ее в камеру хранения на железнодорожном вокзале и стал ждать, что будет дальше... А молчал я, старинушка, потому, что не знал, кому можно доверять, а кому — нет... Кошляк так и не объявился. Более того, по неизвестным причинам пропал Лазарь Флюидов... Ну а потом — начались эти бесконечные дожди, потопа и, особенно, визиты из Серого Терема ко мне и к Саше Милому... Но сегодня... Пожар в мастерской нашего Корбюзьевича стал последней каплей, и я подумал, что лучше будет все вам рассказать.

Воцаряется тягостное молчание, усугубляемое невыносимой трезвостью. От этого создается впечатление, что люди в кафе разговаривают громче обычного, пьют больше обычного и вообще в целом выглядят и ведут себя веселее обычного. Их можно понять:

дожди прекратились, вода стала отступать, и мерзкие мокряки уползают прочь из города. Хочется праздника, хочется поскорее забыть тяготы и тревоги апокалиптических дней, чтобы завтра, засучив рукава, приняться за восстановление разрушенного. И кто же, как не поэты готовы в первых рядах ринуться в это безмятежное веселье, пить портвейн, читать бессмертные стихи, писать коллективный роман, но призраки Серого Терема и угрожающая неопределенность нависшего над ними ближайшего будущего держат их в сильнейшем напряжении.

— Что же нам теперь делать? — несмело подает голос Саша Милый. — Ты говоришь, домой нельзя. У меня там жена, а у Вишнуевского — ангина. Корбюзьевичу и вовсе податься некуда... Так как же нам быть?

С минуту Старик Придумкин молчит, размышляет. Затем говорит весьма решительным тоном:

— Командование беру на себя.

— Это на каком основании? — интересуется Гений Вишнуевский.

— По старшинству.

— Ты хоть в армии-то служил?

— Я, между прочим, старший лейтенант в отставке.

— Запаса, ты хотел сказать, — поправляет его Гений Вишнуевский.

— Есть и другой весомый аргумент: я читал «Книгу Книг», а вы — нет.

— Подумаешь!.. А кстати, о чем она?

— Отставить разговоры! Предлагаю план действий.

И Старик Придумкин живо излагает свой план, который вкратце сводится к следующему: первым делом надо забрать из камеры хранения портфель с рукописью «Книги Книг», поскольку хранить ее там долгое время — и легкомысленно, и опасно, после чего галопом мчаться на автовокзал, но не на Центральный, на Демеевке, а на Подольский — тот, что возле Житнего рынка, — сесть там на пригородный автобус и — айда к троюродной сестре Старика Придумкина, у которой под Вышгородом дача от второго мужа; там можно зарыть рукопись в огороде (не отдавать же ее, в самом деле, этому Захват Захватичу, или Охран Охраничу, или как там его на самом деле!) и недели две-три отсидеться, пока тучи не рассеются, либо не придет какое-нибудь новое хорошее решение. Рейсовый автобус отходит в пять тридцать утра, впереди целая ночь — достаточно времени, чтобы избавиться от слезки.

План был принят без возражений, поскольку ничего лучшего никто не мог предложить.

— А как же твой институт, твои крысы, работа? — спросил Гений Вишнуевский, когда друзья вышли на улицу. — За прогулы ведь уволить могут.

— Я со вчерашнего дня в отпуске, — успокоил его Старик Придумкин. — Две недели у меня есть, а там что-нибудь придумаю. Который час?

— Начало десятого.

— За мной, вперед!..

Шпики шагали следом, соблюдая дистанцию четко по инструкции.

— Пасут, сволочи, — проворчал Гений Вишнуевский.

Через полчаса вся четверка во главе со Стариком Придумкин-ным была на вокзале, под электронным табло с расписанием поездов. Оценив обстановку, Старик Придумкин предложил разделить — и встретиться через двадцать минут у центрального выхода. Саша Милый, Гений Вишнуевский и Корбюзьевич, совершая отвлекающий маневр, отправились на перроны к поездам, а сам Старик Придумкин побежал к камерам хранения — через буфет, зал ожидания, туалет, — часто останавливаясь и высматривая в пестрой людской сутолоке ставшие уже такими родными серые лица шпииков. Похоже, в конце концов ему удалось запутать следы и уйти в отрыв, но на выходе из камер хранения он буквально чуть не врезался в шпиика, который как раз в эту минуту с вытаращенными глазами пробежал мимо. Бросив цепкий взгляд на желтый портфель в руке Старика Придумкина, шпиик резко затормозил и свернул к табачному киоску, перед которым и остановился, как деревянный, делая вид, что собирается купить сигареты. Расчет был прост: пропустить объект наблюдения вперед. «Вот сволочь!» — Неожиданно для самого себя Старик Придумкин ощутил беспрецедентный кураж, или, правильнее было бы сказать, прилив дурноватой храбрости: вальжной походкой он подошел к киоску и, нагло встав рядом со шпииком, которому был по пояс, принялся любоваться сигаретными пачками, выставленными в витрине. Собственно, любоваться особо было нечем: художественное оформление отечественной табачной продукции как будто намеренно подталкивало к мысли о вреде курения. Да и ассортимент стремился к минимализму: всегда одни и те же «Столичные», «Экспресс», «Прима»... «Не хватает махорки и ки-

зяка!» — запальчиво подумал Старик Придумкин. Так продолжалось несколько минут. Даже со стороны эта сцена выглядела довольно странно: какой-то долговязый хмырь в болоньевом плаще и рядом с ним коротышка с огромным портфелем в руке всё топчутся и топчутся возле киоска, словно привязанные... Первым не выдержал Старик Придумкин, он резко метнулся прочь от киоска и засеменил к центральному входу, где его поджидали остальные поэты.

— За мной! — не останавливаясь, скомандовал он и уверенно повел маленький отряд в сторону площади Победы — очевидно, в голове у него уже сложился какой-то план.

Шли очень быстро, так что Саша Милый в своих «ботфортах» с трудом поспевал. Поднявшись по Безаковской улице имени Коминтерна, свернули налево, на Саксаганского. Впереди сверкала огнями площадь Победы. Шпики не отставали ни на шаг и висели у них, что называется, на плечах. Улица, по которой они сейчас, стараясь оторваться от преследования, неслись почти бегом, лет сто назад называлась Жандармской, и этот исторический факт, учитывая нынешние зловещие обстоятельства, представился Саше Милому глубоко символичным.

— Быстрее, быстрее! — нервничал Старик Придумкин. — Не отставать!

Но Саша Милый отставал все больше, ноги его едва слушались.

— Эй, кто-нибудь, помогите ему!

Гений Вишнуевский и Корбюзьевич подхватили его с двух сторон под руки и буквально поволокли на себе. Обогнув площадь, — на которой, несмотря на позднее время, было довольнолюдно, — друзья вывернули на Бульварно-Кудрявскую, имени Воровского, улицу, которая круто забирала вверх. Здесь им удалось вскочить в трамвай, что было равно настоящему чуду. Погоня отстала.

— Неужели ушли?.. Поверить не могу, — сказал Гений Вишнуевский, тяжело валясь на сиденье. — «Книга Книг» с тобой?

Вместо ответа Старик Придумкин похлопал рукой по портфелю.

— Покажи хоть, за что страдаем...

— Потом, не сейчас.

— Странно, — сквозь одышку вымолвил художник Корбюзьевич.

— Что тут странного? Трамвай не лучшее место для чтения таких книг. Да и не время сейчас — мы пока далеко не в безопасности.

— Странно, — снова повторил художник Корбюзьевич. — Они легко могли нас догнать и отобрать книгу. Но почему-то они этого не сделали.

— Ах, вот оно что! — протянул Старик Придумкин. — Это несложно: они думают, что мы приведем их прямо к автору.

— Шурик, ты живой? — Гений Вишнуевский обнял Сашу Милого за плечо, и лицо его дрогнуло в сочувственной улыбке.

— Живой... Только ногу натер.

— Ничего, главное, что не голову! — и Гений Вишнуевский весело рассмеялся.

При упоминании о «голове» Саша Милый вздрогнул, но ничего не ответил. Не очень-то хотелось выставлять себя в глазах «лучшего друга» полным идиотом.

— Да, без водки мир намного страшнее, чем я думал, — философично заметил Старик Придумкин.

Трамвай был старый, тряский, пропитанный сыростью. Натужно карабкался он в гору, гулко стуча колесами на стыках рельс; мимо, в окнах, проплывали графитовые стволы деревьев, редкие огни. Впереди, обхватив руками сумку, подремывал кондуктор, несколько пассажиров с подмокшими чемоданами и тюками тоже клевали носами. «Передвижное сонное царство», — подумал Саша Милый, с трудом удерживая зевоту. Ему представилась бескрайняя ночная степь и медленно движущийся по ней трамвай с грезящими возле окон призраками — «ползучий голландец»...

— Что же он так ползет! — теряя терпение, запричитал Гений Вишнуевский. — Сил моих нет!

Будто услышав его, трамвай резко затормозил и остановился, двери со скрежетом распахнулись, и друзья высадились возле Сенного рынка. Последним на землю сошел Гений Вишнуевский. Вид у него был озадаченный: впервые в жизни задумался он о своих паранормальных возможностях.

— Ух, ты! — воскликнул художник Корбюзьевич, указывая пальцем, но не на Гения Вишнуевского, а в ту сторону, откуда они только что приехали: там виднелись три темные фигуры темных силуэта в длинных плащах бодрым шагом быстро приближались к ним.

— Проклятье! — выругался Старик Придумкин. — Бежим! — и он увлек друзей за собой в ближайшую подворотню.

Они бежали какими-то погруженными во тьму проходными дворами-колодцами, мимо палисадников, детских площадок, мусорных контейнеров. Бежать пришлось по застоявшейся после проливных дождей воде — очевидно, старые стоки забились. Похоже, Старик Придумкин прекрасно знал эти места, что действительно помогало ему хорошо выполнять функции командира. Остановились всего один раз и с минуту напряженно прислушивались. Где-то позади слышалось хлопанье шагов. Старик Придумкин махнул рукой в сторону очередной подворотни.

— Вот! — вполголоса воскликнул Гений Вишнуевский. — Сейчас я чувствую, что живу по-настоящему... Шура, ты опять отстаешь.

— Ногу натер, — морщась от боли, простонал Саша Милый.

— Что опять случилось? — это был Старик Придумкин: он уже успел вместе с Корбюзьевичем нырнуть в подворотню, но, услышав за спиной стоны, вернулся.

— Да вот, — сказал Гений Вишнуевский, показывая на Сашу Милого. — Ногу натер.

Старик Придумкин с тревогой посмотрел на огромные сапоги Саши Милого:

— Идти можешь?

— А что, если не смогу, вы меня расстреляете? — в свой черед спросил Саша Милый раздраженно.

Старик Придумкин примирительно улыбнулся в ответ:

— Потерпи, скоро выберемся отсюда и сделаем привал. Главное — оторваться от шпиков, понимаешь?

Саша Милый кивнул головой.

— В таких-то сапогах? — подал голос из подворотни художник Корбюзьевич. — Нужно было портянки намотать!

— Ты-то откуда знаешь? — не без ревности в голосе поинтересовался Старик Придумкин.

— В книжках читал, командир.

— Ладно, пошли!

Спустя четверть часа они уже поднимались по Маловладимирской улице имени Чкалова, обходя намывы из песка и мусора, оставленные схлынувшей водой, затем, достигнув Ярославова Вала, свернули направо, в сторону Золотых Ворот. Вокруг — ни живой души, лишь несколько помятых автомобилей томились на приколе. В свете горящих фонарей четверо беглецов были как на



ладони. «Быстрее, быстрее!» — подгонял неутомимый Старик Придумкин. Стиснув зубы, Саша Милый ковылял следом, изо всех сил стараясь не отставать. Вот она, новая жизнь, о которой он мечтал, но думал ли он, что начнется она таким нелепым образом? Да, хороша, нечего сказать! Что же будет дальше?.. Впереди маячила спина Старика Придумкина, будто некий ориентир, или высота — недостижимая, но к которой все равно нужно стремиться. Вызывало искреннее недоумение, откуда в этом коротышке столько сил и сноровки? Можно подумать, у него за плечами две мировые войны!.. Вот свернули на Театральную имени Лысенко и — снова вниз, в сторону Оперного театра и «Чайника»... Почему сюда? Нам же на Подол, а он совершенно в противоположном направлении! Нужно было свернуть на Золотоворотскую улицу или пройти еще метров пятьдесят мимо Золотых ворот и свернуть на Владимирскую, а уже по ней — через Софиевскую площадь, и дальше, по Андреевскому спуску — прямо на Подол. Это самая короткая дорога...

— Их надо сбить с толку! — не оборачиваясь, кричит Старик Придумкин.

«Самим бы с толку не сбиться! — чуть не рыдая от боли в ноге, подумал Саша Милый. — Господи, когда это кончится?»

Впереди слышен чей-то разудалый пересвист.

— Назад! — кричит Старик Придумкин. — Назад!

Они резко разворачиваются и бегут назад. Но возле Золотых Ворот Старик Придумкин останавливается. «Вот черт! Вот черт!» — бормочет он. Массивная дубовая решетка опущена — ворота заперты. Ну да, заперты, как всегда! А на что он надеялся? На чудо? Старый дурак!..

— Что такое? Почему остановились? — спрашивает художник Корбюзьевич, в глазах у него отчаяние.

Старик Придумкин молча показывает рукой в сторону Владимирской улицы. Оттуда навстречу им бегут какие-то люди в длинных плащах. Один из них протяжно свистит. Ему отвечают таким же свистом сначала откуда-то справа, потом слева.

— Окружили! Нас окружили! — рычит Гений Вишнуевский, он дергает Старика Придумкина за рукав. — Куда теперь, командир?

В эту самую минуту в стене Золотых Ворот распахнулась маленькая деревянная дверь, и чей-то хрипловато-лающий голос призвал из темноты дверного проема:

— Сюда! Сюда давай!..

Терять было нечего. Один за другим беглецы юркнули в открывшийся проем, и дверь за ними тут же замкнулась.

Они оказались в тесном сыром помещении с низким потолком — оно было освещено горящим факелом, прикрепленным к стене. Прямо перед ними узкая каменная лестница круто уходила куда-то вниз, под землю. Тяжело дыша, друзья беспорядочно теснились перед этой лестницей, наступая друг другу на ноги и не зная, что предпринять дальше: оставаться ли здесь до утра или спускаться вниз? Столь неожиданное спасение в ту минуту, когда, казалось, роковой круг замкнулся и страх перед неминуемым концом начал сковывать волю, вызвало в их сердцах прилив бурной радости, вылившейся в безудержный истерический смех; но смеяться приходилось как можно тише, чтобы не выдать своего местонахождения, и потому смех больше напоминал агонию — сплошное сипение и сдавленное покашливание с обильным слезоотделением. Так, сотрясаясь от смеха, они обнимались, хлопали друг друга по плечам, при этом делая один другому знаки, призывающие к тишине и осторожности. Воистину, происходило что-то чудесное и непонятное: ведь кто-то же впустил их сюда и тем спас от погони?.. Но кто? И почему? В помещении никого не было, кроме них самих и какого-то пса желтоватой масти, он сидел возле лестницы и смотрел, не мигая, на беглецов; при свете факела, глаза его посверкивали как два граната.

— Если вы закончили, следуйте за мной, господа, — отчетливо произнес пес и направился к лестнице.

Друзья так и обомлели...

Первым пришел в себя Гений Вишнуевский.

— Господи! Кто это? — вскричал он.

— Я — психопомп Петров, — представился говорящий пес.

— Постойте, постойте... Это случайно не вы несколько дней назад покусали двух художников?

— Премного сожалею, — сказал пес-психопомп Петров. — Но эти пошлые имитаторы, которых вы называете художниками, сами меня спровоцировали. Им не следовало столь пренебрежительно высказываться о божественном Леонардо.

«Я брежу!» — подумал Саша Мильй.

— Однако, господа, пора идти — вас ждут.

— Что-то сегодня слишком многие нас ждут, — сказал Старик Придумкин, подозрительно щурясь. — Почему мы должны вам верить?

— А у вас есть выбор?

— Ему можно верить, я его знаю, — выступил вперед художник Корбюзьевич. — Здравствуйте, Петров. Вы меня узнаете?

— А, это вы, господин художник! Рад видеть вас в здравии, — благосклонно взмахнув хвостом, отвечал пес Петров. — Как ваши раны сердечные? Надеюсь, затянулись?

— Корбюзьевич, как все это понимать? — спросил совершенно опешивший Гений Вишнуевский. — Мы не спим?

Но художник Корбюзьевич ограничился своей обычной рассеянной улыбкой и объяснять ничего не стал.

— Не будем же терять время, — подытожил пес Петров, вид у него был суровым. — Возьмите кто-нибудь факел и идите за мной.

И он стал первым спускаться по лестнице куда-то под землю...

# **КНИГА КОРОЛЕВЫ**



## ЗАМКОВАЯ КУХНЯ

...Это была Замковая Кухня, вся залитая лунным светом, а также компотом из ароматного сухостоя, кристаллиновым соусом, черепичным вином и даже кипящим метеоритным маслом. Куда ни ткнишь, всюду громоздились котлы, кастрюли, чайники. Они гудели, шипели и свистели на разные лады. На огромных, пышущих жаром печах, сонно двигая плавниками, вспухали железные выварки, в которых бурлил и пузырился акриловый суп. В крутобоких жбанах циркулировали, неспешно довариваясь, разомлевшие буераки, а на чугунных сковородах скворчала, обжариваясь, тягостная волокита.

От жбана к жбану, от сковороды к сковороде, от казана к казану метались шустрые повара с поварешками в руках, шныряли верткие кравчие, путаясь в ногах у крепко подвыпивших виночерпиев. На полках для разноски готовых блюд выстроились рядами тарелки с копчеными кубышками и тушеным рубищем, горшочки с фаршированными росой облачками и маринованными тычинками. Вокруг них, мешая друг другу, толклись соусные заправки с полными до краев соусницами, и прочие солодильщики, солильщики, подкислятники и перцовщики.

— Неужели это едят? — изумилась Янка.

— А зачем это есть? — в свой черед удивился г-н Архивариус.

— Тогда к чему все это?

— Княгинюшка, вам когда-нибудь доводилось лицезреть творения современных кутюрье? Вы думаете, они шьют одежду для того, чтобы ее носили?

— А для чего же еще?

— Для искусства, конечно! Так и здесь: все эти редкостные блюда готовятся во имя искусства, а вовсе не для унылого поедания.

В эту минуту к путникам подлетел запыхавшийся оберкухмейстер.

— Лука Чесночки, — представился он; у путников засвербело в носу, и начали слезиться глаза. — Ага, привезли дичь? — он протянул руку, чтобы схватить г-на Филина за лапы. — Очень вовремя!

— Угу! Уберите от меня руки! — заверещал г-н Филин, отклеываясь от поползновений обер-кухмейстера.

— Дичь, фаршированная жемчугами под перламутровым соусом — что может быть прекрасней? Это же блюдо дня! — не унимался тот.

— Послушайте, господин Чесночки, — вступился за своего коллегу г-н Архивариус. — Произошла какая-то чудовищная ошибка, уверяю вас! С вашего позволения, это — не дичь. Это — мой ученый секретарь.

— Угу, безобразие! — возмутился г-н Филин. — Я буду жаловаться!

Лука Чесночки мгновенно потерял всякий интерес к путникам. Схватив за шиворот пробежавшего мимо поваренка, он спросил:

— Тарелки кормлены?

— Едят не в себя! — пожаловался поваренок. — У девяти переедание.

— Ладно, разберемся... А что с бокалами? Вы их напоили?

— Мы как раз собирались...

С недовольным видом Лука Чесночки снял с полки один пустой бокал, второй, пятый, десятый... Бокалы жалобно позванивали от жажды.

— Да вы что, с ума сошли? Немедленно напоить и доложить мне!

— А чем поить-то? — захныкал поваренок.

— Как это чем? Ты что — новенький? Сначала питьем, потом пойлом, затем выпивкой... Ну давай, давай, шевелись! — и грозный обер-кухмейстер подтолкнул поваренка, который сломя голову бросился к полкам с бокалами.

— Сельдерелла! Сельдерелла! — уже призывал кого-то другого Лука Чесночки, стараясь перекрыть звон бокалов, громы-хание кастрюль и посуды.

— Я! — донеслось из задымленных глубин Замковой Кухни.

— Уха-ха готова?!

— Готова!

— Тогда вот что, Сельдерелла. Созовите *ухажоров* для дегустации и каждому раздайте по одной *пощучине*! О результатах доложите лично!..

Отдав распоряжения, обер-кухмейстер побежал к Большому Объединенному Столу, где должен был состояться Главный Поединок и всеобщие Праздничные Елки-Пилки. За Столом восседали его славные участники — тучные этнархи борща и похлебки: Великий Приор Ордена булимитов и Мистический Лизоблюд, Верховный Патриарх травоядия и Пермеабль гастрономии, и даже сам Бессменный Архонт-Чрево вещатель собственной персоной. В ожидании десерта они старательно точили зубы большими точильными камнями, изнывая от нетерпения. Но вот появились и *десертиры* с долгожданным десертом. Выстроившись в цепочку, они торжественно несли на выдавших виды одноразовых подносах песочные пирожные с тончайшими вкраплениями щебня и гравия, тертый дым, настоящий на меду, залетные лепестки под сахарной паутиной, эфирный сок фонтанов и прочие шедевры высокой кулинарии...

Пока сервировался Большой Объединенный Стол и определялся вектор пищеварения, были внесены жевание, глотание и ритуальные усы, по которым течет, а в рот не попадает. И тут между этнархами разгорелся спор. Начался он с того, что Пермеабль гастрономии, по-видимому, посчитав себя главой застолья, настоятельно посоветовал Патриарху травоядия добавить к своему жеванию сочности и большей благозвучности, на что, почувствовав себя оскорбленным, Патриарх травоядия настоятельно посоветовал Пермеаблю гастрономии настоятельно ему не советовать. Он так и заявил во всеуслышание:

— Настоятельно советую вам настоятельно мне не советовать!

Пермеабль гастрономии не замедлил с ответом:

— А я настоятельно вам советую настоятельно мне не советовать настоятельно не советовать вам!

— Нет, это я вам настоятельно советую, — в свой черед возразил Патриарх травоядия, — настоятельно не советовать мне настоятельно советовать вам мне настоятельно не советовать!..

Уже была готова традиционная дарма, уже крутились вокруг нее, облизываясь, дармоеды, уже у Янки начала кружиться голова, а пререкания продолжались:



— А я утверждаю, что вы не имеете права настоятельно мне советовать не советовать вам настоятельно не советовать настоятельно мне вам настоятельно не советовать!

— Нет, это я утверждаю, что вы не имеете права утверждать, что я не имею права настоятельно вам советовать мне не советовать настоятельно советовать вам мне настоятельно не советовать не советовать вам настоятельно!

— Я-то как раз имею право утверждать, что я имею право утверждать, что вы не имеете право утверждать, что я имею право настоятельно вам советовать не советовать мне...

— Угу, как пререкаются! — вкрадчиво заметил г-н Филин, обращаясь к господину Архивариусу. — Прямо как мы с вами... Угу?

Пререкания закончились швырянием друг в друга кулинарными и гастрономическими книгами, и в этом швырянии приняли участие остальные этнархи борща и похлебки. Увесистые труды Апиция и Гримо де ля Реньера, Карема и Жозефа Бершу со свистом летали по всей Замковой Кухне.

Не дожидаясь Праздничных Елок-Пилок, путники вскочили в Фургон, и Вялый Горбун помчал его прочь из Замковой Кухни.

## ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Фургон катился по широкому длинному коридору, конец которого терялся где-то вдали. Казалось, Луна стала светить ярче.

— Думаю, это тот самый коридор! — радостно сообщил г-н Архивариус и, высунувшись в окно, крикнул: — Горбуша, прибавь-ка ходу!

— Вы уверены, что мы не заблудились? — спросила Янка.

— Будьте покойны, княгинюшка, мы у цели!

— И там действительно будет Праздник?

— А как же! Обязательно будет.

Янка задумалась.

— Но мы так долго путешествовали... Вы полагаете, нас всё еще ждут? Что, если о нас забыли, и Праздник давно закончился?

— О нет, это невозможно, княгинюшка! — с торжественным видом возразил г-н Архивариус. — Без Вашего Высочества Праздник вообще не может состояться.

Янка недоверчиво посмотрела на г-на Филина, видимо, ища у него подтверждения. Ученый секретарь что-то сосредоточенно записывал на манжете, краем уха слушая весь этот разговор.

— Угу! — ободряюще подтвердил он. — Повеселимся на славу!

Янка снова задумалась. Было слышно, как стучат по каменным плитам башмаки Вялого Горбуна и поскрипывают колеса Фургона.

— Надо бы колеса смазать, — одновременно произнесли г-н Архивариус и г-н Филин и смерили друг друга ядовитыми взглядами.

— И подковы Горбуше поменять, — закончил уже один г-н Архивариус.

— Угу, — согласился ученый секретарь и снова углубился в свои записи.

— Значит, я наконец встречу с Адуляром? — мечтательно спросила Янка.

— Да, княгинюшка, и с Адуляром, и с герцогиней Эсклермондой, и с великим магом Магором — со всеми встретимся. И это будет великолепно!

Фургон почему-то начал сбавлять скорость, а потом и вовсе остановился. И лунный свет, казалось, стал слабее.

— В чем дело, Горбуша? — г-н Архивариус со скрипом открыл дверцу, и в ту же минуту из Фургона с не менее громким скрипом выпорхнул, одуревший от многочасового сидения в одной и той же позе г-н Филин. — Почему стоим?

Вялый Горбун приложил палец к губам. Вид у него был растерянный: впереди, прямо посреди коридора он заметил собаку, а рядом с ней — большой кожаный чемодан. Собака лежала на спине, сложив лапы на груди, и храпела во всю пасть. Видимо, ей снилось, что она куда-то бежит, потому что лапы подрагивали.

Немало озадаченный г-н Архивариус сдвинул на затылок свой ученый колпак:

— Дорога перекрыта. Что будем делать?

— Может, разбудим? — предложила Янка.

— Угу! — встревожился г-н Филин. — А если она кусается?

— Кто?! — взвизгнула собака, неожиданно вскакивая на все четыре лапы. — Кто кусается?!

— Никто не кусается! — завопил с перепугу г-н Архивариус, но тотчас поспешил взять себя в руки: — Видите ли, сударь, как

это ни прискорбно, но просто мы тут слегка проезжали мимо и... к нашему общему сожалению, ненароком потревожили ваш сон... Так что вы уж нас извините...

— Нет, это вы меня извините, господа! Я долго бежал, а потом прилег немного отдохнуть и не заметил, как уснул... Какой позор!

— Ну, не стоит так казнить себя, господин...

— Петров, — представилась собака, отвешивая учтивый поклон. — Пес Петров. Я должен был вас встретить и сопроводить на Праздник. А вместо этого...

— Можете не волноваться, господин Петров, — сказала Янка. — С первой половиной задачи вы справились успешно: разминуться мы все равно никак не могли. Осталось справиться со второй. Далеко ли отсюда до Праздника?

— Счастлив услужить, моя госпожа, — отвечал пес Петров, мерцающими глазами рассыпая звезды. — Вы так восхитительно прекрасны! Мой друг Классик, описывая ваш портрет, был очень точен.

От смущения лицо Янки покрылось румянцем.

— Клянусь хвостом Аргуса, которым тот приветствовал возвращение Одиссея, — продолжал пес Петров, видимо, входя во вкус куртуазного обхождения с дамами, — с вашей красотой мог бы сравниться только Заяц Белый Пушистый!

— Угу, какой еще заяц?! — возмутился г-н Филин. — Что он городит?

— Да, вы правы, Заяц теперь живет на огороде, — скорбно сообщил пес Петров.

— Хорошо, бог с ними, с зайцами, — сказал г-н Архивариус, отодвигая ученого секретаря в сторону. — Наш Фургон в вашем полном распоряжении, раз уж вы намерены нас сопровождать. Княгинюшка, вы не против?

— А как же платье? — вдруг вспомнила Янка. — Мое праздничное платье?

— Одну минуту, госпожа! — энергичически откликнулся пес Петров и бросился к лежавшему посреди коридора чемодану.

Щелкнули замки, откинулась крышка, и глазам путников представилось прекрасное зрелище. В чемодане лежало платье из тончайшей ткани цвета утренней зари. «Ох!» — в восхищении все замерли.

Янка взяла платье в руки:

— Оно такое легкое!

— Госпожа моя! — воскликнул пес Петров, чувствуя себя настоящим героем. — Это чудесное платье специально для вас сшила эльфийская царевна Элирис, и помогали ей лесные гианы, о которых рассказывают много всяких ужасов, но, можете мне поверить, в рассказах этих нет ни слова правды, одни глупые выдумки. О, я видел их! Золотоволосые, с молочно-белой кожей, статные и красивые, они прекрасно вышивают и поют и никому не причиняют зла, если к ним не пристают со всякой ерундой.

После того, как Янка переделалась в новое платье, путники погрузились в Фургон, и Вялый Горбун потащил его дальше. Всю дорогу пес Петров рассказывал о бесчисленных приключениях, которые ему довелось пережить на своем веку. Это были самые разные истории, по большей части совершенно невероятные. И о том, как пес Петров сражался с космачами, кромешниками и войдотищами, и о том, как подкармливал голодающих пёсеголовцев, немногочисленное племя которых до сих пор обитает на Трухановом острове, — а ведь когда-то, во времена Марко Поло и Мандевиля, пёсеголовцы были великим народом и даже имели свои государства на Андаманских островах и на острове Макумеран. А еще эльф Тиндалин показал ему поющее дерево, что уже тысячу лет растет в лесах Феофании, и научил находить и распознавать бальзамические растения. Особенно путников впечатлили подвиги пса Петрова на летающем корабле Альгакобиллы, где он был бедным матросом и пленником. Позабавили история янтарной лихорадки на Андреевском спуске и рассказ о том, как на тридцатый день после этого наваждения он обнаружил на Флоровской горе в глубокой яме какого-то толстяка, в котором с трудом опознал Большого Администратора — таким жирным тот стал. О его таинственном ночном исчезновении на Андреевском спуске тогда шептались многие, но вот сочувствующих было мало. Кстати, его пустой черный администробус, весь помятый, с облупившейся лакировкой и без номеров, обнаружили сутки спустя на крыше дома. А сам Администратор как в землю провалился! Никому и в голову не могло прийти, что его похитили и в яму посадили страховидные жирни. Там они его откармливали для съедения. Ему даже отрезали нос — брали пробу на жирность. Когда пес Петров вытащил пленника из ямы, выяснилось, что от пережитого ужаса тот разучился говорить, только мычал, стонал и дрожал, как в лихорадке, тряся своими жирными телесами. «Угу, прямо суперпёс какой-то!» — с завистью бурчал г-н Филин, записывая на своих

манжетах весь этот собачий эпос. Сверх того ему пришлось записать повесть о том, как суперпёс Петров прогнал жирней с Флоровской горы — и как в награду за этот подвиг Тиндалин наделил его эльфийским даром виденья и волшебством стихосложения. И теперь, благодаря этим выдающимся способностям, он в совершенстве познал язык цветов и камней, так что достаточно мельком взглянуть на любое живое существо, чтобы узнать, из чего оно сотворено — из розы, жемчуга, алмаза или теста...

— Сие древнее эльфийское знание говорит, что в каждом из нас вкоренены те или иные растения и минералы, от которых все мы когда-то и произошли, — философствовал суперпёс Петров, — и которые определяют во многом нашу индивидуальность. К примеру, в химическом составе тела святых много аэролитов, золота и примул, в роду воинов были гвоздики и маргаритки, в то время как в злодеях наблюдается переизбыток олеандра, болиголова и металлоидов, а если вы видите перед собой какого-нибудь притворщика, можете не сомневаться: в его организме доминирует укроп...

— Укроп? — изумился г-н Филин.

— Именно укроп. А в тех, кто часто предаётся скорбным воспоминаниям и раскаянию, — переизбыток руты.

— Угу, — несмело начал г-н Филин. — А вы не могли бы сказать, из чего состою я?

— Отчего же нет? Из колокольчика и левкоя...

— Угу, как красиво!

— ...что свидетельствует о болтливости и вспыльчивости.

— Ха-ха-ха! — от души расхохотался г-н Архивариус.

— Но зато наличие голубой яшмы позволяет вам, господин Филин, не поддаваться лжи и сохранять объективность и справедливость.

После этих слов ученый секретарь смерил г-на Архивариуса надменным взглядом:

— Еще неизвестно, из чего состоите вы, коллега!

— Почему же неизвестно? — возразил суперпёс Петров и уставился на г-на Архивариуса, словно удав на кролика. — Главным образом, из василька, которому присущи такие качества, как деликатность и изящество.

— И это все? — разочарованно произнес г-н Архивариус, очевидно, ожидавший чего-то большего.

— А что еще? — не понял суперпёс Петров.

— А как же моя ученость, моя мудрость?..

— Угу... ученость... мудрость!.. — кривлялся за его спиной г-н Филин.

— Впрочем, если чуток поскрести, — и суперпес Петров пошел к г-ну Архивариусу ближе, — то немного хризолита и горного хрусталя просматривается...

— Господин Петров, а как же я? — спросила Янка. — Вы забыли про меня!

Суперпёс Петров воззрился на Янку, и зрачки его серых глаз начали расширяться:

— Ну, если так, навскидку...

В напряженном ожидании зрачки Янки тоже начали расширяться.

— Я вижу... — глухим голосом произнес пес Петров.

— Что же вы видите?

— Много фиалки и розмарина... И ландыша... — Пес Петров прикрыл глаза, сильно мотнул головой и снова открыл их. — А также лазурит и, пожалуй, гелиотроп.

— Я бы еще чайную розу добавил, — заметил г-н Филин; заложив крылья за спину, он с напыщенным видом расхаживал вокруг Янки.

— Извините, сударь, — сухо ответил пес Петров, — но мы с вами не составлением икебаны занимаемся. Речь идет о духовном видении!

— А что вам известно о самом себе, господин Петров? — спросила Янка, не дожидаясь расшифровки.

— Да всякое, — махнул лапой суперпёс Петров и скромно опустил глаза. — Немного золотистого топаза, чтобы наслаждаться жизнью, немного малахита — он притягивает зеленый луч, управляющий материальным миром, — немного белой акации, эманулирующей платоническую любовь, и мяты, аккумулирующей жар чувств. Есть во мне также барвинок сладостных воспоминаний, жасмин любезности, мак грез и утешения и шиповник поэтичности... Ну, и малость цитрина, который одаряет меня красноречием, хризопраза, оберегающего меня от опасностей, и живокости для скорейшего заживления ран. Это, конечно, далеко не полный список, но мне не хотелось бы злоупотреблять вашим вниманием.

Так, за разговором, они и не заметили, как прибыли на место — в Большую Тронную Залу, где собралось множество людей. Первым, опередив г-на Филина, из Фургона выскочил суперпёс Петров и, отвесив учтивый поклон, подал лапу Янке. В новом

платье цвета утренней зари княгинюшка была прекрасна. Праздничная толпа ахнула и расступилась, и Янка увидела Сказочника Адуляра в одеянии цвета вечерних сумерек. В ту же минуту где-то далеко, за толстыми стенами Замка, за пределами его лабиринтов, в городе поднялся сильный ветер, он запел в душниках, в щелях оконных рам, в ветвях деревьев, в покинутых гнездах и скворечниках, в дымоходах и водосточных трубах, в головах городских сумасшедших. Нежный и яростный, волнующий и томный, игривый и порывистый, он разгонял серые влажные тучи, распахивал настезь синеву огромного неба, взметал ввысь и стремительно проносил над застигнутыми врасплах улицами стаи листьев — солнечно-желтых, шафранных, багряных, — а вместе с ними пожухлые газеты, стихи и романы.

Несколько дней и ночей продолжалось это буйство. И город мчался на всех парусах, на золотисто-синих крыльях ветра...

Вот сколько всего произошло в городе за те несколько мгновений, которые промелькнули в Большом Тронном Зале Замка, пока Адуляр и Янка смотрели друг на друга.

Потом они долго стояли, обнявшись, с закрытыми глазами, и не находя слов, чтобы выразить чувства, нахлынувшие на них. И вокруг не было никого.

— Я нашла тебя, — наконец вымолвила Янка.

— Милая, я столько раз встречался с тобой в мире снов, — ответил Адуляр.

— И мы больше никогда не расстанемся, — сказала она, прижимаясь к его груди.

— Никогда, — согласился он.

— Знаешь, как долго я к тебе ехала! Ну почему этот славный Петров не появился раньше?

— Всею свое время, — послышался женский голос, показавшийся Янке знакомым.

Она выглянула из-за плеча Адуляра и увидела прекрасную женщину, от которой исходило сияние. На ней было платье, усыпанное бриллиантами. В руке она держала раскрытый веер. Стоило ей взмахнуть им, как тут же праздничная толпа покрывалась разноцветной рябью расправленных в ответ вееров.

— Тетушка Клер! — радостно закричала Янка и бросилась в ее объятия.

— Ну-ка, дитя мое, — проговорила тетушка Клер, мягким движением отстраняя Янку, чтобы лучше ее рассмотреть. — Да-да-да, выросла, расцвела, похорошела... Что ж, я довольна.

— Так вы и есть герцогиня Эсклермонда! — рассмеялась Янка. — Я догадывалась.

— Знаю, дитя мое.

— А где же наша баба Маня?..

— Вы про князя?

— Ой, я хотела сказать: наш Магнус.

— Вот он, я, княгинюшка! — прогремело у нее за спиной. — Книжка должна быть книжной, душа — душевной, а встреча — встречной!

И он так загоготал, что пол загудел под ногами.

— А, так ты все время меня разыгрывала... разыгрывал?

— Зато как весело нам жилось, княгинюшка!

— Это правда, — вздохнула Янка. — Так весело, наверное, никогда уже не будет...

— Как это не будет? — хмуря брови, воскликнул Магнус, и тут же, хитро подмигнув, заверил: — Сейчас я кое-что сюда притащу, и мы славно повеселимся!

И, позванивая золотыми шпорами и похохатывая, Магнус скрылся в праздничной толпе. Янка провожала его удивленным взглядом: таким веселым и беззаботным она никогда раньше его не видела — во всяком случае, в те времена, когда Магнус был не Магнусом, а бабой Маней. И почему его называют Брюзгой?

— Не печальтесь о прошлом, — сказал подошедший в эту минуту седобородый старец в длинной мантии такого глубокого синего цвета, что в эту синеву хотелось прыгнуть; на плече у него сидел белый попугай. — Я — маг Магор, — продолжал старец, — и я даю вам слово: каждый новый ваш день будет интереснее предыдущего.

Янка вопросительно посмотрела на Адуляра.

— Можешь не сомневаться, — подтвердил тот. — Магор прав, потому что он всегда прав.

— А я узнала вас, — сказала Янка. — Адуляр мне о вас много писал.

— И что же он писал, позвольте полюбопытствовать? — Магор лукаво улыбнулся сиреневыми глазами.

— Ничего такого, чего бы вы о себе не знали.

— Неглупый ответ!

— Послушай, детка, может, мне влюбиться в нее? — скрипучим голосом спросил попугай, доверительно заглядывая Магору прямо в сиреневый глаз.



— Безнадежная затея, Густав. И потом дружок, у тебя уже была Цара Леандер...

— Да когда это было? — возмутился попугай Густав. — Вы что, не помните, время было военное, и тамплиеры за мной охотились! Разве мог я себе позволить?

— Не обижайтесь, Густав, — сказала Янка. — Но я люблю другого.

— Кого же это? — обиделся попугай.

— Адуляра.

— Этого мальчишку? Безумие!..

— Густав! — строго одернул попугая Магор. — Будете так себя вести — я женю вас на кукушке.

— Хорошо, я умолкаю на пять... нет, на семь лет. Но вы совершаете большую ошибку.

— Хватит!

— Хватит — так хватит. — И, насупившись, попугай Густав умолк окончательно.

В эту минуту праздничная толпа снова расступилась, и в центр Тронного Зала, широко ступая, вошел Магнус Брюзга. За ухо он волочил упирающегося всеми лапами и дико визжащего Котомыша Лаврентия Печерского.

— А, старый знакомый! — приветствовал его маг Магор. — Давно не виделись.

Магнус размахнулся Котомышем и метнул его по полу так, словно играл в боулинг. Лаврентий кубарем подкатился к самым ногам Магора.

— С чем на этот раз пожаловали?

— Я все отдам, все отдам! — кричал Котомыш. — Только скажите ему, чтобы не швырял меня!

— Вы очень ошибаетесь, Лаврентий, если думаете, что нам нужны ваши фальшивки.

— Нет! Нет! — завопил Котомыш. — Это не фальшивка! Это настоящее! Вот! — и он протянул Магору трясущуюся от страха лапу.

— Дай сюда! — перехватил его лапу Магнус. — Это еще что такое? — на его широкой ладони лежал перстень с лунным камнем.

— Мой перстень! — воскликнул Адуляр. — Где вы его взяли?

— Я... я...

— Отвечай внятно! — рявкнул Магнус.

— У Мотьки!.. Ну, у той, что с воющим фонарем...

— Взял? Ха-ха-ха!  
— Ну хорошо, украл...  
— Ха-ха-ха!  
— Я нарочно украл его!.. Чтобы принести... чтобы отдать... чтобы вернуть... А Мотья хитрая! Пришлось ей руку откусить.

— Врешь!  
— Я хотел сказать: палец.  
— Опять врешь! Цену себе набиваешь, презренный изменщик? Думаешь, вот так просто прощение выпросить?

— Погодите, Магнус, — вмешался Адуляр. — Вы его пугаете. Так мы правды не добьемся.

— Что же мне его по головке гладить? — и Магнус простер над съезжившимся от страха Котомышем свою огромную длань, словно намеревался его прихлопнуть.

— Дайте мне перстень.

Магнус послушно отдал перстень Адуляру:

— Эх, Ваше Величество! Уж слишком вы добры к этому обормоту.

— Добро и есть мое Королевство, — возразил Адуляр.

— И мое тоже! — поддержала Янка.

— Да, таковы они, наши Королевства, — заключил Адуляр.

— Ладно, будь по-вашему, — скрепя сердце согласился Магнус. — Только я думаю, что вы поступите опрометчиво, если не отрубите ему голову.

Все это время Котомыш бил поклоны то одному, то другому, нижайше ожидая решения своей участи.

Адуляр рассматривал перстень.

— Когда-то давным-давно я подарил его одному человеку, — произнес он задумчиво.

— Иванову? — спросила Янка.

— Откуда ты знаешь?

— Он помогал мне тебя искать: читал стихи и угощал дождевой водой.

Адуляр протянул ей перстень:

— Пусть он будет пока у тебя. Что-то говорит мне, что это еще не конец истории.

— Ты уверен, что так будет правильно?

— Уверен. А теперь, Лаврентий Печерский, расскажите нам всю правду, как на духу: где вы взяли этот перстень?

Котомыш тяжело вздохнул.

— У Мотьки в карты выиграл! Клянусь, Ваше Величество, чтоб я окочился!

— Это уже больше похоже на правду, — усмехнулся Магор. — Украсть что-либо у Мотьки у тебя духу не хватило бы. И во что вы играли?

— В ханафуду.

— Лаврентий!

— В «верю-не верю»...

— Теперь верю. Ну, а что на кон поставил?

— Газовый баллончик для зарядки зажигалок. Я подумал, для ёйного фонаря сгодится.

Слова Котомыша вызвали всеобщий смех.

— Хорошо, Лаврентий, — сказал Адуляр. — Вы пока свободны.

— Постойте! — воскликнула Янка. — Совсем забыла... Я пришла не одна, со мной мои друзья!.. Ой, а где же Петров? Где все?

— Мы здесь! Мы здесь!

Праздничная толпа снова расступилась. Вся компания вместе с Фургоном была в сборе — г-н Архивариус, его ученый секретарь г-н Филин, Вялый Горбун и присоединившийся к ним пес Петров.

— Хороши, — промолвила герцогиня Эсклермонда.

— Ах, тетушка, они столько для меня сделали! — сказала Янка. — Я им так благодарна!..

— Подойдите ближе! — приказала герцогиня Эсклермонда.

Великолепная четверка отделилась от Фургона и торжественной поступью направилась к центру Тронного Зала. Тяжелее всех поступь эта давалась г-ну Филину — приходилось помогать себе крыльями, чтобы не отстать от остальных.

— Счастлива видеть вас в здравии, господа! Вы прекрасно справились со своей миссией.

— Всегда к вашим услугам, Ваша Летучесть! — наиэлегантнейшим образом расшаркиваясь, заверил г-н Архивариус и приложился к протянутой руке Ее Летучести; его примеру последовали г-н Филин и Вялый Горбун.

— Доблестный сэр! — обратилась герцогиня Эсклермонда к псу Петрову, когда наступил его черед.

— Сэр?.. — удивился тот, и глаза его увлажнились.

— Преклоните колено! — повелела герцогиня Эсклермонда, однако, быстро сообразив, что пес Петров никак не может этого сделать, поскольку в силу анатомического строения колени у него отсутствовали, предложила другой, более удобный вариант: — Преклоните голову, сэр!

Повинуясь этому многообещающему повелению, с замирающим сердцем суперпес Петров опустил свою кудлатую голову так низко, что ушами коснулся пола, и прекрасная фея возложила на нее знаменитый меч Магнуса Брюзги.

— Отныне вы — Рыцарь Льва! — услышал он будто сквозь сон и, чуть не лишившись чувств, в порыве экстатического восторга горячо прошептал: «О добрая Урганда, приветствую тебя!..» — Кстати, если мне не изменяет память, незабудка — ваш любимый цветок?

— О да, Ваша Летучесть, самый любимый!

— Вот и славно! С этой минуты, сэръ рыцарь, ваш фамильный герб — белый лев с незабудкой в зубах...

— Есть ли у вас подходящий девиз, о доблестный сэръ Петров? — поинтересовался маг Магор. — Без девиза никак нельзя.

— «Хвост собаки пробуждает утренний сад»! — выпалил тот.

— Хм, недурно... Нарекаю вас Собакой Диковинной!

Взревели фанфары, заверещали флейты, захохотали барабаны, и праздничная толпа прокричала троекратное «Vivat!» Первым сэра Петрова поздравил Адуляр.

— Рад за вас, друг, — сказал он, крепко пожимая новоиспеченному рыцарю лапу. — Кстати, ваш девиз мне кое-что напомнил...

— Неудивительно! — воскликнул пес Петров. — Когда-то давным-давно вы храбро бросили эти слова в лицо ужасному Альгакобилле. Они запали мне в сердце.

— Что-то такое припоминаю... Чернолетучий корабль... Кажется, так мы его называли?

— Именно так! Я тогда был за дверью и все слышал.

— Что ж, сэръ рыцарь, похоже, я ваш должник до конца дней моих.

— А я — ваш! Без вас я давно бы сгнил на корабле Альгакобиллы.

— Да, этот черный корабль... — задумчиво сказал Адуляр. — Кто знает, где он сейчас? Может, пасется где-нибудь в лохмотьях ядовитых туманов, ждет своего хозяина...

— Альгакобиллу? — с тревогой в голосе спросила Янка.

— Все хорошо, дитя мое! — поспешила успокоить ее герцогиня Эсклермонда. — Враг повержен. Наш доблестный Адуляр одолел его в честном бою. О, видели бы вы, как храбро он сражался!

При этих словах Адуляр густо покраснел, вспомнив трагикомичное единоборство возле новогодней елки и себя в несурзном облике Деда Мороза.

— А вот и главный трофей! — возвестил Магор; в поднятой над головой руке он держал великолепной огранки изумруд. — Господин Архивариус, где же ваш Глобус? Пришла пора вернуть этот кристалл на его законное место.

— О чудо! О чудо! — выкрикивал г-н Архивариус, заливаясь слезами счастья.

Через минуту изумруд был вставлен в Глобус Киева, и Тронная Зала озарилась таинственным зеленым светом.

— Воистину, вот к чему прикасалась рука ангелов!

— А теперь ваш черед, господа! — герцогиня Эсклермонда веером поманила к себе г-на Архивариуса, г-на Филина и Вялого Горбуна. — В награду за преданность и хорошо выполненную миссию Его Превращенство Магнус Брюзга выполнит любые ваши пожелания.

— О, Ваша Летучесть! — в умилении ответил ей г-н Архивариус. — Моя мечта осуществилась в полной мере. Изумруд на месте, и мне больше нечего желать.

— Ну а ты? — гаркнул Магнус на ученого секретаря, и рот его растянулся в золотом оскале. — Помнится, Филин, ты критиковал меня?

От этих слов у бедного г-на Филина перехватило дыхание и сердце заныло.

— Угу... угу... — залепетал он. — Я же не со зла... Ваше Превращенство! Я же без задней мысли... угу... угу...

— Ладно, говори, чего желаешь, птица!

— Угу, а можно новых манжет?

— Можно.

— И накрахмаленных?

— Можно и накрахмаленных.

— Угу, и побольше!.. — вошел во вкус ученый секретарь. — И чернил! Золотых и серебряных, и всяких разноцветных! Можно?

— Можно. Сегодня все можно, — кивал головой Магнус, обу реваемый зевотой. — Сегодня я все разрешаю. А завтра все буду запрещать.

— Угу? Ну, тогда еще... тогда еще... А вы все запомните, Ваше Превращенство? Может, лучше записывать?

— Я всегда все запоминаю, птица. Ты, главное, не мельтеши, — и с этими словами Магнус незаметно вставил в уши бутыл-

лочные пробки, как он это обычно делал, когда ему надоедало слышать, как растут волосы на горожанах и шерсть на бездомных животных.

— Угу, ну тогда еще...

И пока г-н ученый секретарь излагал Магнусу свой бесконечный список желаний, маг Магор ко всеобщему восторгу обнаружил в горбу у Вялого Горбуна сложенные крылья. Все наперебой принялись поздравлять Вялого Горбуна, который терерь и сам не знал: плакать ему, по давно утвердившейся традиции, или смеяться. На радостях великодушно помиловали Котомыша Лаврентия Печерского, учитывая его добровольное возвращение, чистосердечное раскаяние и, не в последнюю очередь, скорбь его отца — благородного сэра Мурмилота Узорного. Возвращение перстня с лунным камнем ему также зачли первым номером в списке будущих добрых дел. Поздравив Лаврентия с началом новой жизни, его немедленно отправили к Полковнику Ферাপонтову, дабы тот по всем правилам принял его полную и окончательную капитуляцию. Однако это решение не вызвало у Котомыша радости, поскольку из памяти его еще не стерлось обещание Генералиссимуса сделать ему тотальную эпиляцию за некогда стибренный маршалский жезл. «Кто знает? — резонно полагал он. — Не перепутает ли старый вояка капитуляцию с эпиляцией?»

— Не отпускайте его! — взмолился г-н Архивариус. — Он уже однажды укусил наш Глобус Киева!

— Угу, — подхватил расхрабренный г-н Филин, грозно хлопая крыльями у самого лица Магнуса. — Дайте нам этого хвостливого хвостуна, мы с ним поговорим по-взрослому!

Но было поздно: Котомыш Лаврентий Печерский словно испарился...

В ту же минуту зазвучал полонез, и праздничная толпа расступилась, пропуская вереницу дворцовых шаркунов с половыми щетками на ногах. За ними, пританцовывая, волочил сам Обворожительный Кокозей, весь в алансонских и генуэзских кружевах, в сиамских кисеях, в фрисландских тончайших полотнах, в турецких сверкающих шелках и батистах и в балетных туфлях с пряжками в виде золотых розеток. Дворцовые шаркуны мягко шаркали по паркету, до блеска начищая его, чтобы Кокозей, *piéd en l'air*<sup>1</sup>, мог отражаться в нем как в зеркале. Увидев такое, г-н Филин звонко поперхнулся.

---

<sup>1</sup> В воздухе, не касаясь ногами (*франц.*).

— Ваши Величества, Высочества и Светлости, а также Сиятельства, Высокородия, Превосходительства и прочие благородно, галантно и изящно присутствующие! — провозгласил зычным голосом Обворожительный Кокозей, высоко подпрыгивая и делая в воздухе разножки. — Господин сенешаль и церемониймейстер спрашивает, не заблагорассудится ли вам и не соизволите ли вы проследовать на площадь? Праздник вот-вот начнется!

Величества и Высочества, Светлости и Сиятельства, ну а за ними и все остальные Высокородия с Превосходительствами разделились на пары и в приподнятом настроении плавным шагом направились к Выходу.

Г-н Архивариус и г-н Филин молча сели в Фургон, который давно стал их домом родным на колесах.

— Да, нам будет ее не хватать, — грустно молвил г-н Архивариус.

— Угу, — всхлипнул г-н Филин. — Она такая милая! Всегда жалела меня. И защищала. Если бы я не был женат...

— Опять вы за свое, дражайший коллега! Стыдно слушать вас!

— А вы не слушайте, старый моралист!

— Старый маньяк! — парировал г-н Архивариус.

— Старый несносный сухарь!

— Я сухарь?

— Угу, сухарь! Вам неведомы муки любви!

— Да вы на себя посмотрите! Старый педофил!..

— Я романтик!

— Это я романтик! А вы...

Г-н Архивариус не договорил, потому что в эту минуту Фургон тронулся с места. Блаженно улыбаясь и помахивая крыльями, Вялый Горбун покати́л его за удаляющейся праздничной толпой...

# **КНИГА ГОРОДА**





## ПРОЩАНИЕ

— Опять Золотые Ворота! — воскликнул Гений Вишнуевский.

— Так ведь мы вроде здесь уже были! — в свой черед, но не так уверенно, подтвердил Саша Милый. — Минут десять назад, да?..

— Были, но с противоположной стороны, — уточнил Старик Придумкин.

— Черт возьми! Вы что-нибудь понимаете? — перешел на свистящий шепот Гений Вишнуевский. — Куда эта собака нас ведет? Тут же полно шпиков!..

— Стой! Кто идет? — оборвал его грозный оклик.

У Ворот стоял стражник, здоровенный детина, с горящим факелом в одной руке и увесистой палицей — в другой. Глаза его посверкивали из-под стального шлема.

— Свои, брат Пундик! Свои! — откликнулся пес Петров.

— Ну, вас-то я знаю, брат психопомп. А это кто такие? — стражник поднял факел выше, чтобы как следует рассмотреть друзей-пиитов, выглядывавших из-за спины пса Петрова. — Вы кто такие, я вас спрашиваю? Отвечайте стражу Золотых Ворот, карлики!

Как бы в подтверждение сказанного, брат Пундик напустил на себя еще более грозный вид, и, казалось, вместе со своей циклопической тенью, отбрасываемой на Ворота, он и сам стал в два раза больше, а друзья-пииты, наоборот, раза в два уменьшились.

— Почему карлики? — возмутился Гений Вишнуевский, всегда считавший себя довольно крупным мужчиной, чего, правда, нельзя было сказать об остальных. — Я, между прочим...

Но пес Петров не дал ему договорить.

— Эта шантрапа со мной, — сказал он. — Приказано доставить. Видишь ли, кое-кто полагает, что из них может выйти толк... Хотя, как по мне... — пес Петров вздохнул и состроил

гримасу, выразившую одновременно скепсис и обреченность. — Ничего не поделаешь, брат Пундик: приказ есть приказ. Так что, открывай.

— Ладно, проходите! — страж взмахнул палицей, и тяжелая кованая решетка на Воротах начала медленно подниматься. — И глядите мне там, не осрамитесь! — сказал он, отходя в сторону и пропуская друзей-пиитов, — а то спросят потом: «Кто пропустил?» — «Это брат Пундик пропустил!» — «Брат Пундик?! Да как же он мог?! Куда глаза его смотрели?! Не бывало такого в наших чертогах никогда!..» Короче, сраму не оберешься... Эй, погодите! Вот вам пропуска, — и брат Пундик сунул каждому в руку по листику ясеня. — Сегодня особый день.

— Твоя правда, особый, — согласился пес Петров, устремляясь под своды Золотых Ворот и увлекая за собой всю компанию.

— Нескучной дороги вам, карлики! — прокричал им вслед брат Пундик.

Миновав Ворота, друзья неожиданно оказались в крошечной темноте. «Церемониймейстер!.. Церемониймейстер!..» — отовсюду слышался почтительный шепот. Так продолжалось довольно долго. Наконец чей-то голос громко повелел:

— Начинайте, пан Рышард!

Трижды ударил колокол — и мрак рассеялся. Ливни золотого света пролились на широкую площадь, до краев заполненную людьми.

— Ух-х-х! — выдохнули хором друзья.

— А это что? — Гений Вишневский в изумлении схватил Сашу Милого за руку. — Где твоя кепка? Откуда эта шляпа? И эти перья?

Закатив глаза кверху и стараясь не делать лишних движений, Саша Милый медленно подтянул руку к голове и так же медленно стащил с нее — о да! — отнюдь не эту свою старую замусоленную кепку, которую, дабы не выбросить и не остаться вообще без головного убора, вынужден был именовать красивым словом «картуз», а самую настоящую шляпу. Мышиного цвета, украшенная серебряной брошью и перьями — павлиньими, фазаньими и даже розового фламинго, — она воистину была шикарнейшей! Но и это было еще не всё: вместо грязных рыбацких сапог на его ногах теперь красовались настоящие кожаные бот-

форты с серебряными пряжками и шпорами. Дивясь столь неожиданным и чудесным превращениям, Саша Милый поднял свои оленьи глаза на остолбеневшего Геня Вишнуевского.

— А ты? — спросил он в свой черед. — Где шубу взял?

— Какаю шубу?..

— Бобровую, вроде.

— Опа!.. — не веря глазам своим, Гений Вишнуевский слегка приподнял руки и элегантно развел их в стороны, словно стоял перед зеркалом; длинная, до самых щиколоток, шуба была скроена точно по его фигуре и стояла, судя по всему, немалых денег. — Это что такое?..

— Дурацкий вопрос! — огрызнулся пес Петров.

Он хотел что-то еще добавить, но в эту минуту грянули фанфары. Вокруг всё задвигалось и забурлило. Величественные дамы в платьях из парчи и шелка, словно движущиеся крепостные башни с прорезями-бойницами в пышных рукавах, сквозь которые рвалось наружу разноцветье тканей и блеск драгоценных камней, торжественно проплывали под музыку в ритме болеро. Их выбеленные, будто снегом занесенные лица утопали в высоченных веерообразных воротниках из гипюра, тюля и ажурных кружев. Большинство юных дев были одеты в скромные туники блио, расшитые растительным орнаментом, их туго заплетенные косы свободно ниспадали на плечи и спину, что должно было свидетельствовать об их девственности. Зато на головах замужних матрон мерно покачивались конусообразные рогатые эннены, оснащенные парусами, ожидающими попутного ветра. Красота и величие причесок и головных уборов поражали своим разнообразием.

Затем на первый план вышли воплощенные сновидения дворцовых садов и парков: архитектурные прически-фонтанжи в стиле Берэна, с россыпями цветов и самоцветов, над которыми порхали диковинные бабочки, стрекозы и колибри, с декоративными растениями, тропическими овощами и фруктами, сверкающими росой, и даже мастерски сработанными из папье-маше целыми городскими кварталами в миниатюре — с арками, мостами и конными экипажами на них. Иные дамы в своих невероятных одеяниях напоминали парусные корабли на рейде, а то и в момент abordaja, когда невзначай сталкивались друг с другом и, мерно покачиваясь, расходились — в облаках пудры и в благоухании духов.

Под стать дамам выглядели и кавалеры, облаченные кто в широкие бургундские ушланды с шалевидными меховыми воротниками, кто в дублеты с пуфами на рукавах, кто в узкие, плотно облегающие фигуру, двуцветные котарди́ и с множеством золотых застежек спереди и пристежными рукавами, кто в камзолы с навесными пуговицами и широкими кружевными воротниками, покрывающими плечи, а кто и в строгие элегантные фраки. Альый и пурпурный атлас и бархат цвета гусяного помета с жемчужными пуговицами и серебряными шнурками, перчатки а-ля Криспен, массивные, горящие золотом цепи на груди, блеск холодного оружия, усы витиеватые, спиралевидные, а также кольцами и стрелами, и на французский или испанский манер бородки, шляпы из фетра бутылочного и чайного цвета, широкополые, с алмазными пряжками и шелковыми лентами. И на этих великолепных головных уборах чего только не помещалось! Не считая страусовых и павлиньих перьев, к их высоким тульям и широким полям были прикреплены всевозможные подарки и знаки внимания, принятые от возлюбленных дам: лайковые перчатки, пятерней вверх; носовые платки из батиста с вензелями и гербами; морские раковины; табакерки с курительным и нюхательным табаком и бонбоньерки из слоновой кости, украшенные изображениями батальных сцен тончайшей работы. Особую пикантность придавали дамские подвязки из тонких шнурков с кисточками на концах или в виде пышных бантов, кожаные кошельки, набитые золотыми дублонами, и вязальные спицы — крест-накрест. Некоторые носили на шляпах столовые приборы для разных видов блюд, включая десерт, чайные ситечки или памятные медали величиной с ладонь, на которых полурельефом были изображены портреты избраниц. А еще — приколотые к тульям осенние листья и засушенные букетики полевых цветов, что очень мило контрастировало с остальными шляпами.

— Похоже, мы попали на съемки какого-то фильма, — тихо, чтобы лишний раз не раздражать этого чересчур нервного пса Петрова, высказал предположение Старик Придумкин; на нем был френч густого оливкового цвета с золотыми позументами, такие же галифе и оранжевый шарф, несколько раз обернутый вокруг шеи. — Что-нибудь из времен blue devils — «синих бесов». А? Как думаешь, Корбюзьевич? Ты ведь художник: должен разбираться в костюмах и эпохах.

— Что-то я не вижу кинокамер, — выразил сомнение художник Корбюзьевич (сиреневый жилет поверх дымчато-серой блузы необычайно хорошо подходил к цвету его глаз). — А меланхоликов вижу. Будто сошли прямо с полотен де Критса или Цуккари. Вон там, возле колонн... Видите?

И действительно, несколько в стороне от шумного и красочного столпотворения, в тени арок, облокотившись, кто о колонну, кто о постамент мраморной скульптуры, стояли господа со скрещенными на груди руками, с надвинутыми на глаза шляпами и преисполненные красноречивого молчания. Время от времени они меняли опорную ногу и демонстративно запахивались в плащи цвета черной смородины или черного агата. Изредка мальчишки-пажи подносили им на черненых серебряных подносах бокалы с напитками и книги в тесненных переплетах.

— А почему нам ничего не подносят? — полюбопытствовал Гений Вишнуевский, рискуя окончательно вывести из себя пса Петрова. — Мы выпадаем из контекста?

Но пес на удивление терпеливо принялся объяснять:

— В бокалах — уксус, дабы, вкусив его неспешно, джентльмен мог поддержать бледность своего лица — неотъемлемое достоинство всякого истинного меланхолика. Так что, ежели желаете...

— О нет, только не уксус! — скривился Гений Вишнуевский, и его аж передернуло. — Я предпочитаю водку.

— От водки, сударь, лицо ваше никогда не будет благородно-бледным, а вот нос точно покраснеет, — строго пояснил пес Петров.

— Ну, если с вечера хорошенько надраться, — возразил Старик Придумкин, — то наутро тотальная бледность лица, а вместе с ним и всего брэнного тела обеспечена. Да и меланхолия одолеет такая, что впору повеситься.

— Смотри, смотри, вон тот, долговязый, теперь книжку листает! — посмеивался Гений Вишнуевский. — Это что, вместо закуски?

Еле сдерживаясь, пес Петров принялся растолковывать, что это не закуска, а томик любимого автора, над писаниями коего можно было бы «глубоко задуматься о брэнности и бессмысленности бытия». Например, трактат «Об ученом незнании» Николая Кузанского, который воспел меланхолию как печальный, но неизбежный путь духа человеческого к постижению Истины,

или одна из «Трех книг о жизни» Марсилио Фичино, который, чтя меланхолию как «уникальный и божественный дар», ни-спосланный человечеству планетой Сатурн, возвел ее в первей-ший и необходимейший признак Гениальности, что очень на-поминает «божественное неистовство» Платона...

— Возможно также, — продолжал выстраивать ряд предпо-ложений Пес Петров-психопомп, — что печальнику нашему дос-талось редкое издание «Анатомии меланхолии» преподобного Роберта Бёртона, который, между прочим, утверждал, что все поэты — безумцы... Замечательная книга, уверяю вас, джентль-мены! Читая ее, воистину обретаешь покой и уже легко обхо-дишься без уксуса и поэзии. Так что, рекомендую!

— Однако! — только и вымолвил Гений Вишнуевский.

Меж тем народ на площади неспешно двигался по кругу, в центре которого виднелся шатер.

— Следуйте за мной! — скомандовал пес Петров и стал про-тискиваться сквозь поток людей. Друзья-пииты устремились за ним.

Протиснувшись внутрь круга, где у входа в разноцветный шатер под музыку плавно кружили танцующие пары, они оста-новились возле какого-то неказистого двухколесного фургона, совершенно, казалось, неуместного посреди окружающего его великолепия, как неуместна старая перезрелая тыква среди утонченных деликатесов. Рядом с фургоном отирался нелепого вида старичок с длинной седой бородой. На нем был камзол, а на голове — нелепый конусообразный колпак, весь в звездах и абракадабровых письменах. На крыше фургона восседал огром-ный филин вида еще более нелепого — в накрахмаленных ман-жетах, — на одной из них он что-то быстро строчил пером.

Гений Вишнуевский уже открыл рот, чтобы съязвить по этому поводу, но его остановил жесткий взгляд пса Петрова.

— На вашем месте, сударь, я бы не спешил с легковесными дефинициями, — сказал он. — Видите тех двоих, вон там, в шат-ре? — Лапа пса Петрова указывала на высокого седого старца в синей мантии, с попугаем на плече, и рядом с ним даму с вее-ром. — Это великий маг Магор и фея Эсклермонда.

— Шикарно выглядят, — согласился Гений Вишнуевский. — Сразу видно, люди ведут здоровый образ жизни.

— А вон тот, за ними, — продолжал пес Петров, — с лицом как скала, и с мечом наперевес, видите? Это сам Магнус Брюзга,

князь крови и всего на свете. Да будет вам известно, сударь, что он даже не целует прекрасным дамам ручки, дабы нечаянно не ободрать их в кровь своей щетиной — она у него из чистого золота. А лезвие его меча способно удлиняться или укорачиваться, в зависимости от того, на каком расстоянии находится враг, а рукоять его раскаляется до бела, так что никто не может взять его, чтобы при этом до кости не сжечь себе руку...

— Да разве ж я враг? — изумился Гений Вишнуевский. — И руку мне лобызать не надо...

— Если не хотите неприятностей, ведите себя достойно. Тем более что ваша нелепая шуба и так привлекает излишнее внимание.

— Послушайте, Петров! — не выдержал Гений Вишнуевский. — Какая муха вас укусила? Вы все время ко мне придираетесь.

— Вишнуевский, ты можешь помолчать? — зашипел на него Старик Придумкин, устрашающе тараща глаза.

— Сначала спасает, потом придирается, — брюзжал Гений Вишнуевский. — Шуба моя ему не нравится! Еще и неприятностями стращает...

Характер музыки изменился: *Andante maestoso*<sup>1</sup> превратилось в *Andante misterioso*<sup>2</sup>. Дамы и кавалеры перестали кружиться, и перешли на медленный синхронный шаг с останковками, церемонными поклонами и сложными пируэтами. Казалось, они шествовали, не касаясь ногами земли, прямо в воздухе. Возглавлял танцующих какой-то верткий малый — весь в бахроме, кружевах и блестках. Его на носочках семенящая побегжка чередовалась с головокружительными, на грани возможного, антраша, которые изумляли выдающейся техникой исполнения, полным попранием законов физики и вопиющим несоответствием торжественному духу музыки. Впрочем, за шорохом и трепетным шуршанием его бальных одежд музыки почти не было слышно. Его надставной парик времен *Incroyables*<sup>3</sup> припудренный золотым порошком, то и дело сваливался с маленькой головы.

---

<sup>1</sup> Торжественно, величественно (*итал.*).

<sup>2</sup> Плавно и таинственно (*итал.*).

<sup>3</sup> *Incroyables* (*франц.* «Невероятные») — аристократические щеголи времен Директории (правительство Французской республики с ноября 1795 по ноябрь 1799), чей костюм повторял в окарикатуренном виде английскую моду XVIII в.



— Угу, опять этот Обворожительный Кокозей! — проворчал филин с крыши фургона. — Куда ни плюнь — сплошной Кокозей да Кокозей. Как я его ненавижу! Вот вы, господин Архивариус, — обратился он к стоявшему внизу старичку в колпаке, — может, вы скажете мне, чем он так обворожителен? Как по мне, это чудовищное преувеличение. Типичный интриган... Клонуть бы его разок-другой в темечко, угу?

— Постыдились бы, господин Филин! — отозвался старичок. — Вы же ученый секретарь, а не какая-то там глупая клеветельница.

— Угу! — г-н Филин вытаращил глаза и глубоко задумался.

Друзья-пииты тоже задумались. Но думы их были быстро развеяны музыкой: она зазвучала громче, живее. Заскучавшие было пары танцующих встрепенулись, и вскоре танец их превратился в сверкающий вихрь, который подхватил друзей-пиитов и взметнул высоко над площадью...

...Сквозь дымку с высоты прекрасный Город виден.

Над дальними холмами радуга — Ворота Ветра, через которые он входит в Город и выходит, голос обретаая.

Щебечут птицы в мреющих садах, кошачьи сны на крышах дремлют сладко, и вьется спелый виноград по стенам белым. Стихами древними исписаны карнизы. Единороги скачут по брусчатке, и девы красоты нетленной из окон им вослед букетики цветов бросают.

Вот перекресток четырех стихий. Над ним граница дня и ночи пролегает. И пилигрим-«босые ноги» — грудь нараспашку — идет, шагает, на дудочке дудит. Пойдет налево — цвет весенний — вишневый, яблоневый, звонкий, — колышется, взволнованно гудит. Пойдет направо — листопад и шорох, вороньи пересуды, осенней прели аромат... А прямо — грозовые гимны, зной ослепительно-зеленый, и цикады. Но если повернет назад — кругом хрусталь, и башни льдистые под пепельными небесами позванивают на ветру...

О Город магии и неги! Быть шлифовальщиком твоих зеркал и собирателем пространств таинственных и измерений, быть обитателем твоих холмов, садовником твоим и летописцем! В минуты отдыха, украсив голову венком из желтых листьев, по тихим улицам бродить в обнимку с ветром, листвой шурша и ти-

хо улыбаясь, стихи осенние писать на стенах, вином багряным, терпким наслаждаться и осенью, и музыкой, звучащей отовсюду, и самому звучать...

О, жить и жить! Дышать! Лицо подставив небу, по-детски ликовать и восхищаться, до слез благоговеть, грустить до боли и ни о чем не сожалеть...

...Полет этот был подобен чудесному сну, длившемуся всего несколько секунд, и друзья не заметили, как снова оказались на площади. На сей раз — в самом ее центре. Прямо перед ними возвышался просторный шатер. Маг Магор и фея Эсклермонда по-прежнему находились в нем. Страшный Магнус Брюзга с мечом наперевес также никуда не делся. Он буравил глазами друзей-пиитов, словно примеривался: отрубить им головы или нет?.. Очевидно сдуру, ибо ничем другим этого объяснить было нельзя, Гению Вишнуевскому взбрело в голову продемонстрировать свое расположение, и он дружески улыбнулся «князю крови и всего на свете». Хуже того — подмигнул! Слава Богу, не додумался еще при этом по-приятельски хлопнуть князя по плечу и задать ему свой извечный сакраментальный вопрос: «Мужик, ты любишь жизнь?» Тогда точно не сносить бы ему головы! И не исключено, что ее (буйну голову) прямо здесь же завернутую в газету и, словно кочан капусты, брошенную в авоську, вручили бы Саше Милому на вечное хранение. (От этой воображаемой картины Сашу Милого чуть не вывернуло наизнанку.) А так Гений Вишнуевский, можно смело утверждать, отделался легким испугом. В ответ на эту его дурацкую улыбку и фривольное подмигивание рот Магнуса широко растянулся, обнажив розовые десны с двумя рядами золотых зубов, и он так улыбнулся обнаглевшему пииту, что у того искры из глаз посыпались...

По правую руку от Магора и Эсклермонды на высоких резных стульях в одеждах цвета утренних и вечерних сумерек восседали Король с Королевой. Во всяком случае, так подумали друзья-пииты, поскольку головы этих двоих были увенчаны маленькими золотыми коронами. Шепнув что-то на ухо своей даме, Король встал со стула и неспешно направился к друзьям. Художник Корбюзьевич вздрогнул.

— Ты чего? — толкнул его в бок Гений Вишнуевский.

— Ну что, Петров, вы привели их? — спросил Король пса Петрова, который выдвинулся ему навстречу.

— Да, Ваше Величество, как вы и просили.

— Классик! — воскликнул Гений Вишнуевский. — Ты?.. Живой! Ха-ха! Вот так встреча!

— А и в самом деле — Классик, — пробормотал Старик Придумкин, портфель в его руке стал таким тяжелым, будто в нем хранились чугунные гири, а не рукопись «Книги Книг».

— Какой он вам Классик? — возмутился пес-психопомп Петров. — Он Король! А посему извольте придерживаться этикета и обращаться не иначе как «Ваше Величество»...

— Да будет вам, Петров, — остановил его Классик. — К чему церемонии! Это же мои друзья.

— Они мне сразу не понравились, — проворчал пес Петров.

— Интересно, — зашептал Гений Вишнуевский Саше Милому, — чем это мы так провинились перед этой несносной говорящей собакой?

— О чем это вы, Петров?

— Ну... это давняя история. Вы тогда были Львом, и я разыскивал вас по всему городу. Помните? И вот как-то раз то ли Сириус, то ли голод, точно теперь уж и не помню, привели меня к порогу какой-то затрапезной кофейни. Там я и стал свидетелем самой бесстыдной похвалбы. Вообразите, эти молодые люди величали себя не иначе, как...

— Бога ради, извините нас, господин Петров! — сказал Старик Придумкин. — Мы, конечно, вели себя глупо.

— Мы были изрядно пьяны, — подтвердил Гений Вишнуевский.

Пес вздохнул, махнул лапой, но все же заметно смягчился.

— Дорогой мой Петров, — сказал Классик. — Прошу вас, не ожесточайтесь. Вспомните, давно ли мы с вами были рабами на корабле Альгакобиллы?

Пес-психопомп Петров опустил хвост и уже примирительным тоном произнес:

— Хорошо, Ваше Величество. В общем-то, все мы славные ребята.

— И не называйте меня Величеством.

— Как вам будет угодно, Классик.

— И Классиком не называйте.

— Как же мне вас называть? — совсем растерялся пес Петров.

— Называйте его Адуляром. Во всяком случае, таково его имя сегодня. — Это был Магор, он словно из-под земли вырос.

— Вы хотите сказать, «Королем Адуляром»? — мягко, но настойчиво уточнил пес Петров.

В ответ Магор лишь улыбнулся. Его глаза лучились, как небо за его спиной, на востоке, а брови были такими длинными и с таким невероятным размахом, что, казалось, сейчас он на них взлетит, словно на крыльях.

— Что скажете, друг мой? — обратился он к Адуляру, но тот молчал.

— А как же Королевство? — не унимался пес Петров.

— Королевство в сердце, — сказал Адуляр. — Другого нет.

— Ты не знаешь, что все это значит? — спросил Гений Вишнуевский Старика Придумкина, который задумчиво поглаживал бороду.

— Интересней другое, — отвечал тот. — Чем все это закончится?

— Назад я не пойду, — прошептал Саша Милый, с силой дергая за рукав Гения Вишнуевского. — Там Захват Захватч, Серый Терем, — он запнулся, — жена неверная!..

— Эй, поосторожней! — отдернул руку Гений Вишнуевский. — Это, между прочим, бобер, а не какой-нибудь там зачуханный кролик... И вообще, успокойся, по-моему, никто нас отсюда не гонит.

Над Городом поплыл колокольный звон. «Колокольный дзен», — прозвучало в голове Саши Милого.

— Сегодня восьмое октября, — сказал Магор. — День Золотых Ясеней. Пора прощаться, друзья. — Он простер руку. — Вон наши корабли.

Далеко за Городом, в палевых сумерках между Солнцем и Луной, подымались облака, они росли как цветы — фрезиевые, лилейные, нежно-гиацинтовые, — волнуясь на теплом ветру и переливаясь тончайшими перламутровыми оттенками. В небе над самым горизонтом от края и до края пролегла сверкающая лента реки, над которой в золотистом мареве реяли белоснежные корабли.

— Один, два... пять... — начал считать Гений Вишнуевский.

— Небесный Днепр! — воскликнул, осененный неожиданной догадкой, Старик Придумкин. — Так, значит, он действительно существует!..

Из ворот Замка потянулась нескончаемая вереница людей, конных и пеших, в каретах и в повозках. К ним присоединялись те, кто был на площади. Проходя мимо шатра, они приветственно махали букетиками из желтых листьев ясеня и что-то кричали.

— Последний парад, — молвил Магор растроганно.

Салютуя, пронеслись рысью верхом на чистокровных арабских скакунах сербский воевода Передряг Брагович и благородный грузинский князь Камикадзе — пустив в галоп своего могучего дестриэра<sup>1</sup>, — красавец-рыцарь Драгонет де Мондрагон. Следом, в парадном супервесте, под барабанный бой, громяхая оружием и звеня орденами, шагал Полковник Ферапонтов — великий Генералиссимус. Он сорвал с головы каракулевою папаху, взмахнул ею и лихо подмигнул Адуляру и Янке. Еще долго мимо шатра с оглушительным грохотом волочились аркебузы, бомбарды, мушкеты, ручные пулеметы и связки гранат.

В окружении пестрой и шумной челяди величавой поступью проплыл длинный верблюд с караван-сараем на семи его горбах — со всеми своими минаретами и таинственными миражами, лунными дервишами, звездными факирами и солнечными суфиями.

Шли герметисты — вершители совершенного совершенства, — и странствующие водолеи, мемориальные корифеи и крупнокалиберные лоботрясы, странные странники и работающие кочевряжники.

Шли ученые-метафизики Корнелий Пертурбат и Опанас Козабасус, шел Пафнутий Нехильый со своими историческими трудами и великий картограф Микробиус со своими картами.

Шла временная тень Полихрония Агапиевича. Шли Главный Часовщик и Старый Садовник.

— Где же ваши чудесные часы, господин Главный Часовщик? — спросила Янка.

— Остались в Хронилище, скрррр-тррррр! — проскрежетал Главный Часовщик, отбивая такт мерно поскрипывающими башмаками. — Время с собой не заберешь, тирлим-бом-бом...

— А ваши цветы и птицы, господин Старый Садовник?

— Я отпустил их на волю!

— А «Хвалебник»?

— Он дописан!

---

<sup>1</sup> дестриер (*фр. destrier*) — крупный боевой рыцарский конь, жеребец.

— Дописан? Так значит, они встретились?

— Они встретились, княгинюшка! — отдаляясь все дальше, кричал Старый Садовник. — Они встретились!..

— Кто встретился? — поинтересовался Гений Вишнуевский.

— Последний в мире трубадур Майонез Провансальский и его возлюбленная Лилия. Они соединились в Герметическом Салате, — пояснила Янка.

— А-а-а... — понимающе протянул Гений Вишнуевский.

Путаясь в бинтах, проковылял доктор Прищепа, из карманов его халата сыпались витамины А, С, Е и, что особенно важно, группы В.

Покинув свои обжитые *котокомбы*, в которых остались обросшие легендами священные причиндалы, налегке, в свадебном *котофалке* ехали доблестный сэра Мурмилот Узорный и его супруга красавица Мышанина, вся в златомышастой *мышуре*, а с ними юная леди Мурмышель и заметно повзрослевшие и возмужавшие подмышки. Седой Мышьяк-учитель сопровождал их.

— А где же Лаврентий Печерский? — спросила Янка. — Где Котомыш?

— Да, и моего Мусика что-то тоже не видно, — озадаченно молвил Адуляр.

Магор весело рассмеялся:

— Сбежали! Вот прохвосты!..

— А знаете, — сказал Адуляр, — он так мечтал о свободе, о путешествиях... Мой славный Мусик. Что ж, надо полагать, свершилось!..

Потрясая клочками седых бород, с напевными речитативами, беспорядочной толпой шли несметные стихоплеты, *экверлибристы* и прочие лауреаты во главе с пожизненным поэтапусом Мульдадули.

Шел Гениальный Кондратий, ведя под локоток Божественную Пульхерию, которая на ходу продолжала вязать свой нескончаемый носок.

— Где же ваша «Любогония»? — спросила Гениального Кондратия Янка, видя, что тот идет с пустыми руками.

— А я и есть Любогония, княгинюшка! — отвечал Гениальный Кондратий. — В книге, сами понимаете, особо не развернешься. Как говорится, облюбком сыт не будешь. Верно, мой любастик? — ласково обращался он к Божественной Пульхерии. «Люб-люб-лю, люб-люб-лю!..» — отвечала та.

Грянув стоголосым аккордом, промелькнул Блуждающий Оркестр в полном составе под руководством нетленного *композитора* маэстро Скарлатини, и эхо этого аккорда еще долго звучало в сводах Замка, словно прощаясь с ним...

А потом шли рыцари Кухни, паладины Объединенного Стола и их многочисленные слуги, навьюченные кухонной утварью. Скользили дворцовые шаркуны в войлочных балетках и со щетками на плече. Шли провизор Бруно и великий сенешаль пан Рышард Кобольд-Юревич с церемониальным жезлом в руке. Верхом на красном драконе ци-лине скакал отец Вдоха и Выдоха, совершенномудрый По, по-прежнему уверенный в том, что Город этот сотворен из зеленого нефрита и потому он — вечный. Шел Магнус Брюзга со своим волшебным мечом.

«На бутылочном дереве растут бутылки, — вспомнила Янка чудные экзерсисы бабы Мани, — на хлебном — хлебы, на фиговом — фиги, на пузырьном — пузыри, а на снежном — снега...»

Шли писцы из Замкового Скриптория с охапками рукописей в руках. За ними тянулись обозы, груженные библиотекой и архивами, а впереди катился Фургон, запряженный Вялым Горбуном, который плакал навзрыд от избытка чувств, и слезы лились рекой на его мундир оберштальмейстера. Из окон высунулись г-н Архивариус и его ученый секретарь г-н Филин. Они махали своими ясеневыми букетиками.

— Прощайте! Прощайте! — кричали они, глотая слезы. — Угу! Угу!.. Свидимся ли еще когда-нибудь?

— А где же ваш чудесный Глобус Киева с Изумрудом? — кричала им вдогонку Янка, но ответа уже не было слышно.

Замыкали процессию эльф Тиндалин со своей возлюбленной Элирис...

— Смотрите, там кто-то летит! — воскликнул Саша Мильный, всматриваясь в небесную высь.

Друзья разом подняли головы:

— Где? Что?..

— Вон там! Рукой машет!

И действительно высоко в небе маячил какой-то крохотный объект.

— Птица? — спросил художник Корбюзьевич.

— Похоже, человек, — сделал осторожное предположение Старик Придумкин.

Объект стремительно приближался, описывая широкие круги над площадью, над Замок с его светозарными башнями, то отпечатываясь крылатым силуэтом на фоне лунного диска, то исчезая в блеске солнца. Через минуту силуэт превратился в Лямура Двердомского. Легендарный авангардист летел по небу, держа в одной руке, словно букет исполинских тюльпанов, сотню воздушных шариков, а в другой — свой знаменитый фотоаппарат «Смена», тот самый — с треснувшим корпусом, накрепко перетянутым веревкой. В иссиня-черном костюме из тонкого велюра, с вьющимся на ветру шелковым шарфом и развевающейся гривой волос, молодой и красивый, он неумолимо приземлялся, подобный первым пришельцам из Космоса, или первым божествам Неба, или первым воздухоплатателям, один за другим отпуская шарики, которые быстро уносились в заоблачную высь и там исчезали навсегда. Задрав головы, друзья восхищенно наблюдали за этим выдающимся полетом.

— Вот это да! — вырвалось у Гения Вишнуевского.

— Не двигаться! Снимаю! — кричал Лямур Двердомский, кружа над площадью; у самого его лица сверкнула линза фотообъектива...

— Какими судьбами? — осведомился Старик Придумкин, когда, отсняв с десятков кадров, Лямур Двердомский наконец приземлился и отпустил на волю оставшиеся воздушные шарики.

— Это вы у него спросите, — и Лямур Двердомский показал на пса Петрова.

— Да, Петров, умеете вы делать сюрпризы, — заметил Старик Придумкин.

— О, это только начало! — ответил тот.

Узнав в Адуляре давно исчезнувшего Классика, Лямур Двердомский не выказал ни малейшего удивления — с минуту, щурился на него одним глазом, как бы примериваясь, а затем вскинул фотоаппарат и нажал на кнопку.

— Корона-то хоть настоящая? — поинтересовался он, не отрываясь от смотрового окошечка фотоаппарата.

— Настоящая.

— Полный «нефикус»!

— Почему же «нефикус»?

— Потому что ближе к барышне надо встать... Еще ближе... Вот так... Божественно! А теперь дайте мне профиль... Оба в профиль повернитесь, лицом к лицу... Корону поправь... Так, не двигаться!.. Улыбаться не надо!.. Снимаю!



— Да-а, мэтр в своем репертуаре, — посмеивался Старик Придумкин. — Сейчас он такой «фикус» устроит — мало не покажется!

— Как по мне, он сильно рискует, — сказал Гений Вишнуевский и исподтишка кивнул на пса Петрова, который настороженно следил за каждым движением Лямура Двердомского.

— Пожалуй, — согласился Старик Придумкин. — Судя по повадкам нашего четырехлапого проводника, мы имеем дело с одним из тех представителей крайнего монархизма, которые не прощают даже самого малого несоблюдения придворного этикета и, уж тем более, фамильярности. Вот погоди: еще немного, и мы увидим, как его острые клыки разрывают в клочья великолепный велюровый костюм нашего Лямура.

«Вот оно! — вдруг осенило Сашу Милого. — С этой напряженной сцены и начнется моя книга...»

Неожиданно пес Петров перестал следить за происходящим. И вообще стал вести себя очень странно. Он то перебежал с места на место, то приседал на задние лапы и в такой позе замирал, пристально вглядываясь куда-то вдаль, потом вскакивал и тянул носом воздух. Было заметно, как от нетерпения дрожит его хвост. Непроизвольно Саша Милый тоже стал принюхиваться: воздух благоухал осенней прелью, жареными каштанами и кофе...

— Ну, вот и всё, — сказал Магор, дождавшись завершения фотосессии.

— Нет, не всё! — запротестовал Лямур Двердомский, перенаправляя объектив своего фотоаппарата на Магора.

— Пора и нам с герцогиней в дорогу, — продолжал тот, делая вид, что не слышит.

— Нет уж, постойте! Сейчас сфотографирую вас вместе!

— Право, это лишнее, дорогой мой...

— Шутите? Такой шикарный образ: борода, волосы! — гнул свое Лямур Двердомский, кружась вокруг Магора в поисках нужного ракурса. — У меня на этой пленке уже три экспозиции наложено. Год назад снимал... Там и вода текущая, и огонь горящий, и еще обнаженка крутая! Полный авангард!..

— В том-то и дело, голубчик, — сказала герцогиня Эсклермонда и приложила указательный палец к губам.

Одарив Лямура Двердомского обворожительнейшей улыбкой, она взяла Магора под руку и вместе с ним направилась к Адуляру и Янке.

— Учитель! — Адуляр сорвал с головы корону и, порывисто схватив руку Магора, поцеловал ее. — Все эти годы вы были мне отцом.

— Да, засиделся я тут, — вздохнул Магор. — Стареть стал. Оброс школярами... вот ведь оно как! — Он с нежностью посмотрел на прекрасную Эсклермонду. — Да и не могу же я оставить герцогиню без присмотра в ее долгом путешествии!

— Вы уж не огорчайтесь так, касатик наш, — сказала Эсклермонда, подавая руку Адуляру. Затем притянула к себе Янку, обняла ее и нежно поцеловала в лоб.

— Тетушка! — слезы потекли по щекам Янки. — Ах, тетушка! Мне так будет вас не хватать... И бабы Мани тоже... Ой! Я хотела сказать...

Эсклермонда рассмеялась:

— Да, девочка моя, с бабой Маней это мы хорошо придумали, правда? Знаете, наш милый Магнус так вошел в роль, что иногда мне становилось за него страшно. Ну, ничего, ничего. Берегите вашего Сказочника.

— Кстати, кто-нибудь знает, здесь есть слайдоскоп? — не унимался Лямур Двердомский.

— Неужели мы больше никогда не увидимся?

— Поживем — увидим, девочка моя. Во всяком случае, карты мои по-прежнему со мной.

— А как же мы? — спросил Старик Придумкин.

— Вас ждут великие дела, так что у вас все только начинается, друзья, — сказал Магор, лихо забрасывая свои длинные седые усы за спину на походный манер; в глазах его появился озорной блеск. — Удачи вам, и прощайте!

— Будьте здоровы, детки! — скрипучим голосом прокричал, сидящий у него на плече попугай и захлопал крыльями.

— И счастливы! — добавила фея Эсклермонда.

И они пошли догонять процессию.

Друзья остались одни. С грустью наблюдали они, как уходят корабли в неведомую даль. Пес-психомп Петров сидел, одинокий, в стороне, утирая лапой слезы.

— Ну, и как будем жить дальше? — спросил Старик Придумкин.

Ответа не было.

И тогда все разом посмотрели на Адуляра и его спутницу.

— Может, наконец-то, представишь свою даму старым друзьям? — сказал Гений Вишнуевский.

— Меня зовут Янка, — сказала Янка и весело улыбнулась.

— Мадемуазель! — выступил вперед Старик Придумкин. — Разрешите представиться: Старик Придумкин, пиит, в чем я теперь не очень уверен. А это мои друзья: Гений Вишнуевский и Саша Милый... Тоже были пиитами до сегодняшнего дня...

— Вот же скотина, — едва слышно прошипел Гений Вишнуевский.

— ...А это — Корбюзьевич. Он живописец. Есть подозрение, что от Бога... И, прошу сюда! Лямур Двердомский — воздухоплаватель, в чем мы все могли сегодня убедиться. А раньше был простым авангардистом...

Друзья неуклюже раскланивались.

— Здравствуйте! Очень приятно, — говорила Янка, подавая каждому руку. — Очень приятно!

— На вашем месте я бы не спешил с выводами, — заметил Старик Придумкин. — Мы те еще перцы!

— Да не слушайте вы его! — не выдержал Гений Вишнуевский. — У нашего друга был тяжелый день: со вчерашнего вечера ни грамма водки не выпил и всю ночь командовал.

— А вы смешные, — сказала Янка.

— О, не то слово! — усмехнувшись, подтвердил Адуляр. — Но у них великое будущее. Надеюсь, друзья, я не зря вас потревожил?

— Может, кофейку выпьем? — встрял Гений Вишнуевский, оглядываясь по сторонам и принюхиваясь. — Слышу дивный аромат арабики...

— Боюсь, с кофе придется повременить, — сказал Адуляр. — У меня для вас...

— Кстати, старик! — вспомнил Старик Придумкин. — Вот твоя книга... «Книга Книг». — И он протянул Адуляру портфель. — Не скажу, что она не доставила нам хлопот.

Адуляр на него даже не взглянул.

— Это всё в прошлом, — задумчиво произнес он. — Впереди новые хлопоты.

Старик Придумкин укоризненно покачал головой:

— Послушай, мы только-только избавились от старых хлопот, а ты уже о новых...

Он хотел еще что-то добавить, но Адуляр остановил его:

— Друзья мои, должен вам сообщить плохую новость. В городе поселилась Жаба... Точнее, очнулась. Пробудилась от многовекового сна.

— Жаба? — переспросил Саша Милый, и голос его пресекался.

— Ты не ослышался. Древняя Жаба-Асфикс. Черная, как безлунная ночь на болоте.

— Зачем ты нам об этом говоришь?

— Затем, что ее нужно уничтожить. Или хотя бы загнать обратно в логово и снова усыпить. Поэтому я возвращаюсь в город. Кто со мной? Станем братьями по оружию...

— Да ты что, старик! — ужаснулся Старик Придумкин. — Какое оружие? Какой город? Ты ничего не знаешь! Нас там обложили со всех сторон — ни вдохнуть, ни выдохнуть. Мы чудом вырвались! А ты предлагаешь нам снова вернуться в этот кошмар и стать какими-то жаборцами! Я правильно тебя понял? Может, это шутка?

— Никуда я отсюда не пойду, — поддержал Саша Милый. — Мы уже освоились. Здесь так хорошо, спокойно... Я хотел начать книгу писать...

— Сказать по правде, мне тоже больше нравится здесь, чем в застенках Захват Захватыха, где нас ждут не дождутся, — подхватил Гений Вишнуевский. — У меня встречное предложение. Лучше пойдемте пить глинтвейн, кушать жаренные каштаны и печеные яблоки... Будем собирать листья ясеня. Сегодня же праздник: День Золотых Ясеней, правильно?..

Адуляр хмуро молчал. Янка крепко сжимала запястье его руки.

— Да о чем с ними говорить! — воскликнул пес Петров. — Теперь вы видите, что я был прав?

— Погодите, Петров, — сказал Адуляр. — Каждый волен выбирать сам.

— А я возвращаюсь, — заявил художник Корбюзьевич. — Я должен восстановить мастерскую, разыскать Руну и Гермогенова.

— Мне тоже нужно вернуться, — сказал Лямур Двердомский. — Меня как бы ждут.

— И кто же это? Арьергард авангарда? — поинтересовался Старик Придумкин.

— Лялёк меня ждет. «Фигус» жизни моей... После того, как мы с ней построили идеальный любовный двуугольник, я понял, что мне... Постойте, разве я не говорил вам, что женюсь?

— Ты говорил, что «как бы» женишься, — запальчиво возразил Гений Вишнуевский. — А это не одно и то же.

— Нет, я, конечно, не против сначала выпить глинтвейна. Устроим, так сказать, мальчишник в мою честь. Тряхнем, как говорится, «фикусом» в последний раз. В разумных пределах, конечно. Я вас увековечу — пленка еще есть... Но потом — домой, а то Лялёк обидится, жениться мне — не пережениться!

— Так что, выходит, расстаемся? — спросил Саша Мильй.

Друзья стояли в нерешительности. Расставаться не хотелось, но как поступить, никто не знал.

Общее напряжение разрядил Адуляр.

— Кто хочет остаться, пусть остается, — твердо сказал он. — Вернуться можно в любой момент, стоит лишь позвать Петрова. Он выведет. Но вы должны знать, что Жаба-Асфикс разрастается с каждым днем. Если ее не остановить, она поглотит весь город. Так что вся надежда на нас... на героев.

— На героев? — переспросил Саша Мильй, в глазах его подрагивали слезы: «Эх, прощай книга!». — А как она выглядит, Жаба эта?

— У нее много голов. И обличий.

— А Захват Захватых? Нас же сразу повяжут!

— Кто знает, что будет? — Адуляр бросил тревожный взгляд сначала на сиренево-синий восток, где во всем своем блеске сияла Луна, потом на пылающий золотом закат. — Надо поторапливаться. Неизвестно, сколько лет прошло с тех пор, как вы появились здесь.

Эти последние слова Адуляра прозвучали ошеломляюще. Особенно занервничал Лямур Двердомский: там же Лялёк ждет, волнуется! Какой «нефикус»!..

Тут уж больше никто не спорил, и решено было выступить немедленно.

— Пойдите, а что делать с «Книгой Книг»? — спросил Старик Придумкин.

С минуту Адуляр раздумывал.

— Оставим ее здесь, — сказал он.

— Оставим? Как это?

— Вот тебе и раз! — подхватил Гений Вишнуевский. — За чем же мы так рисковали? Ты хоть знаешь, какая там кутерьма завертелась из-за этой твоей книги? — и он махнул рукой в каком-то неопределенном направлении. — Черт возьми, нас чуть со свету не сжили!

— Вы не зря рисковали, — сказал Адуляр. — Вы принесли ее туда, где ей будет лучше. Здесь ее дом. Пусть она здесь и остается.

— Зачем же ты ее писал, позволь узнать?

— О, это еще вопрос — кто кого писал!

— Псих! — развел руками Гений Вишнуевский. — Нет, я тебя конечно понимаю. Даже очень хорошо понимаю. Но все равно ты псих.

— А хочешь, я твою книгу сфотографирую на прощанье? — спросил Лямур Двердомский, снимая крышечку с объектива своего старенького, перемотанного веревкой фотоаппарата.

— Зачем?

— Да ты не волнуйся! Поверх я наложу три-четыре экспозиции: тебя, к примеру, крупным планом, потом город, потом собаку... то есть сэра Петрова, потом какую-нибудь барышню... обнаженную, «фикусную»... Хочешь? При такой плотности слоев ее вообще никто не увидит. В смысле, книгу, ну ты понимаешь...

Адуляр рассмеялся:

— Спасибо, Лямур! Но, знаешь, все, о чем ты говоришь, в этой книге уже есть. Не лучше ли написать новую?.. Что скажете, друзья?

— Писать нам — не переписать! — выкрикнули хором друзья и тоже рассмеялись.

— Хорошо, за мной — дизайн, — согласился Лямур Двердомский. — Только пойдете отсюда скорее, мне жениться пора!

Элегантным движением руки он извлек из кармана велюрового пиджака баллончик с лаком для волос и несколько раз прыснул из него на свою пышную шевелюру.

— Я готов, — сказал он и, поймав на себе недоуменный взгляд пса Петрова, протянул ему баллончик с лаком. — Шикарный лак. Называется «Прелесь». Это чтобы во время ходьбы волосы не разлетались.

Тот фыркнул в ответ и отвернулся.

— Хм... Не хотите — как хотите, — Лямур Двердомский обиженно поджал губы и тоже отвернулся; однако, заметив Янку и особенно то, как приятно, как «фикусно» она ему улыбается, он решил предложить «попрыскаться» и ей, но не успел.

— Дайте-ка его мне, — сказал художник Корбюзьевич, выхватывая баллончик из его руки и быстро пряча во внутренний карман своего великолепного сиреневого жилета. — Им хорошо постель закреплять.

— Ну, вот и славно! — воскликнул Адуляр. — Кажется, ничто нас здесь больше не держит.

Он в последний раз посмотрел на розовеющие вдалеке паруса уплывающей флотилии, на тонущий в золотом листопаде Город — вечный и прекрасный Город Мастеров, — на полузасыпанный ясеневыми листьями нелепый кожаный портфель с «Книгой Книг» внутри — она, будто сон заветный и таинственный, оставалась здесь навсегда, чтобы иногда сниться и призывать.

— Петров, ведите нас скорее!

Друзья пустились в путь. Пес-психопомп Петров трусил впереди, поваливая серебристым хвостом. На спине его и на лапах также появились серебряные подпалины. Он часто оборачивался назад, проверяя: не отстал ли кто? Дорога вела прямо к распахнутым настежь воротам осиротевшего Замка. В ушах, казалось, все еще продолжали звучать музыка флейт и труб, прощальные приветствия и возгласы. Пройдя ворота, они оказались в сумрачном коридоре, конец которого терялся где-то во тьме.

Замок опустел, обезлюдел. Повсюду — голые холодные стены, пыль и запустение. Казалось, много лет в нем никто не жил. Долго шли они этим потускневшим лабиринтом, а он все не кончался, и оттого в сердца закрадывалась тревога, и она понуждала идти быстрее. Звуки шагов гулко разносились под высокими сводами. Стены были исписаны какими-то неразборчивыми письменами, но читать их было некогда. За время пути никто не произнес ни единого слова — говорить не хотелось. От недавней праздничной беспечности не осталось и следа.

— Пришли, — наконец тихо произнес пес Петров. — За той дверью Андреевский спуск.

Он приотворил дверь и осторожно высунул голову наружу. Глухая беззвездная ночь. Ни один фонарь не горел, и в окнах соседних домов затаилась тьма.

Друзья взволнованно молчали. Город!.. Их город!.. Что ждет их там, за этой последней дверью?

— Что-то случилось, Петров? — спросил Адуляр, видя, как тот медленно пятится назад.

— Дальше пойдете без меня, — сказал пес-психопомп. — Не тревожьтесь, вас там встретит инспектор Пришивалов, — и уточнил: — Бывший инспектор... Можете ему полностью доверять.

— А вы?

— А я остаюсь в Замке. На мне теперь его охрана: вдруг Магор и Эсклермонда вернутся, и все будет, как прежде? — Пес Петров грустно вздохнул. — Может, и вы, Ваше Величество, когда-нибудь вернетесь... Все-таки это ваш Замок.

— Не печальтесь, Петров. Так или иначе, мы скоро увидимся.

— О да! Обязательно увидимся.

И тут взял он в лапы гусли сладкозвучные, ударил когтями по струнам и запел:

Сотни лет терпеливо  
Не ем и не сплю —  
Я в лесу заколдованном  
Службу несу.

Уж давненько по тропам  
Среди сосен и скал  
На охоту галопом  
Король не скакал.

Не гудели рожки  
И не лаяли псы,  
Меж стволов не мелькали  
Баронов носы.

На заре не звенит  
Соловьиная трель,  
Не мерцает в ручьях  
Золотая форель,

По эльфийскому следу  
Не летит следопыт —  
Только вечер незрячий  
Ползет да пылит,

На утесах когтистых,  
На колючках ветвей  
Оставляет лоскутья  
Бескрылых теней.

Я — охотник на птиц,  
Я в засаде всегда,  
Хоть их нет, и не будет  
Уже никогда:



Ни скворцов, ни сорок,  
Ни синиц, ни кукушек,  
Ни скрипучих ворон,  
Ни квакучих лягушек,

Ни щеглов над засохшим  
Кустарником роз,  
Ни дроздов, ни колибри,  
Ни даже стрекоз!

Сам себе я манок,  
Сам себе я силок,  
Сам себе я пернатый  
Надежды цветов...

— Но! — прервав свою песнь, воскликнул пес Петров.

— Но! — хором дружно подхватил весь отряд.

Как-то раз мне приснилось,  
Что вернулся Король!  
Он в рожок протрубил  
Королевский пароль.

Зашумел-закачался  
Расколдованный лес.  
Я от радости умер  
И снова воскрес.

Побросал все манки,  
И силки, и тенета...  
Я такая же птица —  
Буду петь до рассвета!

«Ты зачем тут летаешь?» —  
Изумился Король.  
«Ты всех птиц распугаешь!» —  
Рассердился Король...

И пока не проснулся,  
Я все пел да летал,  
А проснувшись,  
На пыльные камни упал...

И с тех пор мою память  
Дивный сон бережит.  
Позади — шорох ветра,  
И ночь — впереди.

Я ловец терпеливый —  
Буду верить и ждать.  
Я в засаде привык  
Долгий век коротать.

Тронутые этой песней до глубины души, друзья стали прощаться с псом Петровым.

— Не поминайте нас лихом, — сказал Старик Придумкин, крепко пожимая его лапу. — И спасибо вам за все.

— Берегитесь Жабы! — крикнул пес-психопомп вдогонку. — Она — чудовище коварное.

— Плевать на Жабу! Победа будет за нами! — заверил Гений Вишнуевский и весело хлопнул по плечу сильно приунывшего Сашу Милого: — Верно я говорю, брат мой по оружию?

Один за другим друзья выскользнули за дверь в дышащую холодом и неизвестностью ночь. Адуляр и Янка задержались еще на минуту.

— Мне показалось, вы хотели что-то сказать, Петров? — спросил Адуляр.

— Да, Ваше Величество...

— Не называйте меня так, я же просил.

— Там остались еще трое, — сказал пес Петров. — Я должен их разыскать и вернуть в город.

— Кто они?

— Ваши друзья, Адуляр. О, я такой растяпа! Хотел, чтобы они присутствовали на Празднике, но в заботах об этих джентльменах, — пес Петров кивнул на дверь, за которой скрылись поэты, — я потерял их.

— Да кто же это? Не томите, Петров!

— Это некто Флюидов, Иванов и Впетлин... Последний раз я видел их неподалеку от Эоловой арфы.

— Давайте вместе пойдем за ними, — предложила Янка.

— Нет, княгинюшка! — запротестовал пес Петров. — Я их потерял, я и найду. К тому же это моя работа, ведь я — психопомп. И Бог мне свидетель, — в клятвенном упоении он поднял правую лапу над головой, — я не успокоюсь, пока все паладины не будут в сборе!

— Хорошо, будь по-вашему, — согласился Адуляр. — Но не задерживайтесь там надолго, друг мой. Нам предстоит еще столько дел!

— Я мигом, клянусь! Только туда — и обратно.

— Тогда передайте вот это Иванову, — сказала Янка, протягивая псу Петрову перстень с лунным камнем. — Скажите ему, что это от Ундины. Он поймет.

Пес-психопомп Петров вильнул на прощание хвостом, оставив после себя в темноте серебристый росчерк, и исчез в сумрачных лабиринтах Замка.

В ту же минуту в дверь просунулась голова Старика Придумкина.

— Эй! Вы там долго еще? — шепотом прошипел он.

— Идем, идем!

Голова Старика Придумкина тут же спряталась. Адуляр обнял Янку за плечо, и вместе они направились к выходу.

— Что ты чувствуешь, любимый? — спросила она.

— Что чувствую? Новую жизнь. И я счастлив...

Адуляр толкнул дверь. Краем глаза он успел прочитать на ней коряво нацарапанные чьей-то неумелой рукой несколько слов:

*«В действительности все было...»*

## ПРИМЕЧАНИЯ

*Albedo* (лат.) — алхимический термин, обозначающий «Работу (или Делание) в Белом», т.е. второй этап Великого Делания, когда в ходе обработки вещество приобретало белый цвет. В духовном смысле Альбедро символизирует воскресение к новой жизни после «смерти всего брэнного» в душе человека (*Nigredo*, т.е. «Работа в Черном») и предвещает окончательное его духовное и физическое преобразование, осуществляемое в процессе *Rubedo*, т.е. «Работы в Красном».

«*Книга о зверях и чудовищах*» — анонимное латинское произведение (*Liber de monstribus et beluis*), своеобразная энциклопедия, представляющая множество вымышленных существ. Оно обнаружено и впервые опубликовано в 1836 г. достопочтенным Бергером де Ксивре-ем, использовавшим латинскую рукопись, датированную им X в. Эпиграф взят из «Пролога» (1) в переводе с латинского Н.Горелова («Жизнь чудовищ в Средние века», Санкт-Петербург, Издательство «Азбука-классика», 2004).

## КНИГА КОРОЛЕВЫ

### В Хронилице Главного Часовщика

*Филиппо Календаро* (первые годы XIV в. — 1355) — венецианский архитектор, предполагаемый строитель дворца Дожей в Венеции. В действительности он проектировал только фасад этого дворца, выходящий на набережную Невольников, и шесть первых арок — со стороны площади. Замешанный в заговоре Мариино Фальери, он был казнен.

*Клянусь Галеном, Парацельсом и Склифософиусом...* — Клавдий Гален (131–201) — римский врач, оставивший после себя труды по анатомии, физиологии и фармакологии. Парацельс (1493–1541) также прославился как выдающийся врач своего времени. Склифософиус — иронично латинизированная фамилия Н. В. Склифосовского (1836–1904), выдающегося русского хирурга.

*Бартоломео Ньюзэм* (умер в 1593 г.), был часовщиком английской королевы Елизаветы I, вероятно, родился в Йорке.

*Ганс Лютерер* (ок. 1489–1548), немецкий и швейцарский часовщик, родом из Фрайбурга-им-Брайсгау, прославился строительством башенных часов.

*Бреге Авраам-Луи* (1747–1823) — часовых дел мастер французского флота. Известен как изобретатель спирали особой формы, носящей его имя, и других усовершенствований часовых механизмов.

*Йост Бюрги* (1552–1632) — немецкий математик, механик, астроном. В качестве механика Бюрги знаменит тем, что к часам применил маятник как регулятор. Первые часовые механизмы с регулятором, основанным на новом принципе, Бюрги построил для обсерватории в Касселе. Там же в 1585 году Бюрги сконструировал для ландграфа Вильгельма IV часы с тремя стрелками. Впервые в часах кроме часовой и минутной была встроена еще и секундная стрелка. С помощью этих часов стало возможным измерять новую единицу времени — секунду. С 1604 по 1630 год состоял на службе у императора Рудольфа II в Праге, где построил для него часы с маятником.

... *его друга профессора Дасиподия...* — Йост Бюрги вместе с Конрадом Дасиподием, профессором Страсбургской Академии, немецким математиком XVI в., соорудил знаменитые часы в Страсбургском соборе.

*Конрад Рихардт* — немецкий часовщик, живший и работавший в ГДР. В 1974 г. он провел реставрацию старинных часов на башне Санкт-Иоханнес-кирхи в Гере.

... *ни с часами Ильницкого над входом в Главпочтамт...* — Описываемые часы, показывающие время в 58-ми городах планеты, были установлены на здании Почтамта в Киеве, на Крещатике, в 1958 г. Созданы инженером П. Ф. Парадней и часовщиком М. М. Ильницким.

... *ни с енодинскими часами Лаврской колокольни...* — Часы с курантами, смонтированы мастером А. Енодиным по образцу Кремлевских в Москве и установлены на четвертом ярусе Большой Лаврской колокольни в Киеве (в 1903 г.) на месте старых часов, изготовленных мастером А. Левинским в XVIII в. Восемь колоколов через каждые четверть часа играют гаммы.

... *место, где некогда цвело Козье болото...* — Козьим болотом со времен Киевской Руси и до 30-х гг. XIX в. называлась в Киеве местность, где ныне расположен Майдан Незалежности и окрестные застройки.

*Меня зовут Леруа.* — Леруа, французский часовой мастер, в 1767 г. изобрел хронометрический спуск для часов. Его хронометр был впервые испытан на фрегате «Аврора». За сорок шесть дней пути этот хронометр отстал только на семь секунд.

... *почтенный Грахам.* — Грахам, знаменитый английский часовщик, в 1720 г. изобрел анкерный и цилиндровый спуск для часов. Так называемый «ход Грахама» до сих пор используется в бытовых маятниковых часах.

*Вы, конечно, читали Готтшеда...* — Имеется в виду известный труд немецкого писателя и теоретика раннего Просвещения Иоганна Кристофа Готтшеда (1700–1766) «*Erste Gründe der gesammten Weltweisheit*», Лейпциг, 1762.

... *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения, основоположник немецкой классической литературы.

«*Идеи к философии истории человечества*» *господина Гердера*... — Книга Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803), немецкого писателя и философа-просветителя, теоретика «Бури и натиска», литературного движения в Германии 70–80-х гг. XVIII в.

*Тик* Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик.

... *как и с часами Кауфмана*... — Иоганн-Готфрид Кауфман (1751–1818), немецкий механик и часовых дел мастер в Дрездене, занимался производством часов, которые одновременно исполняли мелодии на флейте и арфе.

... *господин Гюйгенс*... — Христиан Гюйгенс (1629–1695) — нидерландский ученый; применил к часам маятник и изобрел для них спираль и спуск, превратив часы в точный, основанный на математической науке прибор для измерения времени.

... *накальсонные часы*... — Пародийное слово, образованное от «наконсольные» («консольные») часы.

«*Хронографы*» *Михаила Пселла, Проспера Аквитанского, Исидора Севильского*... — Михаил Пселл (1018–1096/97) — знаменитый византийский писатель, автор историко-мемуарного сочинения «Хронография». Проспер Аквитанский (ок. 390 — ок. 460) — историк, поэт и теолог, автор «Хроники». Исидор Севильский — святой католической Церкви, писатель, написавший «Хронику» от «сотворения мира» до 625 г.

*Форштевень* — брус по контуру носового заострения судна.

*Фор-бом-брамсель* — четвертый парус, расположенный на фор-бом-брам-стенге фок-мачты.

...*в обнимку с развеселыми роджерами*. — «Веселым Роджером» назывался пиратский флаг с черепом и двумя перекрещенными костями.

*Это был «Туринский Часослов»*... — «Прекрасный часослов Богоматери» (нач. XV в.). Авторство некоторых миниатюр этой книги приписывается братьям Яну и Хуберту ван Эйкам — знаменитым голландским живописцам XV века.

*Клепсидра* — водяные часы.

... *мсье Ламетри*. — Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751) — французский философ, врач. В сочинении «Человек-машина» (1747) рассматривал человеческий организм как самозаводящуюся машину, подобную часовому механизму.

## КНИГА ГОРОДА

### Ночные бдения в Сером Тереме

*Протограф* — в источниковедении первоначальная рукопись, легшая в основу более поздних списков (копий, редакций).

## Классик

*Гризайль* — вид живописи, в основном декоративной, выполненной в разных оттенках одного цвета (чаще серого).

*Гигантская арка, покрытая титановыми пластинами ...* — Имеется в виду монумент так называемого Воссоединения Украины с Россией в виде полукруглой арки-радуги из металла. Построен в 1987 г.

*Амфисбена* — в древнегреческой мифологии гигантская змея, у которой одна голова впереди, другая сзади. Она может двигаться в любом направлении, не поворачиваясь. Глаза ее светятся подобно лампам. В итальянской рукописи XVI в., принадлежавшей графу Пьеру В. Пиоббу, это мифическое животное называется хранителем «Великой Тайны».

*... словно на самом темечке вещающей головы Брана...* — В валлийской легенде о короле Британии Бране Благословенном рассказывается, что когда Бран был смертельно ранен в бою с войском Мотолхва, короля Ирландии, он сам попросил своих друзей отрубить ему голову и отвезти ее на родину. На всем протяжении долгого обратного пути голова сохраняла способность есть, пить, а также петь и пророчествовать.

## Флюиды Флюидова

*А через полчаса в Городе случилось землетрясение...* — Известны два чувствительных землетрясения, докатившихся до Киева из Румынии: в 1978-м и 1984-м годах.

*... подарок Плутона хозяину дома...* — Плутон в римской мифологии — властелин подземного царства.

*Принцесса Микомикона* — героиня романа Сервантеса «Дон Кихот». Священник и цирюльник уговорили крестьянскую девушку Доротею выдать себя за принцессу Микомикону с тем, чтобы заманить Дон Кихота домой, куда он и был доставлен в клетке.

*... и как Арлекина, меня вечно обманывали все те же коварные Коломбины со Смеральдинами!* — Коломбина, Смеральдина — традиционные персонажи театра дель арте, часто неверные возлюбленные Арлекина. Коломбина — маска кокетливой служанки, Смеральдина — маска капризной кокетки.

*... мечтает о своем собственном Оленьем парке или о Хемптон-Корте...* — Олений парк — тайный гарем и место любовных оргий французского короля Людовика XV (1710–1774). Хемптон-Корт — дворец в окрестностях Лондона, служивший резиденцией английских королей, в частности Карла II Стюарта (1630–1685). В Хемптон-Корте он устроил гарем, славившийся красавицами, образовавшими так называемый «Млечный путь».

*Фирболги* — в кельтских легендах племя грубых и жестоких карликов, населявших Ирландию в IV в. до н. э.

... никогда не читал Бахтина... ..раблезианской «карнавальности». — Имеется в виду знаменитая книга М. М. Бахтина (1895–1975) «Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса».

... куртуазные романы в духе Генриха фон Фельдеке... — Генрих фон Фельдеке (вторая половина XII в.) — родоначальник немецкого куртуазного романа, талантливый миннезингер во времена Фридриха Барбароссы.

... поэмы в манере Кретьена де Труа ... — Т.е. в манере средневекового куртуазного романа.

... времена Фридриха Барбароссы... — Время крестовых походов. Фридрих I Барбаросса (ок. 1125–1190) — германский король и император Священной Римской империи (с 1152 г.).

Елена Рерих (1879–1955) — русский философ, писательница, общественный деятель, жена Н. К. Рериха. В сотрудничестве с Учителями Востока в начале XX века создала философское Учение Живой Этики («Агни Йога»).

Шамбала — по учению буддизма ваджраяны — полумифическая страна, которую обычно располагают к северу от реки Сита (Тарим, Амударья или Сырдарья). В теософских представлениях, Шамбала — место пребывания махатм, Великих Учителей Человечества.

Валентин Сидоров (род. 1932) — русский советский поэт и писатель, автор книги стихов «Индийские сюжеты».

... одноименного шедевра Генриха Фюсли... — Речь идет о картине «Ночной кошмар» швейцарского живописца Иоганна Генриха Фюсли (1741–1825). На ней изображена спящая красавица, окруженная чудовищами, порожденными во сне бессознательной работой психики.

Бавкида — супруга Филемона; эта супружеская чета во Фригии сохранила взаимную привязанность до глубокой старости. В награду за радужный прием Зевса и Гермеса супруги были спасены от наводнения; после своей одновременной смерти обращены в дуб и липу.

... Никаула, царица сабеев из Счастливой Аравии... — Никаула — царица Савская, полупоэтическая царица сабеев; согласно библейскому сказанию, посетила царя Соломона (X в. до н.э.). Ее имя — Никаула — приведено Иосифом Флавием в «Иудейских древностях».

... императрица Жозефина... — Жозефина Богарне (1763–1814), императрица Франции (1804–1809), первая жена Наполеона I Бонапарта.

Алиенора Аквитанская (1122–1204) — королева Франции, потом Англии. Дочь Вильгельма IX, трубадура, последнего герцога Аквитании, Алиенора была выдана замуж (1137) за Людовика VII Младшего. Вместе с ним отправилась во Второй крестовый поход, во время которого соблазнила своего дядю, графа Раймуна Антиохийского. Хронисты рассказывают о множестве скандальных любовных похождениях этой королевы. В 1152 г. Людовик развелся с Алиенорой, и она вскоре вышла за графа Анжуйского, будущего английского короля Генриха II. Через некоторое время Алиенора разошлась и с Генрихом. Во время Третьего крестового



похода она управляла Англией и собрала громадную сумму денег для выкупа Ричарда Львиное Сердце из плена. По возвращении Ричарда Алиенора удалилась в аббатство Фонтевро.

... *собственноручно умертвила прелестнейшую Rose du monde.* — «Роза мира» (*франц.*) — прозвище Розамунды (ок. 1160–1184), дочери лорда Вальтера Клиффорда, фаворитки английского короля Генриха II, отличавшейся необыкновенной красотой. Из-за ревности своей супруги Алиеноры Аквитанской король скрыл Розамунду в Вудстокском замке, представлявшем собою, по рассказам, целый лабиринт, в котором можно было заблудиться. По преданию, Розамунда была обнаружена и убита собственноручно королевой Алиенорой.

*Джулия Фарнезе (1474–1524)* — любовница папы римского Александра VI (Родриго Борджиа), представительница династии Фарнезе, заказала для своего склепа в храме Св. Петра в Риме свою статую-портрет в обнаженном виде.

... *прекрасная Изотта, которую в церкви Святого Франческо в Римини увековечил Сиджизмондо Малатеста...* — Сиджизмондо Малатеста построил в 1445–1450 гг. великолепную церковь Св. Франческо в Римини и поместил в ней скульптуру своей прекрасной любовницы Изотты.

... *Агнесса Сорель в образе Мадонны с обнаженной грудью...* — Агнесса Сорель (1421–1450) — фаворитка французского короля Карла VII (1403–1461, коронован в 1429). Славилась своей несравненной красотой, благодаря чему при дворе получила «титул» Дама Красоты. Речь идет о Меленском диптихе французского художника Жана Фуке (ок. 1420–1450), на правой створке которого он изобразил ее с обнаженной грудью в виде Мадонны с младенцем.

... *воспетая в стихах Аполлинария Костровицкого Мари Лорансен...* — Вильгельм Аполлинарий Костровицкий — настоящее имя французского поэта Гийома Аполлинера (1880–1918). Мари Лорансен — его возлюбленная.

... *госпожа Даймлер, которой столь обязано мировое автомобилестроение...* — Готлиб Даймлер в 1885 г. подарил своей жене, госпоже Даймлер, новенький, только что из магазина, фэтон. Годом позже, в 1886 г., он установил на фэтон сконструированный им бензиновый двигатель внутреннего сгорания.

*Шарлотта фон Кальб, урожденная фон Остгейм...* — подруга немецкого поэта Шиллера, вышла в 1783 г. замуж за нелюбимого ею офицера Генриха фон Кальба. В 1784 г. она познакомилась с Шиллером, и тотчас обоих охватило самое экзальтированное обожание. В Веймаре она имела большое влияние на немецких поэтов-романтиков Ф. Гёльдерлина (1770–1843) и Ж.-П. Рихтера (1763–1825). В 1820 г. она ослепла. Была натурой болезненно нервной, витавшей в тумане фантазий и мистики.

... *Луиза Брахманн... он хотел вытрягнуть в окно.* — Луиза Брахманн (1777–1822) — немецкая писательница. Новалис, под влиянием которого она написала свои первые стихотворения, познакомил ее с Шиллером, напечатавшим некоторые из ее стихотворений в «*Ноген*» и

«Musenalmanach». В сентябре 1800 г., задумав лишить себя жизни, Брахманн выпрыгнула в окно из коридора отцовского дома, но не погибла, а после продолжительной болезни выздоровела. В 1822 г., после разочарования в любимом человеке, Брахманн утопилась.

*Зато самой занудной оказалась леди Уолстонкрафт.* — Мэри Уолстонкрафт (известна также под именем Мэри Шелли) — английская писательница, автор книги «Защита прав женщин» (1792).

*Гаспара Стампа...* — Гаспара Стампа (1523–1554) — венецианская поэтесса, воспевшая свою любовь к графу Коллальтино ди Коллальто; написала более двухсот страстных сонетов о своей несчастной любви.

*Луиза Лабэ* (1525–1566) — французская поэтесса, родом из Лиона; в своих сонетах, изданных в 1555 г. (Oeuvres de Louise Labé), оплакивала разлуку с возлюбленным, как полагают исследователи, с поэтом Оливье де Маньи.

*«А подать мне сюда Инститориса-молотобойца!»* — Немецкий инквизитор Генрих Инститорис (XV–XVI вв.), один из двух авторов «Молота ведьм».

*«А подать сюда Гриландуса!»* — Паоло Гриландус — юрист и теолог XVI в., автор трактата о колдовстве («Трактат о ересях», Лондон, 1536), выступал по процессуальным вопросам суда над ведьмами.

*... виконт де Гийераг, переодетый в монахиню Марианну Алькофорато...* — Марианна Алькофорато (1640–1723), монахиня из Португалии. В 1669 г. в Париже появились в печати «Португальские письма» о ее несчастной любви. Считается доказанным, что автором «Португальских писем» был Габриэль-Жозеф де Лавернь, виконт де Гийераг — друг Мольера, Буало и Расина. Книга вышла в Париже в 1669 году и стала одной из самых громких мистификаций в истории мировой литературы.

*Белая Богиня* — тройственная Богиня луны, некий единый образ богини-матери, лежащей в основе всех мифов.

*... знаменитой Венеры из Золотого Дворца императора Нерона...* — Так называемый «Золотой дом» Нерона был построен после грандиозного пожара 64 г., уничтожившего почти весь Рим. Императорский дворец стал как бы центром нового Рима. Из-за массы золота и драгоценностей он получил название «Золотого дома».

*... как легендарный Мом, лопнул бы от злости...* — Мом, олицетворение злословия и насмешки в древнегреческой мифологии, лопнул от злости, не сумев найти в Афродите недостатков.

*Библида* — персонаж древнегреческой мифологии. Дочь Милета и Кианеи (или Идофеи). Отвергала множество женихов. Покончила с собой из-за любви к своему брату Кавну, превратилась в ручей под каменным дубом.

*Уже после общения с Мэри Шелли, в которой Флюидов, к удивлению своему, узнал старую знакомую феминистку леди Уолстонкрафт...* — Мэри Шелли, урожденная Мэри Уолстонкрафт Годвин (1797–1851) — автор книги «Франкенштейн, или Современный Прометей».

... *тонул на яхте в открытом море...* — Мэри Шелли была замужем за поэтом-романтиком П. Б. Шелли, который в 1822 г. утонул в море, перевернувшись на яхте.

... *в обличи «железной бабы» с Печерских холмов ...* — Имеется в виду монумент Родине-матери мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Построен в 1981 г. на высоком берегу Днепра.

... *в обществе очень пылкой римской матроны.* — Имеется в виду Аррия, римская матрона, прославившаяся своим мужеством. Чтобы подать пример своему мужу Петру, приговоренному к смерти за участие в заговоре Скрибониана против императора Клавдия (10 до н. э. — 54 н. э.; император с 41 г.), она вонзила себе в грудь кинжал, а затем передала его мужу со словами: «Пётр, мне не больно!» (Марциал. «Эпиграммы», I, 14).

«*Lady Godiva*» — «Леди Годива» (англ.). Легенда гласит, что в 1040 г. жестокий граф Леофрик обложил жителей Ковентри непосильными податями. Когда жена графа, леди Годива, вступилась за горожан, граф, издаваясь, предложил ей проехать по городу обнаженной — и тогда просьба ее будет исполнена. Годива не сочла это за позор, только предупредила горожан, чтобы никто не выглядывал на улицу. Все наглухо заперли ставни. Только некий портной, по имени Том, стал подглядывать в щель ставни и тотчас же ослеп.

## КНИГА КОРОЛЕВЫ

### Посягательства на Замок

... *собор в Сиене, построенный лет пятьсот назад мастером Никколо Пизано и его сыном Джованни.* — Сиенский собор (итал. Duomo di Siena) — кафедральный собор, освященный в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии, памятник итальянской готики. Никколо Пизано (ок. 1220 — между 1278–84) — итальянский скульптор и архитектор; согласно одной из версий, спроектировал и осуществил весь облик Сиенского собора. Джованни Пизано (ок. 1245 — после 1314), сын Никколо Пизано, выдающийся строитель и скульптор, возвел фасад.

«*Commentarii de bello Gallico*» — «Записки о Галльской войне» (лат.), знаменитая книга римского императора Гая Юлия Цезаря (102 или 100–44 до н. э.).

... *культивировал необыкновенных пчел-долгожителей.* — Золотые пчелы, вышитые на мантии Наполеона I Бонапарта, считались символами наполеоновской империи.

... *долетали до острова Святой Елены...* — На острове Святой Елены (вулканический остров в южной части Атлантического океана) отбыл ссылку Наполеон I Бонапарт, здесь он и умер в 1821 г.

... одна из полковничьих пчел по прозвищу *Маренго*... — Маренго — селение в Северной Италии, юго-западнее Алессандрии; около Маренго 14 июля 1800 г. во время войны Франции против Второй антифранцузской коалиции французская армия Наполеона I Бонапарта разбила австрийские войска и заняла Северную Италию.

... *этого укуса больше заслуживал маркиз де Моншеню*. — Маркиз де Моншеню, комендант крепости на о. Св. Елены, куда был сослан в 1815 году Наполеон I Бонапарт, от имени Франции следил за пленником.

... *мебелью Буля, Чиппендейла, Тонета*... — Андре Шарль Буль (1642–1732) — французский мастер художественной мебели, представитель классицизма; украшал строгую по формам мебель сложным мозаичным узором (маркетри, металл, черепашня и слононая кость, перламутр и др.). Томас Чиппендейл (1718–1779) — английский мастер мебельного искусства; удачно сочетал функциональную целесообразность форм с изяществом линий. Михаэль Тонет (1796–1871) — немецкий и австрийский мастер-мебельщик, изобретатель венской мебели венской (знаменитые «венские стулья»).

... *скульптурными композициями Джона Мейкписа, год назад приобретенными у него нашими агентами в Дорсете*... — Джон Мейкпис (род. 6 июля 1939 г.) — современный британский дизайнер и производитель мебели.

*Флегрейские поля* — в древнегреческой мифологии место борьбы богов и гигантов.

*Коменский Ян Амос (1592–1670)* — чешский мыслитель-гуманист и педагог; в основе его педагогической системы — принципы материалистического сенсуализма; впервые обосновал идею всеобщего обучения на родном языке, разработал единую школьную систему.

*Песталоцци Иоганн Генрих (1746–1827)* — швейцарский педагог, основоположник теории начального обучения. В своей теории «элементарного обучения» связал обучение с воспитанием и развитием ребенка, педагогику с психологией; развил идею соединения обучения с производительным трудом.

*Дистервег Адольф (1790–1866)* — немецкий педагог, последователь Песталоцци.

*Стратегема* — военная хитрость.

... *пользовался, как правило, смешанными проекциями*. — Речь идет о картографических проекциях, т.е. математических способах изображения на плоскости поверхности земного эллипсоида или шара.

## КНИГА ГОРОДА

### Дыра Святого Кутищева

... *местные жирни*... — Жирни, жировики, или лизуны — в славянском фольклоре духи. Считается, что они могут употреблять в пищу любую человеческую еду, если она не помечена крестом или досталась человеку неправедным путем — воровством, вымогательством и т. п.

## Кутищев Фуриозо

*Кутищев Фуриозо* — Т. е. Кутищев «неистовый», «дикий», «страстный» (от *итал.* furioso). По аналогии с «Orlando Furioso» («Неистовым Роландом») — стихотворным рыцарским романом итальянского поэта Лудовико Ариосто (1474–1533).

«*Дыра святого Патрика*» — (*англ.* Trou) — так в средние века называли вход в чистилище или ад. Средневековые легенды знают целый ряд «trou» в разных местах Европы. В то же время в фамильярной речи этим словам придавалось непристойное значение. Наибольшей известностью пользовалась «Дыра святого Патрика» в Ирландии. Это отверстие считалось входом в чистилище и было окружено множеством легенд.

... *то есть Хорива*. — Улица Хорива — одна из древнейших в Киеве. Находится на Подоле.

... *улицу Кожемяцкую*... — Улица Кожемяцкая на Подоле, между Старокиевской горой и Замковой (Флоровской), расположена в исторической местности Кожемяки, где со времен Киевской Руси жили ремесленники — кожевники. Улица проходит от Верхнего Вала до Дегтярной. Рядом — историческая местность Гончары.

*Роланд* — герой французской эпической поэмы «Песнь о Роланде» (XII в.), в которой он предстает как племянник первого франкского императора из династии Каролингов Карла Великого (742–814), один из двенадцати пэров (т. е. по мощи и доблести «равных» сеньору), пасынок графа Ганелона, который предательски вошел в сговор с сарацинами, что и повлекло за собой гибель Роланда и его отряда в Ронсевальском ущелье. Историческим прототипом этого образа явился маркграф Бретонский Хруолан, павший в бою с басками в 778 г. На самом деле он не был племянником Карла Великого.

«*Аой!*» — нечто вроде припева, междометия («аоі»), периодически повторяющегося в тексте «Песни о Роланде». До сих пор нет единой версии происхождения этого восклицания: одними исследователями оно толкуется как припев, другими — как условное обозначение какого-нибудь музыкального мотива.

... «*Ты что, не узнаешь свою возлюбленную Альду, невесту верную свою?*» — В «Песне о Роланде» образ Альды едва намечен: она — невеста Роланда и сестра Оливье (Оливера) — одного из двенадцати пэров Франции, боевого соратника Роланда.

... *Оливье с мечом своим Альтеклером*... — «Альтеклер» («высоко-светлый») — согласно поэме «Жирар Вианский» (одной из поэм французского эпоса), до Оливье этот меч принадлежал «римскому императору Клозамонту» (лицо вымышленное, в истории такого императора не было), который потерял его в лесу. После того как меч был найден, его отдали Папе, но затем им завладел Пипин Короткий, отец Карла Великого, который подарил его одному своему вассалу, последний продал его ев-

рею Иоахиму, «ровеснику Понтия Пилата». Во время поединка с Роландом у Оливье ломается меч. Роланд разрешает ему послать в Виану за другим. Тогда Иоахим присылает ему Альтеклер, и поединок заканчивается миром.

*Турпин, архиепископ Реймский...* — Турпин (Турпен), персонаж «Песни о Роланде», архиепископ Реймский (753–794), лицо историческое; пользовался покровительством Карла Великого, но об участии его в походах ничего не известно. Согласно средневековым сказаниям, один из уцелевших участников сражения в Ронсевальском ущелье.

*Гефье, герцог Бургундский...* — Персонаж «Песни о Роланде», один из пэров Карла Великого. Исторически, вероятно, Гефье тождествен аквитанскому герцогу Вайфарину, с которым сражался отец Карла Пипин Короткий (VIII в.), но потом с ним помирился.

*... и старик Жерар из Руссильона, и спесивый Ансеис, и Беранже...* — пэры Карла Великого. Жерар из Руссильона — герой франко-провансальской эпической поэмы, граф Парижский, который был с 855 г. опекуном Карла, короля Прованса. Ансеис и Беранже — также герои «Песни о Роланде».

*Ринальд Монтальванский на своем Баярде...* — Ринальд Монтальванский, персонаж «Неистового Роланда» Ариосто (а также поэм Торкватто Тассо и Боярдо), один из двенадцати пэров (или паладинов) Карла Великого. Баярд — конь Ринальда.

*Андриаки* — чудовища в виде полулюдей-полузверей, фигурирующие в романе «Амадис Галльский».

*Гиппогрифы* — в древнегреческой мифологии сказочные животные, наполовину кони, наполовину грифы.

*Мирафлорес* — замок, в котором жила Ориана, возлюбленная рыцаря Амадиса Галльского из романа «Амадис Галльский».

*Деянию конец. Турольд умолкнул...* — Последняя строка «Песни о Роланде». Предположительно, Турольд (Турольдус) — поэт, написавший «Песнь о Роланде» или принимавший какое-то участие в ее создании. Возможно, он был только переписчиком.

*... что увлеклись вы некой Анджеликой, дочерью Галафрона, катаясь катаясь царя ...* — Анджелика, дочь Галафрона, царя Катая (сев. Китая). В романе Ариосто в нее влюблен Роланд (Орландо).

*Дюрендаль* — меч Роланда, которому во французских хрониках и средневековых поэмах приписывались чудодейственные свойства. Судьба Дюрендаля в «Песне о Роланде» остается неясной.

*Брильядор* — боевой конь Роланда.

*Олифан* — («Слоновая Кость») — боевой рог Роланда.

*«Плавающие лютики»* — ядовитые водоросли. Благоприятная для них среда — вода, в которой содержится большой процент фосфорной кислоты. Капля сока, выжатая из «плавающего лютика», попадая на кожу, вызывает сначала покраснение, затем опухоль и нарыв.

... родом ядовитой петрушки. — *Herba sardonica* (лат.) — растет в Сардинии; от этой ядовитой петрушки человек умирал, по словам древних, с судорожным искривлением губ, как бы смеясь, — отсюда знаменитое выражение «сардонический смех».

*Собачья петрушка* — *Aethus cynarium* (лат.) — ядовитая однолетняя трава семейства зонтичных, дико растущая по сорным местам; без запаха, имеет белые цветки с многочисленными зонтиками.

... водой из Озера Смерти, что на Сицилии... — Озеро Смерти находится на острове Сицилия. Вокруг него нет никакой растительности, а вода его смертельна для человека. Обнаружено, что на дне озера имеются источники ядовитой кислоты, отравляющие воду.

... сатанинским грибом... — *Volvetus satanes* (лат.) — ядовитый шляпочный гриб класса гименомицетов, семья трутовиков (*Poliporeae*).

*Цикутосин* — ядовитое начало цикуты (из смолы корня) — вызывает эпилептоподобные припадки с судорогами.

$C_{21}H_{22}N_2O_{21}$  — химический состав стрихнина. Сильнейший яд, действие которого проявляется через 10–15 минут. Находится в разных частях видов *Strychnos*: в чилибухе, в бобах св. Игнатия.

*Строфантин* — алкалоид, горький кристалл, порошок, растворимый в воде и спирте; добывается из семян растущих в Африке и Азии видов *Strophantus* семейства *Arosunaseae*; повышает сократительность сердечного мускула, в больших дозах ядовит.

... мясом барракуды... — Барракуды (морские щуки) — семейство морских хищных рыб отряда кефалообразных.

... ядом Лернейской гидры... — Из древнегреческих мифов известно, как кентавр Несс был поражен стрелой Геракла, напитанной ядом Лернейской гидры, змееподобного чудовища, которое Геракл когда-то победил в окрестностях Лерны. Пропитанная кровью и ядом рубашка Несса впоследствии погубила и самого Геракла.

*Аква Тоффана*... — Такое название получил сильный яд, которым Тоффана (полное имя Теофания ди Адамо, 1659–1709), родом из Сицилии, под видом воды для притираний в конце XVII в. отравила сотни состоятельных мужей в Палермо и Неаполе.

... коробочка с териакком... — Териак употреблялся в древней медицине как противоядие.

... пузырек с лекарством царя Митридата ... — Митридату VI Евпатору (132–63 до н. э.), понтийскому царю, легенда приписывала свойство невосприимчивости к действию яда: опасаясь отравления, он с юности приучал себя к приему ядовитых веществ. Плиний Старший в своей «Естественной истории» рассказывает о собственноручно написанном царем рецепте лекарства, составленного из смеси высушенных орехов, фиг и листьев руты, «с добавлением крупинок соли». Это лекарство, принятое утром натощак, якобы в течение целого дня предохраняло человека от действия ядов.

*Элиминаторы ядов* — антидоты, выводящие яды из организма.

*Рог единорога* — в старину считался сильным средством против ядов.

... таких себе, на вид, безобидных, а в душе коварных *Локуст и Теофаний, Лопесов и Кастенов...* — Локуста (I в.) — профессиональная отравительница, с помощью ее ядов римский император Нерон устранил своих политических противников. Теофания, или Тоффана (Теофания ди Адамо) — сицилианка, знаменитая отравительница. В 1709 г. Тоффану приговорили к пожизненному заключению. Прямых улик против нее не было, но ее уличил астролог. В тюрьме она умерла насильственной смертью. Доктор Лопес — врач королевы Елизаветы I Английской (Тюдор, 1533–1603); был обвинен в попытке отравить Елизавету по наущению испанского двора и повешен в 1594 г. Эдем-Самюэль Кастен — французский врач, казненный в 1823 г. по обвинению в отравлении двух своих друзей с целью получения наследства.

... в натальной карте присутствовало соединение Луны со звездой *Акроб*. — В астрологии типичный аспект отравителей (неважно, кого — мышей, тараканов или людей).

... на *Печерске, возле водонапорной башни*. — Бывшая водонапорная башня находится в Мариинском парке. В настоящее время — Музей воды.

## КНИГА ГРЁЗ И СНОВИДЕНИЙ

### Десятый Сон инспектора Пришивалова

*Звали его «господин Клабаутерманн»* ... — Клабаутерманны — в фольклоре народов Западной Европы духи, обитающие в рострах — носовых фигурах парусных кораблей. Вообще-то они живут в деревьях, но настолько к ним привязаны, что когда те срубают и вырезают из них ростры, клабаутерманны забираются внутрь и так попадают на корабли. Пытаются помыкать экипажем, дразнятся и потешаются над людьми. Моряки их любят и побаиваются. Ростом они около трех футов. Курят трубку.

... книгу некоего *Себастьяна Мюнстера*. — Себастиан Мюнстер (1489–1552), средневековый немецкий ученый, францисканский монах, сторонник реформации. Славу Мюнстер приобрел своей «*Cosmographia*» (Базель, 1544) — сводом историко-географических и биологических данных, способствовавшим распространению географических знаний и послужившим образцом для последующих составителей космографий.

*Фаститокolon* — в средневековых бестиариях морское животное, гигантская черепаха, столь огромная, что мореходы нередко принимали ее за остров.

... *сновидения Цициона*... — Сочинение Цицерона «О государстве» кончается тем, что автор, превыше всего ставящий государственную жизнь и ее



справедливых правителей, рисует нам загробные места, где эти правители будут вкушать вечное блаженство. Эта концепция Цицерона представлена как рассказ Сципиона Африканского Старшего (ок. 235 — ок. 183 до н.э.), знаменитого римского вождя и полководца, своему внуку Сципиону Африканскому Младшему (ок. 185–129 до н.э.) о загробном мире, куда внук попал временно во сне и откуда вернулся, чтобы в повествовать своим друзьям о всем виденном и слышанном в своем путешествии. Этим рассказом и заканчивается трактат «О государстве».

«*Nessun dorma!*...» — «Никто не спит!...» (*итал.*) — крики глашатаев из оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини (1857–1924) «Турандот». В саду императора слышна отдаленная перекличка глашатаев: под страхом смерти этой ночью никто не должен спать в Пекине — таков приказ Турандот; до восхода солнца должно быть открыто имя неизвестного принца.

*Mêden agan!* — «Ничего сверх меры!» (*греч.*). Выражение встречается у многих древнегреческих мыслителей: Пиндара, Сократа, Аристотеля и др.

... царю, например, тоже как-то раз приснились три слова... — «*Menes, thekel, fares*» — «Исчислено, взвешено, разделено» (*халд.*) — таинственные слова, появившиеся на стене чертога, в котором, утопая в роскоши, пировал вавилонский царь Валтасар; пророческая надпись предвещала близкую гибель Валтасара и раздел его царства персидским царем Киrom (539 до н. э.); смысл этих слов разгадал пророк Даниил.

... *станет Новым Адамом...* — Адам Кадмон в Каббале, символизирующий целостную модель мира явленного, т.е. полный ряд возможностей, открытых для человечества.

## КНИГА ГОРОДА

### Поэты в бегах, или Голова в авоське

*Посейдон против Приапа...* — Посейдон — в древнегреческой мифологии один из богов-олимпийцев, повелитель морей. Приап — считался богом возжеления и изображался в виде огромного фаллоса.

*По Европейской площади имени Ленинского Комсомола...* — В советское время Европейская площадь называлась площадью Ленинского Комсомола. От нее берет свое начало улица Крепчатик, а также Владимирский спуск (в романе — Александровский) на Подол.

*Почтовая площадь* — расположена на Подоле, между Речным вокзалом и Владимирской горкой.

... *над входом его красовалась перевернутая кверху дном лодка, служившая своеобразным навесом.* — Имеется в виду популярная в 70 — 80-е гг. пивная «Бриз» на углу улиц Игоревской и Жданова (теперь Сагайдачного).

«*Проживи незаметно*» — (или «*Живи уединенно*») — знаменитый девиз древнегреческого философа-материалиста Эпикура (341–270 до н.э.); цель жизни — отсутствие страданий, здоровое тело и состояние безмятежности духа; познание природы освобождает от страха смерти, суеверий и религии вообще.

«*Песнь Сольвейг*» — произведение норвежского композитора Эдварда Грига (1843–1907) из сюиты «Пер Гюнт», по одноименной драме норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828–1906).

*Вышгород* — древний город в Киевской области, районный центр, расположенный на правом берегу Днепра, в 18-ти км от Киева.

... лет сто назад называлась *Жандармской*... — Современная улица Саксаганского с 1881 по 1893 называлась Жандармской.

... по *Безаковской улице имени Коминтерна*... — Улица Коминтерна (от бульвара Т. Шевченко до Вокзальной площади) в XIX в. называлась сначала Игнатьевской (по фамилии домовладельца), а с 1869 г. — Безаковской (по фамилии киевского генерал-губернатора Безакова А. П.).

... *вывернули на Бульварно-Кудрявскую, имени Воровского, улицу* ... — Улица Воровского (бывшая Бульварно-Кудрявская) носит это название с 1937 г.

*Золотоворотская улица* — тянется от Ярославова Вала (от Золотых Ворот) до Рейтарской.

## КНИГА КОРОЛЕВЫ

### Замковая Кухня

*Великий Приор Ордена булимитов*... — Булимия — неутолимый, мучительный голод, сопровождающийся общей слабостью, болями в подложечной области. Часто приводит к ожирению.

*Увесистые труды Апиция и Гримо де ля Реньера, Карема и Жозефа Бершу*... — Марк Габий Апиций — жил во времена римских императоров Августа и Тиберия (I в.) и обогатил кулинарное искусство новыми изобретениями. Ему приписывалась поваренная книга «*De arte coquinaria seu de obsoniis et condimentis*», но авторство принадлежит не ему, а некоему Целию, который воспользовался его именем. Гримо де ля Реньер — французский литератор конца XVIII — начала XIX в., автор шуточного «Альманаха гурманов». Мари-Антуан Карем (1784–1833) — прославленный кулинар, служивший у Талейрана, Георга IV, Ротшильда и др. Жозеф Бершу — второстепенный поэт конца XVIII — начала XIX в., автор шуточной поэмы «*Гастрономия*».

### Долгожданная Встреча

*Гианы* — в итальянском фольклоре лесные духи. Высокие и красивые, они занимаются рукоделием и поют грустные песни. Среди гиан

большинство составляют женщины. Они лучшие в мире вышивальщицы, а своими песнями завлекают людей: стоит человеку услышать первые такты мелодии, он застывает на месте как вкопанный, поддавшись наваждению.

«*О добрая Урганда, приветствую тебя!..*» — Урганда — добрая фея, покровительница рыцарей, действующая в испанском рыцарском романе «Амадиз Галльский»; появляется то в виде старухи, то в образе юной девы.

*Сенешаль* — в средневековой Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа.

## КНИГА ГОРОДА

### Прощание

*Эннен* — средневековый головной убор знатных дам в Западной Европе в виде высокого конуса. «Рогатый» эннен, облегающий прическу с валиками из волос по бокам головы, отчего она в фас кажется имеющей рожки — одна из разновидностей этого головного убора.

... *прически-фонтанжи в стиле Берэна...* — Фонтанж — модная в XVII и начале XVIII вв. прическа с высоко зачесанными волосами, украшенными чем-то вроде чепца с кружевами, перьями и цветами. Жан-Луи Берэн (1637–1711) — французский архитектор, рисовальщик и орнаменталист, один из самых видных декоративных художников второй половины царствования Людовика XIV. Особенно прославился затейливыми прическами, определившими в свое время так называемый «стиль Берэна».

*Упланд* — парадная верхняя мужская одежда знати и богатых граждан в средневековой Западной Европе, с рукавами, сверху узкими, а книзу сильно расширенными.

... *перчатки а-ля Криспен...* — Перчатки с расширяющимися манжетами.

*Что-нибудь из времен blue devils* — «синих бесов». — Выражение «blue devils» («синие бесы»), встречавшееся в английском языке елизаветинской эпохи (время расцвета меланхолического мироощущения) и обозначает, очевидно, тоску, уныние.

... *с полотен де Критса или Цуккари.* — Джон де Критс (1552–1642) — английский живописец, работавший при дворе королей Якова I и Карла I. Речь идет о портретах его кисти, подобных «Меланхолику с черным котом», на котором, предположительно, изображен сэр Генри Ризли, лорд Саутгемптон, в тюрьме. Федерико Цуккари (1542–1609) — итальянский живописец и архитектор. Известна его картина «Сэр Уолтер Рэли», на которой Рэли (английский мореплаватель, поэт, драматург, фа-

ворит королевы Елизаветы I, один из руководителей разгрома «Непобедимой Армады» — испанского флота в 1588 г.) изображен в образе типичного меланхолика — в бело-черном костюме и т. п.

*В бокалах — укус, дабы... ...поддержать бледность своего лица...* — Бледность лица — один из «атрибутов» меланхолии. Английские меланхолики (XVI в.) ради моды пили укус, чтобы лицо было бледным.

*«Об ученом незнании» Николая Кузанского* — философский трактат, в котором немецкий философ, теолог, ученый и церковно-политический деятель Николай Кузанский (1401–1464) сформулировал один из важнейших принципов своей философии: «не будет более совершенного постижения, чем явить высшую умудренность в собственном незнании».

«Три книги о жизни» трактат итальянского философа Марсилио Фичино (1433–1499), включающие в себя три трактата, написанные на латинском языке, рассматривающие вопросы сохранения здоровья и продления жизни ученых, а также астральных влияний на них.

*... редкое издание «Анатомии меланхолии» преподобного Роберта Бёртона.* — «Анатомия Меланхолии» (1621) — трактат английского священнослужителя, писателя и ученого Роберта Бёртона (1577–1640).

*... надставной парик времен Incroyables...* — Надставной парик (*франц. allonge perrique*) — парик, достигший наибольшей пышности в 60-е гг. XVII в., в эпоху Людовика XIV.

*Супервест* — в России XVIII–XIX вв. предмет парадной формы в конных гвардейских полках в виде короткой суконной безрукавки без воротника, с круглым вырезом для шеи, с вырезами в виде лепестков ниже пояса.

*Обер-италмейстер* — в Германии и России первый придворный чин, заведующий королевскими конюшнями.

## СОДЕРЖАНИЕ

### КНИГА ГОРОДА

Страдания молодого прозаика Кошляка ..... 9

### КНИГА КОРОЛЕВЫ

В Хранилище Главного Часовщика..... 21

### КНИГА ГОРОДА

Ночные бдения в Сером Тереме ..... 49

Классик ..... 52

Флюиды Флюидова ..... 59

### КНИГА КОРОЛЕВЫ

Посягательства на Замок..... 85

### КНИГА ГОРОДА

Дыра святого Кутищева ..... 101

Кутищев Фуриозо ..... 110

### КНИГА ГРЁЗ И СНОВИДЕНИЙ

Десятый сон инспектора Пришивалова..... 135

### КНИГА ГОРОДА

Поэты в бегах, или Голова в авоське ..... 153

## КНИГА КОРОЛЕВЫ

Замковая кухня.....	197
Долгожданная встреча.....	200

## КНИГА ГОРОДА

Прощание .....	217
<i>Примечания</i> .....	243

**Алексей АЛЕКСАНДРОВ**

---

**КНИГА КНИГ**

ALBEDO

Том V

*Директор издательства Т. Ретивов*  
*Дизайн обложки С. Пионтковский*  
*Оригинал-макет Б. Марковский*

ИД№ 5016 от 24. 11. 2015 г.  
Издательство «ФОП Ретівов Тетяна»  
01001, г. Киев,  
ул. Малая Житомирская 8, оф. 3  
Тел. (+38) 096-53-85-115

[www.kayalapublishing.com](http://www.kayalapublishing.com)

Отдел продаж  
[Kayala@ukr.net](mailto:Kayala@ukr.net)

Формат 66x88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Усл. печ. л. 16,4. Подписано в печать 27. 10. 2021  
Печать офсетная. Заказ 472



Пожалуй, романом эту книгу можно назвать с достаточной долей условности. Во-первых, это именно Книга. А во-вторых, Книга Книг — то есть книга, состоящая не из глав, а именно из книг, объединенных общей идеей, вымышленными и реальными персонажами и, главное, Киевом — действительным и воображаемым, историческим и волшебным. Он — и идеальный Город Мастеров, скрытый от глаз непосвященных и открывающий свои Золотые Ворота только достойным, и, одновременно, — заповедник затхлой «совковости». Но он также и центр мироздания, вместилище эпох и культур, отстоящих друг от друга, казалось бы, очень далеко, но, как оказывается, легко соединяющихся в единое живое целое.

Время действия — 70–80 гг. прошлого века.

Годы так называемого «развитого социализма», «эпоха застоя».

Таков исторический фон описываемых событий. Жизнь литературной и художественной богемы, поиск Пути, сказка, миф, волшебство, персонажи из прошлого и настоящего, эльфы и говорящие животные, поэзия и музыка, алхимия и философия, любовь и предательство, духовные взлеты и пьянство, вечный конфликт Поэта и Власти, сатира и юмор — все в этой книге переплетено в бесконечной фантазмагории, которая разворачивается на древних холмах и старых улицах великого города.